

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal
of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2022

№ 69

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге
«Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science
Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук»
Высшей аттестационной комиссии
(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru; **Рыкун А.Ю.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: a_rykun@mail.ru; **Шербинин А.И.** (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; **Агафонова Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; **Сухушина Е.В.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; **Скочилова В.Г.** (Томск, Россия) – ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Оглеzneв В.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Сыров В.Н.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Черникова И.В.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Ладов В.А.** (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; **Южанинов К.М.** (Томск, Россия) – кандидат филос. наук, доцент; **Шербинина Н.Г.** (Томск, Россия) – доктор полит. наук, профессор; **Кашпур В.В.** (Томск, Россия) – кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона, Сизтл, США); **Ренч Томас** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Шефлер Уве** (Технический университет, Дрезден, ФРГ); **Вяткина Н.Б.** (Институт философии НАНУ, Киев, Украина); **Васильев В.В.** (Московский государственный университет, Москва, Россия); **Микиртумов И.Б.** (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); **Целищев В.В.** (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); **Диев В.С.** (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); **Джонсон Марк С.** (Университет Висконсина, Мэдисон, США); **Балцер Харли С.** (Университет Джорджтауна, США); **Чалаков Иван** (Университет Пловдива, Болгария); **Вавилина Н.Д.** (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); **Константиновский Д.Л.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Черныш М.Ф.** (Институт социологии РАН, Москва, Россия); **Ярская-Смирнова Е.Р.** (Государственный университет – Высшая школа экономики, Москва, Россия); **Малинова О.Ю.** (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия); **Соловьев А.И.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Чахор Рафал** (Нижнесилезская высшая школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия); **Шуберт Клаус** (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief; **Rykun A.U.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Sociology); **Shcherbinin A.I.** (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief (Political Science); **Agafonova E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor; **Sukhushina E.V.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Sociology); **Skochilova V.G.** (Tomsk, Russia) – Executive Editor (Political Science); **Borisov E.V.** (Tomsk, Russia); **Ogleznev V.V.** (Tomsk, Russia); **Syrov V.N.** (Tomsk, Russia); **Chernikova I.V.** (Tomsk, Russia); **Ladov V.A.** (Tomsk, Russia); **Uzhaninov K.M.** (Tomsk, Russia); **Shcherbinina N.G.** (Tomsk, Russia); **Kashpur V.V.** (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K.E. (University of Washington, Seattle, USA); **Rentsch T.** (Technical University Dresden, Germany); **Scheffler U.** (Technical University Dresden, Germany); **Viatkina N.B.** (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); **Vasilyev V.V.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Mikirtumov I.B.** (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); **Tselishchev V.V.** (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); **Diev V.S.** (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); **Johnson M.S.** (University of Wisconsin, Madison, USA); **Balzer H.S.** (Georgetown University, USA); **Tchalakov I.** (University of Plovdiv, Bulgaria); **Vavilina N.D.** (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); **Konstantinovskiy D.L.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Chernysh M.F.** (Institute of Sociology, Moscow, Russia); **Iarskaia-Smirnova E.R.** (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); **Malinova O.Y.** (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); **Soloviov A.I.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Czachor R.** (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); **Shestopal E.B.** (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Андрушкевич А.Г., Ладов В.А. Контекстуальные аспекты определения значения языкового выражения.....	5
Бабич В.В. Проблема иллюстрирования философии	12
Гапонов А.С. Основания познания в контексте «лингвистического поворота»: трансцендентально-прагматический подход	18
Мелик-Гайказян И.В. Об одной географической метафоре.....	27
Нехаев А.В. Следование правилу, приватный язык и практика (само)коррекции: пример локальной функции квожения	32
Черникова И.В., Николина Н.В. Границы науки и формирование идентичности научного знания.....	44

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Довгаленко Н.В. Метафизика в ситуации современности: анализ философских идей позитивизма, структурализма, постструктурализма.....	57
Петрова А.В. Метаэпистемологический анализ концепции «диффузного цинизма»	66
Тетерин А.Ю. Политическое значение фигуры дьявола в «Левиафане» Томаса Гоббса.....	76

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Козолупенко Д.П. Биоэтика как объектно-ориентированная антропология: между «вот» и «вот-вот»	84
Лягошина Т.В. Гибридизация публичного дискурса в современном медиапространстве: социальные эффекты и исследовательская перспектива.....	94
Миронова А.М., Астапов С.Н. Социокультурный и антропологический контексты в определениях мистического опыта	104

СОЦИОЛОГИЯ

Петрова Е.В., Бильтрикова А.В. Социальная справедливость в представлениях социальных групп Бурятии.....	113
Попов Е.А. Опыт интенционального и ивент-исследования в современной зарубежной социологии искусства.....	126
Пртавян А.А. Детские страхи как социокультурный конструкт: обращение к целителям в Армении	142
Suleymanova A.N., Zangieva I.K. Selection of factor extraction methods in complicated research contexts: practice recommendations	152
Шарин В.И. Студенты о коррупции в университете: гендерный аспект.....	161
Штомпель Л.А., Штомпель О.М., Тихомирова Е.Г., Костромицкая А.В. Динамика бюджетов времени российских студентов в условиях аудиторной, дистантной и «гибридной» форм обучения	177

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Смирнов С.А. Топос философа, или Еще раз о философском самоопределении (по материалам книги О.И. Целищевой «Ричард Рорти: „маргинальный аналитический философ“»)	187
Оглезнев В.В. Ричард Рорти и лингвистический поворот в философии	203
Родин К.А. «Разговор человечества» Ричарда Рорти: переописание философии и некоторые контексты.....	212
Суровцев В.А., Агафонова Е.В. Ричард Рорти: номад или ироник?.....	221
Целищева О.И. Рорти и страх влияния (как избежать вторичности).....	227

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Andrushkevich A.G., Ladov V.A. Contextual aspects of determining the meaning of a language expression.....	5
Babich V.V. The problem of illustrating philosophy.....	12
Gaponov A.S. Foundations of knowledge in the context of the “linguistic turn”: A transcendental-pragmatic approach.....	18
Melik-Gaykazyan I.V. About one geographical metaphor.....	27
Nekhaev A.V. Rule-following, private language, and (self-)correction practice: A case of local quaddition function.....	32
Chernikova I.V., Nikolina N.V. The boundaries of science and the formation of the identity of scientific knowledge.....	44

HISTORY OF PHILOSOPHY

Dovgalenko N.V. Metaphysics in the situation of Modernity: Analysis of the philosophical ideas of positivism, structuralism, poststructuralism.....	57
Petrova A.V. Meta-epistemological analysis of the concept “diffuse cynicism”.....	66
Teterin A.Yu. The political significance of the figure of the devil in Thomas Hobbes’ <i>Leviathan</i>	76

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Kozolupenko D.P. Bioethics as one of the variants of object-oriented anthropology: Between “here” and “it’s about to come”.....	84
Lyagoshina T.V. Hybridisation of public discourse in the modern media space: Social effects and research prospects.....	94
Mironova A.M., Astapov S.N. Sociocultural and anthropological contexts in definitions of mystical experience.....	104

SOCIOLOGY

Petrova E.V., Biltrikova A.V. Social justice in the views of social groups in Buryatia.....	113
Popov E.A. The experience of intentional and event analysis in modern foreign sociology of art.....	126
Prtavian A.A. Children’s fears as a sociocultural construct: An appeal to healers in Armenia.....	142
Suleymanova A.N., Zangieva I.K. Selection of factor extraction methods in complicated research contexts: practice recommendations.....	152
Sharin V.I. Students about corruption at the university: A gender aspect.....	161
Shtompel L.A., Shtompel O.M., Tikhomirova E.G., Kostromitskaya A.V. Dynamics of Russian students’ time budgets in the conditions of classroom-based, remote and “hybrid” forms of learning.....	177

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Smirnov S.A. Philosopher’s Topos, or Once again about philosophical self-determination (based on the book <i>Richard Rorty: A ‘fringe analytic philosopher’</i> by Oxana Tselishcheva).....	187
Ogleznev V.V. Richard Rorty and a linguistic turn in philosophy.....	203
Rodin K.A. Richard Rorty on the conversation of humankind: Rewriting of philosophy and major contexts.....	212
Surovtsev V.A., Agafonova E.V. Richard Rorty: A nomad or an ironist?.....	221
Tselishcheva O.I. Rorty and the fear of influence (How to avoid being secondary).....	227

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Научная статья

УДК 111

doi: 10.17223/1998863X/69/1

КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО ВЫРАЖЕНИЯ

Александр Геннадьевич Андрушкевич¹,
Всеволод Адольфович Ладов²

^{1, 2} Томский научный центр СО РАН, Томск, Россия,

¹ andryusha.fsf@gmail.com

² ladov@yandex.ru

Аннотация. В статье обсуждается проблема границ контекста при употреблении двусмысленных слов и выражений. Рассматривается концепция контекста Каплана и Перри, определяющая значения при употреблении индексиков, но недостаточная для установления значения иных типов языковых выражений. Демонстрируется новый подход дискурсионной интерпретации контекста, значительно расширяющий его границы.

Ключевые слова: философия языка, семантика, контекст

Для цитирования: Андрушкевич А.Г., Ладов В.А. Контекстуальные аспекты определения значения языкового выражения // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 5–11. doi: 10.17223/1998863X/69/1

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Original article

CONTEXTUAL ASPECTS OF DETERMINING THE MEANING OF A LANGUAGE EXPRESSION

Alexandr G. Andrushkevich¹, Vsevolod A. Ladov²

^{1, 2} Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Tomsk Scientific Center,
Tomsk, Russian Federation

¹ andryusha.fsf@gmail.com

² ladov@yandex.ru

Abstract. In modern analytic philosophy, a special type of words, whose meanings are very sensitive to the context, is distinguished. Indexical terms such as “I”, “this” or “today” acquire their meanings depending on the speech situation in which they are used. Based on the analysis of such words, an idea is formed of what the context of a language expression is. In general terms, context consists of three components: agent, time and position. However,

when analyzing the meaning of legal language ascriptive expressions, we find that sometimes quite different contextual factors influence or determine the meaning. This circumstance determines the need to clarify our ideas about what the context of a linguistic expression is. Depending on these our ideas, the ways of interconnecting words and contextual factors also change.

Keywords: philosophy of language, semantic, context

For citation: Andrushkevich, A.G. & Ladov, V.A. (2022) Contextual aspects of determining the meaning of a language expression. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 5–11. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/1

Про современную аналитическую философию можно с уверенностью говорить, что ее предметная область не ограничена исследованием одного только языка как такового. Еще в конце прошлого века фокус внимания представителей традиции распространился и на феномен контекста. Очевидно, что подобная ориентация позволяет более глубоко исследовать язык, характер его функционирования, поскольку практика языка никогда не бывает изолированной от конкретной ситуации употребления слов или выражений. Не последнюю роль в акцентировании внимания на контексте сыграли характерные слова, значения которых прямо им определяется. Речь, очевидно, идет о таких словах, которые называют индексикальными терминами и демонстративами. Однако в определенном смысле подобный подход служит исследователям дурную службу. Он, с одной стороны, способствует философскому исследованию языка. Но с другой – существенно сужает наши представления о том, что такое контекст. Дело в том, что при погружении в семантическую проблематику может сложиться ощущение, что контекст употребления выражений представляет собой просто речевую ситуацию, состоящую из говорящего, места и времени употребления языка и неких обстоятельств, окружающих агента речи. В настоящей работе мы намерены показать, что иногда контекст выражения представляет собой нечто более объемное и, соответственно, иным образом определяет значение слов.

Но сперва попробуем углубиться в широко распространенные представления о тех типах слов, значения которых наиболее чувствительны к контексту. Дэвид Каплан относит к таким словам индексикалы и демонстративы. Так, в случае индексикалов их «референт зависит от контекста употребления и что значение слова обеспечивает правило, которое определяет референт с точки зрения определенных аспектов контекста» [1. Р. 490]. Такими аспектами могут являться конкретный день, когда кто-то произносит «сегодня» («сегодня у меня день рождения» указывает именно на тот день, в который данное выражение употребляется), сам говорящий, когда использует «я» (значение «я голоден» зависит от того, кто использует данное выражение), и т.д. Общим для индексикалов является то, что решающую роль в их значении играет определенный аспект речевой ситуации.

Помимо индексикальных терминов, Каплан называет еще демонстративы, которые представляют собой особый случай индексикального выражения. Он пишет, что «для определения референтов требуется ассоциированная демонстрация: обычно, хотя и не всегда, (визуальное) представление локального объекта, различаемого путем указания» [Ibid.]. Под демонстрацией подразумевается, к примеру, указание пальцем. Так, выражение «это мой друг»

обретает конкретное значение только в том случае, если сопровождается каким-либо невербальным указанием. Поскольку подобного рода ассоциированная демонстрация осуществляется непосредственно вместе с употреблением языкового выражения, постольку наличие или отсутствие объекта, на который происходит указание, является частью речевой ситуации. Так, к примеру, выражение «вот что я тебе купил» может иметь два различных смысла в двух различных речевых ситуациях. При употреблении данного выражения Джон может демонстрировать пустую сумку или сумку с пирожными. Соответственно, наличие или отсутствие пирожных в сумке Джона мы определяем в качестве составляющего аспекта речевой ситуации.

Следующим шагом мы намерены продемонстрировать, что иногда представление о контексте как о речевой ситуации не играет никакой роли в установлении значения выражения, что последнее требует акцентирования внимания и включения в контекст иных, не составляющих ситуацию аспектов.

Начнем с того, что Джон Перри различает две формы контекста: он называет их «узкий» и «широкий» контексты [2. Р. 5]. Узкий контекст состоит из агента, времени и позиции. Иными словами, его составляют тот, кто говорит, время и место, когда употребляется языковое выражение, а также то, что Перри именуется «позицией». Под позицией следует понимать не только место, находясь в котором, агент речи употребляет выражение, но и определенные обстоятельства, связанные с этим местом и положением говорящего. Так, к примеру, «мне так удобно» будет иметь различные смыслы в зависимости от того, лежит или сидит говорящий. Или «я так не смогу» будет зависеть от того, за какой просьбой следует данное выражение. К примеру, Молли показывает, как нужно чистить яблоки, на что Джон возражает: «Я так не смогу». Но мы легко можем допустить что «так» при иных обстоятельствах будет иметь иное значение. Таким образом, то, что Перри именуется узким контекстом, есть не что иное, как речевая ситуация.

Несколько иная ситуация с широким контекстом. Перри пишет: «Более широкий контекст состоит из... всего остального, что может иметь значение в соответствии с работой конкретного индексикала» [Ibid.]. Например, Джон может показать руками размер и сказать «вот такой величины», и значение выражения будет определяться тем размером, который Джон показывает руками. С одной стороны, подобная корреляция уже отчасти подразумевалась Капланом, но Перри существенно дополняет его идею о демонстративах тезисом о том, что демонстрация не обязательно является указанием. Нам несложно предположить выражение «Билл уже», сопровождаемое в одном случае покручиванием указательным пальцем у виска, а в другом – жестом, отсылающим к тому, что Билл спит. Таким образом, употребление предложенного выражения в данной конкретной ситуации не содержит демонстративного указания на Билла, но при связанном сопровождении различными жестами имеет различные значения.

Трудно не согласиться с тем, что картина, представленная таким образом, выглядит вполне завершенной. Но тем не менее мы склонны полагать, что помимо индексикалов имеют место и иные типы слов или языковых выражений, значение которых чувствительно к контексту.

Рассмотрим в качестве примера выражение «Суд признает Смита виновным в убийстве жены». Наиболее вероятной речевой ситуацией для данного

выражения, по всей видимости, будет окончание судебного заседания и озвучить его будет, предположим, судья. Таким образом, мы имеем следующие компоненты, составляющие речевую ситуацию: судья, зал судебного заседания и, допустим, 5 марта 2020 г. Эти три аспекта составляют узкий контекст, но, как можно заметить, само выражение не содержит в себе никаких индексикалов. Однако его рассмотрение вне контекста не позволяет однозначно установить его значение. Некоторые составляющие выражение слова представляются как двусмысленные: слово «суд» может означать как судебный институт в целом, так и данный конкретный суд; фамилия Смит может отсылать и к Биллу, и к Джону, так как они братья и носят одну фамилию; «убийство жены», по всей видимости, может указывать на все случаи, когда жертвой убийства становилась замужняя женщина. Хотя Перри в работе «Indexicals, Contexts and Unarticulated Constituents» не обходит вниманием случаи подобной двусмысленности слов, он тем не менее сосредоточивает внимание именно на особенностях индексикалов и демонстративов. А каким образом контекстуально устанавливается значение других терминов и целых выражений? Попробуем прояснить этот момент.

Первым делом необходимо определиться с характером данного выражения. Мы склонны полагать, что «суд признает Смита виновным в убийстве жены» представляет собой аскриптивное языковое выражение. Смитуприписывается определенный юридический статус, т.е. «виновен». Очевидно, что данный аскриптивный акт осуществляется на основании определенных норм уголовного права. Как замечает В.В. Оглезнев, в данном примере «наблюдается соединение конкретного эмпирического факта (например, того, что он дал жене смертельную дозу яда) и юридических последствий, вызванных этим фактом» [3], но в непосредственной речевой ситуации не наблюдается никаких эмпирических фактов. Более того, мы можем представить, что в рамках данной речевой ситуации нет также и обвиняемого. Таким образом, еще раз подчеркиваем, речевая ситуация лишена однозначных аспектов, позволяющих установить окончательное значение языкового выражения. Те представления о контексте, которые развивают Каплан и Перри, ни в какой форме не проясняют значения «суд признает Смита виновным в убийстве жены».

Но что, если контекст можно иногда рассматривать шире, чем просто речевая ситуация? Каким образом контекст выражения обеспечивает устойчивую связь с тем обстоятельством, что некое событие соединяется с его правовыми последствиями? Попробуем прояснить наши интуитивные предположения.

Вернемся к анализу предложенного выражения юридического языка. Повторимся, что при рассмотрении данного выражения, вырванного из контекста, возникает ряд затруднений. Связаны они со следующими обстоятельствами: в каком смысле употребляется слово «суд»; о каком из всего множества Смитов идет речь; о каком именно трагическом случае гибели замужней женщины идет речь; в каком смысле Смит виновен.

1. Как уже было отмечено выше, слово «суд» может употребляться как указание на судебную систему в целом, так и указывая на конкретный суд. Предположим, что данное выражение озвучивает судья Московского городского суда. Безусловно, подобное уточнение отчасти проясняет речевую си-

туацию (место или, как бы это назвал Джон Перри, позиция говорящего), но ведь агентом речи является не суд, а судья. В данном случае функционирование контекста похоже на анафорическую связь. Так, Перри указывает, что «в случае анафоры контекстуальные факты связаны с отношением высказывания к предыдущим существительным в дискурсе» [2. Р. 4], но в рассматриваемом случае нет как такового предыдущего существительного в рамках дискурса. Роль предшествующего предложения, с которым осуществлялась бы связь, играет судебный процесс, состоящий не только из ряда предложений, но также и действий, событий и проч. Связь эта функционально похожа на анафорическую, но таковой не является. Мы предлагаем называть данную связь дискурсивной. То есть слово «суд» в рассматриваемом выражении дискурсивно связано с предшествующим судебным процессом.

2. Аналогичная дискурсивная связь связывает обвиняемого с фамилией Смит, которая, как известно, достаточно широко распространена.

3. Подобным образом дискурсивно связаны конкретный эмпирический факт (убийство) и употребляемое в рамках выражения «убийство жены».

4. Ситуация со словами «Смит виновен» существенно иная. Дело в том, что посредством данных слов реализуется аскриптивный акт, т.е. такое действие, посредством которого Смит приписывается определенный юридический статус. Соответственно, контекстом для данного акта аскрипции являются не только речевая ситуация и судебный процесс, который можно формально определить как дискурсивные обстоятельства, но и определенный комплекс правовых норм. Мы хотим сказать, что не для всех ситуаций употребления «Смит виновен» имеет место такая же или подобная совокупность нормативно-правовых установок. Иногда таковых не имеется. Как, например, при употреблении выражения «Смит виновен в том, что мы опоздали на вечеринку». «Смит виновен» в каждом из двух примеров при том, что это одно и то же словосочетание употребляется в принципиально различных значениях. Таким образом, для изначально заданного выражения справедливо утверждение того, что частью контекста его употребления выступает, скажем, норма уголовного права. Именно данная норма является необходимым для установления значения контекстуальным аспектом. Важно иметь в виду, что определенная совокупность норм права не только определяет значение «Смит виновен», являясь аспектом контекста употребления «суд признает Смита виновным в убийстве жены», но также определяет и весь предшествующий выражению дискурс. В связи с данным обстоятельством и с целью упрощения восприятия рассматриваемой темы предлагаем считать нормы уголовного права составляющими того дискурса, который предшествует употреблению выражения.

Итак, мы определили, что в рассматриваемом примере контекст помогает установить значение выражения. При этом сам контекст следует определять дискурсивно, т.е. как определенную практику, состоящую из множества слов, предложений и иных действий, которые все реализуются на основании имеющейся правовой нормы. Связь между словами и контекстом, повторимся, мы определяем как дискурсивную. Однако остается одно не до конца понятное обстоятельство, которое требует, чтобы на него обратили внимание. В каком смысле «суд признает»? Почему агент речи говорит не от своего имени и каким образом судья осуществляет какого-либо рода демонстрацию?

И осуществляет ли он ее вообще? Каким образом контекст обеспечивает адекватное понимание выражения, а не предположение о том, что судебная система в целом или конкретно Московский городской суд как часть этой системы в состоянии осуществлять такие действия, как признавать Смита виновным?

Для искушенного в юриспруденции человека подобного рода вопросы, вероятно, не возникнут. Как известно, судебная система или суд как местный орган власти сам по себе не обладает никаким сознанием. Судья говорит и действует от имени судебной системы, т.е. осуществляет репрезентативную функцию. Таким образом, решения и действия судьи номинально представляются в качестве решений и действий судебной системы в целом. Подобная репрезентативность представляет собой один из дискурсивных аспектов контекста употребления выражения.

Попробуем прояснить последние соображения на отвлеченном примере. Представим, что к профессору подходит староста группы и говорит: «Мы просим перенести занятие на другой день». Староста группы один, и не до конца понятно, почему он употребляет местоимение множественного числа. Но аналогично описанному выше староста осуществляет репрезентативную функцию, говоря и действуя от имени группы. В данной ситуации то обстоятельство, что староста представляет собой лицо, репрезентирующее группу лиц, следует определять как один из составляющих дискурсивный контекст аспектов. И именно контекст, т.е. знание того, что данный человек является старостой группы и говорит от имени группы, помогает определить значение «мы».

Подводя итоги, еще раз перечислим основные моменты. Хотя применительно к индексикалам рассмотрение контекста как сугубо речевой ситуации представляется достаточным для прояснения значения, в определенных случаях подобный подход недостаточен. Как минимум при рассмотрении некоторых выражений (в частности, выражений юридического языка, содержащих аскриптивные акты) требуется иное концептуальное представление о том, что такое контекст. Мы предлагаем в таких случаях рассматривать контекст дискурсивно, т.е. учитывать не только предшествующее выражению предложение, но и деятельность, в рамках которой употребляется языковое выражение. Иногда аспектами этой деятельности выступают не только события, действия или сказанные слова, но также определенные нормативные установки и функции, реализуемые участниками данного процесса.

Список источников

1. Kaplan D. Demonstratives: An essay on the semantics, logic, metaphysics, and epistemology of demonstratives and other indexicals // *Themes From Kaplan* / J. Almog, J. Perry, and H. Wettstein (eds.). Oxford University Press, 1989. P. 481–563.
2. Perry J. Indexicals, Contexts and Unarticulated Constituents / A. Aliseda, Rob van Glabbeek, Dag Westerstaahl (eds.) // *Computing Natural Language*. Stanford, 1998. P. 1–12.
3. Оглезнев В.В., Тарасов И.П. Аскриптивность как онтологическое свойство юридических понятий // *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*. 2010. № 4 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/askriptivnost-kak-ontologicheskoe-svoystvo-yuridicheskikh-ponyatiy> (дата обращения: 26.08.2022).

References

1. Kaplan, D. (1989) Demonstratives: An essay on the semantics, logic, metaphysics, and epistemology of demonstratives and other indexicals. In: Almog, J., Perry, J. & Wettstein, H. (eds) *Themes From Kaplan*. Oxford University Press. pp. 481–563.

2. Perry, J. (1998) Indexicals, Contexts and Unarticulated Constituents. In: Aliseda, A., Glabbeek, R. van & Westerstahl, D. (eds) *Computing Natural Language*. Stanford: CSLI. pp. 1–12.

3. Ogleznev, V.V. & Tarasov, I.P. (2010) The ascriptivity as ontological characteristic of legal concepts. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – *Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 4(12). pp. 101–110. (In Russian).

Сведения об авторах:

Андрюшкевич А.Г. – младший научный сотрудник лаборатории логико-философских исследований Томского научного центра СО РАН (Томск). E-mail: andryusha.fsf@gmail.com

Ладов В.А. – доктор философских наук, профессор, заведующий лабораторией логико-философских исследований Томского научного центра СО РАН (Томск), ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (Томск). E-mail: ladov@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Andrushkevich A.G. – junior researcher, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Tomsk Scientific Center (Tomsk, Russian Federation). E-mail: andryusha.fsf@gmail.com

Ladov V.A. – Dr. Sci. (Philosophy), Professor, head of the Laboratory for Logic and Philosophy Analysis, leading researcher, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation). E-mail: ladov@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 15.08.2022;
одобрена после рецензирования 15.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 15.08.2022;
approved after reviewing 15.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

Научная статья

УДК 101.1:316

doi: 10.17223/1998863X/69/2

ПРОБЛЕМА ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ

Владимир Владимирович Бабич

*Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия,
v.v.babich@gmail.com*

Аннотация. В статье поставлен вопрос о возможности иллюстрировать содержание курса философии и о допустимых пределах этой наглядности. Утверждается, что проблемой является существующий темпоральный, контекстуальный и семантический разрыв между субъектами учебного процесса. Предлагается вариант совмещения в этом процессе классического философского текста, современных медийных продуктов и визуальных артефактов.

Ключевые слова: визуальный поворот, клиповое мышление, логико-вербальное мышление, когнитивный стиль

Для цитирования: Бабич В.В. Проблема иллюстрирования философии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 12–17. doi: 10.17223/1998863X/69/2

Original article

THE PROBLEM OF ILLUSTRATING PHILOSOPHY

Vladimir V. Babich

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation, v.v.babich@gmail.com

Abstract. The author raises the question about the possibility of illustrating the content of the Philosophy course and about the allowable limits of such visualization. He argues that the problem is the existing temporal, contextual and semantic gap between teacher and student, and proposes a variant of combining a classical philosophical text, modern media products and visual artifacts.

Keywords: visual turn, clip thinking, logical and verbal reasoning, cognitive style

For citation: Babich, V.V. (2022) The problem of illustrating philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 12–17. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/2

Философия существовала и существует как идея, выраженная в тексте. Эта вербальная форма – чаще в диалоге или реже в монологе – репрезентации мира и человека столкнулась с визуальным поворотом, произошедшим в конце XX столетия и утверждающим, что проблемы истины, ценностей и мировоззрения определяются не дискурсом, а визуальной культурой. Примером данной ситуации может служить название просветительского проекта «Анатомия философии: как работает текст» [1]. Название соединяет слово «анатомия», которую трудно представить без иллюстраций, и слова о «работе текста», в которой выражает себя суть философии.

Эпизодичное посещение мероприятий этого проекта оставило в памяти дополнение устных выступлений компьютерными презентациями. Безусловно, есть разница между просвещением и образованием, между популяризацией философии и ее преподаванием. Экспликация современных процессов культуры и их критический анализ на примере медийных продуктов не противоречат традиции философского метода, который исторически опирался на поиск мировоззренческих универсалий как категориальных структур, пронизывающих весь культурный топос, что делает визуализацию «компаньоном» популяризации философии [2]. Вместе с тем остается вопрос о допустимости иллюстрирования учебного курса по философии. Казалось бы, этот вопрос лишен актуальности, но два обстоятельства определяют его насущность в отечественной образовательной практике. Во-первых, в формулировках универсальных компетенций в образовательных стандартах, регулирующих преподавание философии, указано, что «критическое мышление» предназначено для развития способности «осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации»¹ [3. С. 5–6]. Из чего следует, что основное «последствие» освоения философии – критическое мышление – должно служить совершению операций в информационном пространстве, а это, в свою очередь, ставит проблему совпадения тезаурусов студентов и преподавателей. Во-вторых, в отечественной практике «цифровизации» преподавания настойчиво требуют разработки мультимедийного сопровождения. В случае такой поддержки преподавания философии иллюстрациями являются разнообразные схемы и портреты мыслителей, что трудно считать достаточным. Это ставит проблему селекции того, что в принципе может служить иллюстрацией. Ясно, что «бритва Оккамы» не может быть иллюстрирована любым изображением реальной вещи. Итак, проблемой является отбор «вещей», которыми допустимо иллюстрировать «слова» философии как текста. То, что подобные иллюстрации допустимы, свидетельствует ассоциативно всплывающая в памяти книга М. Фуко «Слова и вещи», содержащая масштабное обращение к картине Д. Веласкеса. Эта же ассоциация подсказывает, что иллюстрирование философии допустимо для освоения ее специфического языка и допустимо так же, как при освоении любого языка.

Метод для обсуждаемого способа преподавания языка философии заимствован из следующего фрагмента. «Стандартная теория сводится к тому, что значения выражений: 1) первоначально усваиваются остенсивно; 2) закрепляются индуктивно; 3) правильное закрепление подтверждается внешним или публичным критерием» [4. С. 6].

Применение процитированного вывода оставит «за скобками» дальнейшую критику стандартной теории, в том числе и ее современное обсуждение тонкостей и нюансов в русле семиотики визуального [5, 6], поскольку вопрос о допустимости визуализации философии в данной статье решается, как говорится, в первом приближении.

Утверждается, что «расхождение между видимым и известным обнаруживается и бесконфликтно наличествует не только в практической плоскости, но и в теоретическом дискурсе, сопровождаемом указаниями на пример» [7. С. 294]. Обращает на себя внимание, что ситуация остенсивного определения –

¹ Здесь ссылка на текст ФГОСа для конкретного направления бакалавриата, но понятно, что универсальные компетенции для всех направлений подготовки одинаковы.

«указания на пример» – является нормальной «в теоретическом дискурсе» при взаимной дополнительности видимого и известного. Но и в такой ситуации между «видимым и известным» зафиксировано «расхождение». Именно эту дистанцию призвано преодолевать образование, и, собственно, этот разрыв (темпоральный, контекстуальный и семантический) отделяет студента от преподавателя. Визуальный поворот обеспечивает богатый остенсивный опыт студентам, приступающим к знакомству с философией. Если учесть, что в разнообразии этого усвоения есть произведения, созданные на основе интерпретации философских идей, то этот опыт способен стать стартом для прохождения дистанции от увиденного к понимаемому. Во множество подобных произведений с большой вероятностью попадут популярные мультфильмы и сериалы, в которых философские решения, найденные достаточно давно, нашли применение для ответов на вопросы, поставленные в современной действительности [8, 9]. В лучших продуктах массовой культуры с неизбежностью «цитируются» не только философские идеи, выраженные в тексте, но философско-мировоззренческие основания, получившие визуальные воплощения в искусстве ушедших культурных эпох [10]. Это дает возможность преодоления дистанции между видимым и известным, между визуальным и дискурсивным. Конечный пункт этой дистанции знаменует приобретение способности к аргументации своей позиции в оценке наглядно представленного феномена, что предполагает декодирование оснований других позиций. Необходимым условием достижения конечного пункта является освоение тезауруса, определенного конкретной программой учебного курса, что не только становится для участников диалога приобщением к языку конкурирующих философских традиций, но и тренингом для освоения коммуникативных ролей в форматах современной информационной среды [11, 12]. Наличие общего тезауруса в качестве интегрирующего контекста осваиваемой дистанции означает для преподавателя его погружение в массив визуального опыта студентов.

В чем необходимость такого погружения? В первую очередь, потому что визуальный поворот демонстрирует, что доминирующая тысячелетия в теоретической деятельности логико-вербальная парадигма в условиях развития информационных технологий оказалась в кризисе. Следствием этого стало доминирование клипового мышления, осуществляющего замену рационального дискурса на язык индивидуально подбираемой образности с упрощенными семантическими связями [13–15]. Владелец клипового мышления видимое воспринимает в качестве знакомого, знакомое – в качестве известного, а известное – как понимаемое. Иначе говоря, согласно стилю клипового мышления, знать философию значит «увидеть» ее присутствие в реальности. В таком стиле мышления действительность становится суммой визуальных артефактов с темпоральной дискретностью, т.е. миром отдельных точек. Поэтому соединение этих точек в непрерывность линий интеллектуальных традиций или последовательности аргументов в тексте противоречит данному когнитивному стилю, что превращает классический философский текст для владельца клипового мышления в нечто чуждое и отвергаемое. Вместе с тем в клиповом мышлении любая наглядность, любой визуально представленный пример схватывается сразу, во всей его полноте, что является чертой когнитивного стиля, которую необходимо учитывать. Отмеченную черту иногда

принимают за преимущество стиля клипового мышления и предлагают варианты «синтеза логико-вербального и визуального мышления» [16. С. 95]. Вполне возможно, предлагаемый синтез достижим в некотором будущем, но применительно к поиску оптимальной формы преподавания философии в настоящее время трудно представить синтез наличествующего клипового мышления и еще отсутствующего (т.е. такого способа рассуждения, которому еще предстоит научить) логико-вербального мышления. Особенности когнитивного стиля необходимо учитывать для оптимального преодоления дистанции от клипового мышления к приобретению способности к логико-вербальному (и/или критическому) мышлению, что делает насущным для преподавателя релевантный подбор визуального сопровождения курса философии. Подчеркнем, образцы культуры, тиражируемые в визуальном повороте, могут служить только «видимым» входом в мир философских традиций и текстов. Путь в этот мир студенты проходят в «обратной перспективе»: от современных визуальных артефактов, им интересных, к давно сформулированным проблемам, к «вечным вопросам». Для того чтобы обнаружить «видимый» вход, оказывающийся на оптимальном расстоянии от контекста постановки «вечных вопросов», преподавателю необходимо погружение в визуальный опыт студентов, в достаточно быстро меняющийся от поколения к поколению опыт. Но популярность медийных образцов отнюдь не единственная характеристика для отбора иллюстраций. Поскольку изначально в нашу задачу входил поиск варианта сближения *видимого* и *знаемого*, то главной характеристикой иллюстраций является содержание в них в свернутом виде проблемы, вариативно разворачиваемой в корпусе классических текстов. В этом предлагаемом варианте совмещения визуального опыта студентов и освоение философии как текста содержит ответ на вопрос о допустимости присутствия визуального «компаньона» при преподавании философии. Визуальные иллюстрации предназначены для демонстрации отправной точки, для постановки проблемы и/или постановки вопроса, но не для вариативных философских решений. Предложенное сопровождение создает условия для понимания «о работе» философии как текста. Текста, созданного в распределении иных символов, в иных обстоятельствах жизни, но всегда актуального для осознания человеком себя, своих впечатлений и поступков.

Список источников

1. Синеокая Ю.В. Московские философы *urbi et orbi*: об истории проекта «Анатомия философии: как работает текст» // Вопросы философии. 2017. № 7. С. 111–114.
2. Evnine S.J. Philosophy Through Memes // A Companion to Public Philosophy. 2022. P. 311–324.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование» (с изменениями и дополнениями). Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020. URL: <https://fgosvo.ru/fgosvo/index/24/94> (дата обращения: 28.05.2022).
4. Проблемы современной философии языка / под общ. ред. Е.В. Борисова. Томск : Изд. Дом Том. гос. ун-та, 2019.
5. Суровцев В.А., Гончаренко М.В. Парадоксальные понятия, конструктивизм У. Куайна и предложения наблюдения // ПРАΞНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. № 4. С. 150–159. DOI: 10.23951/2312-7899-2020-4-150-159

6. Суровцев В.А. Самореферентность, логические типы и категоризация в изобразительной теории предложений Л. Витгенштейна // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2021. № 4. С. 213–233. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-4-213-233
7. Аванесов С.С. Визуально-антропологические коннотации в онтологии Парменида (1) // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2015. Т. 9, № 2. С. 292–305.
8. Афанасов Н.Б. Хаяо Миядзаки в поиске мира // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2021. № 2. С. 130–140. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-2-130-140
9. Вархотов Т.А. «Игра престолов»: анатомия и судьба идеального сериала // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2019. № 4. С. 60–91. DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-60-91
10. Шестакова М.А. Визуализация философско-мировоззренческих оснований новоевропейского естествознания в ренессансной живописи // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 4. С. 263–272. DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-263-272
11. Мелик-Гайказян И.В. Семиотика образования, или «Ключи» и «отмычки» к моделированию образовательных систем // Идеи и идеалы. 2014. Т. 1, № 4 (22). С. 14–27.
12. Горбулёва М.С., Мелик-Гайказян И.В., Первушина Н.А. Образовательная среда педагогического университета: интеграция коммуникативных форматов // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 10. С. 139–144. DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-10-139-144
13. Антипов М.А. Экран как коммуникационная основа постсовременного общества // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. 2013. Вып. 8. С. 216–221.
14. Семеновских Т.В. Феномен «клипового мышления» в образовательной вузовской среде // Интернет-журнал Науковедение. 2014. № 5(24). URL: <http://naukovedenie.ru/PDF/105PVN514.pdf> (дата обращения: 02.06.2022).
15. Фрумкин К.Г. Клиповое мышление и судьба линейного текста // Топос: литературно-философский журн. 2010. № 9. URL: <https://www.topos.ru/article/7371> (дата обращения: 02.06.2022).
16. Смирнова Н.Е. Синтез логико-вербального и визуального мышления в контексте визуального поворота // Гуманитарный вектор. 2020. Т. 15, № 2. С. 95–103.

References

1. Sineokaya, Yu.V. (2017) Moscow Philosophers Urbi et Orbi: On the History of the Project “Anatomy of Philosophy: How the Text Works”. *Voprosy filosofii*. 7. pp. 111–114. (In Russian).
2. Evnine, S.J. (2022) Philosophy Through Memes. In: McIntyre, L., McHugh, N. & Olasov, I. (eds) *A Companion to Public Philosophy*. John Wiley & Sons. pp. 311–324.
3. Russia. (2018) *Order No. 121 of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of February 22, 2018, On approval of the federal state educational standard of higher education – bachelor's degree in 44.03.01 Pedagogical Education (as amended and supplemented No. 1456 dated 11/26/2020)*. (In Russian).
4. Borisov, E.V. (2019) *Problemy sovremennoy filosofii yazyka* [Problems of modern philosophy of language]. Tomsk: Tomsk State University.
5. Surovtsev, V.A. & Goncharenko, M.V. (2020) Paradoxical Concepts, Quine's Constructivism, and Observation Sentences. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 150–159. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2020-4-150-159
6. Surovtsev, V.A. (2021) Theory of Types, and Categorization in Wittgenstein's Picture Theory of Statements. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 213–233. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2021-4-213-233
7. Avanesov, S.A. (2015) Visual Anthropological Connotations in Parmenides' Ontology (1). Schole. *Filosofskoe antikovedenie i klassicheskaya traditsiya – ΣΧΟΛΗ*. 2(9). pp. 292–305. (In Russian).
8. Afanasov, N.B. (2021) Hayao Miyazaki in Search of the World. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 130–140. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2021-2-130-140
9. Varkhotov, T.A. (2019) Game of Thrones: The Rise and Fall of a Perfect TV Series. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 60–91. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2019-4-60-91
10. Shestakova, M.A. (2018) Visualization of the Philosophical and Conceptual Foundations of Modern Natural Sciences in Renaissance Painting. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 263–272. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2018-4-263-272

11. Melik-Gaykazyan, I.V. (2014) Semiotics of education or “keys” and “lock picks” to the modelling of educational systems. *Idei i Idealy – Ideas and Ideals*. 4(1). pp. 14–27. (In Russian). DOI: 10.17212/2075-0862-2014-4.1-14-27
12. Gorbuleva, M.S., Melik-Gaykazyan, I.V. & Pervushina, N.A. (2021) Educational Environment of Pedagogical University: Integration of Communication Formats. *Vysshee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*. 30(10). pp. 139–144. (In Russian). DOI: 10.31992/0869-3617-2021-30-10-139-144
13. Antipov, M.A. (2013) Screen as communication basis of postmodern society. *XXI vek: itogi proshlogo i problemy nastoyashchego – XXI Century: Resumes of the Past and Challenges of the Present*. 8. pp. 216–221. (In Russian).
14. Semenovskikh, T.V. (2014) Fenomen “klipovogo myshleniya” v obrazovatel'noy vuzovskoy srede [The phenomenon of “clip thinking” in the educational environment of the university]. *Naukovovedenie*. [Online] Available from: <http://naukovedenie.ru/PDF/105PVN514.pdf> (Accessed: 2nd June 2022).
15. Frumkin, K.G. (2010) Klipovoe myshlenie i sud'ba lineynogo teksta [Clip thinking and the fate of linear text]. *Topos: literaturno-filosofskiy zhurnal*. [Online] Available from: <http://naukovedenie.ru/PDF/105PVN514.pdf> (Accessed: 2nd June 2022).
16. Smirnova, N.E. (2020) Synthesis of Logical-Verbal and Visual Thinking in the Context of Visual Rotation. *Gumanitarnyy vector – Humanitarian Vector*. 2(15). pp. 95–103. (In Russian). DOI: 10.21209/1996-7853-2020-15-2-95-103

Сведения об авторе:

Бабич В.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры истории и философии науки Томского государственного педагогического университета (Томск, Россия). E-mail: v.v.babich@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Babich V.V. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor of the Department and Philosophy of Science at Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: v.v.babich@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 29.06.2022;
одобрена после рецензирования 10.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 29.06.2022;
approved after reviewing 10.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

Научная статья

УДК 1:3; 001.8:3

doi: 10.17223/1998863X/69/3

ОСНОВАНИЯ ПОЗНАНИЯ В КОНТЕКСТЕ «ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОВОРОТА»: ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Александр Сергеевич Гапонов

Томский научный центр СО РАН, Томск, Россия;

Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,

gaponov.tsu@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются взгляды Карла-Отто Апеля на основания познавательной деятельности. Через реконструкцию и критический анализ идеи «неограниченного коммуникативного сообщества» и «трансцендентальной языковой игры» сделан вывод о том, что в, разработанной им трансцендентальной прагматике не удалось последовательно преодолеть противоречие между утверждаемой лингвистической философией, зависимостью нашего познания от языка и культуры и притязаниями со стороны наук на истинность результатов своей деятельности.

Ключевые слова: коммуникативное сообщество, языковые игры, трансцендентальная прагматика, трансформация трансцендентализма, современная трансцендентальная философия, Карл-Отто Апель

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 18-18-00057, <https://rscf.ru/project/18-18-00057/>

Для цитирования: Гапонов А.С. Основания познания в контексте «лингвистического поворота»: трансцендентально-прагматический подход // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 18–26. doi: 10.17223/1998863X/69/3

Original article

FOUNDATIONS OF KNOWLEDGE IN THE CONTEXT OF THE “LINGUISTIC TURN”: A TRANSCENDENTAL-PRAGMATIC APPROACH

Aleksandr S. Gaponov

*Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Tomsk, Russian Federation;*

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, gaponov.tsu@gmail.com

Abstract. The work is dedicated to the ideas of Karl-Otto Apel. This thinker argues that the conditionality of cognition by language and culture, revealed by modern philosophy, does not deny the possibility of the existence of universal truths. The article deals with the question of whether the concept developed by Apel can be considered a satisfactory solution to the problem of relativism in the theory of knowledge. The core of Apel's philosophy is transcendental pragmatics he developed. Its specificity lies in the fact that, while maintaining the orientation towards the search for the necessary conditions for cognition, it reveals structures in language and communication that generate the intersubjective significance of knowledge. The transcendental language game of an ideal communicative community acts as an instance

that ensures the general significance of cognition. At first glance, the concept Apel developed solves the problem of relativism in epistemology. However, this theory raises a number of criticisms. Firstly, in discussing the question of the necessary conditions for objective knowledge, Apel interprets the “objective” in the spirit of the hermeneutic tradition as a general understanding of the meaning of a certain state of affairs or a general view of a certain subject. Apel considers the question of how it is possible to achieve a common view of things between representatives of different cultures. Following the notion of linguistic philosophy about the linguistic nature of being and thinking, Apel remains within the framework of the idea of cognition as an essentially historical and relative process. Secondly, transcendental pragmatics undertakes the substantiation of the ultimate principles of cognition in the horizon of the language game of the Kantian theory of cognition and the normative prescriptions for scientific cognition put forward by classical New European epistemology. In the author’s opinion, Apel ontologizes the methodological guidelines of the modernist theory of knowledge. This is manifested in the fact that the principles of argumentative, aimed at rational discussion, discourse are thought of as a necessary condition for any meaningful communication. According to the author, argumentative discourse is, first, only one of the types of social communication, and, second, it is not a condition of any communication, but a normative ideal, first of all, of discussing problems in scientific communities. Thus, summing up the above and answering the question posed at the beginning of this work, it can be concluded that transcendental pragmatics does not provide a satisfactory solution to the problem of relativism in the theory of knowledge.

Keywords: communicative community, language games, transcendental pragmatics, transformation of transcendentalism, modern transcendental philosophy, Karl-Otto Apel

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation. Project No. 18-18-00057, <https://rscf.ru/project/18-18-00057/>

For citation: Gaponov, A.S. (2022) Foundations of knowledge in the context of the “linguistic turn”: a transcendental-pragmatic approach. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 18–26. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/3

Характерной особенностью западной философии XX в. является переосмысление своего отношения к важнейшим понятиям и принципам классической новоевропейской мысли. Осуществленные в современной онтологии и эпистемологии деконструкция картезианской «модели сознания» и так называемый «лингвистический поворот» поставили под вопрос не только целесообразность постановки многих традиционных философских проблем, но и смысл философского вопрошания как такового.

Как известно, одно из главных направлений исследования в новоевропейской эпистемологии было связано с выявлением условий получения всеобщего и необходимого знания. Данная проблематика являлась конститутивной для формирования самосознания философии Нового времени, поскольку определяла ее предметную область и место в системе наук. Решающая роль в формировании новоевропейской теории познания отводится Канту и осуществленной им «коперниканской революции». С точки зрения мыслителя, необходимые условия и принципы, благодаря которым осуществляется процесс познания, задаются нашими познавательными способностями, ядром которых являются априорные формы разума. Данные формы определяют то, как мы познаем и воспринимаем объекты внешнего мира. С точки зрения Канта, «опыт сам есть вид познания, требующий [участия] рассудка, правила которого я должен предполагать в себе еще до того, как мне даны предметы, стало быть, а priori; эти правила должны быть выражены в априорных понятиях, с которыми, стало быть, все предметы опыта должны необходимо сооб-

разовываться и согласоваться» [1. С. 23]. Возможность получения объективного знания определялась тем, что априорные принципы разума являются универсальной характеристикой человеческого существования и едины у всех разумных существ. В данной перспективе философии отводилась «роль верховного судьи по отношению к культуре в целом» [2. С. 9]. Выявляя основания познания, она определяла границы применимости наших когнитивных способностей, предписывала наукам правила употребления разума и критиковала необоснованные притязания на знания со стороны таких сфер культуры, как религия и искусство.

Утверждаемая современной философией зависимость нашего мышления от естественного языка, а также выявление сущностной связи с тем социокультурным контекстом, в котором осуществляется его деятельность, привели к детрансцендентализации концепции разума, разработанной Кантом, и пересмотру новоевропейских представлений о сущности познавательного процесса. Так, например, современная эпистемология отказывается от модели, согласно которой познание есть отражение действительности в сознании познающего субъекта. Эти изменения привели к утверждению в современной эпистемологии различных версий контекстуализма и релятивизма.

Однако несмотря на радикальный разрыв с классической традицией, в современной философии мы можем встретить примеры исследований традиционных онтоэпистемологических проблем, которые помещаются в новый концептуальный горизонт и реализуют интересные понятийно-категориальные стратегии их осмысления. Так, через критическое обсуждение идеи самореферентности аналитическая философия вновь ставит вопрос об основаниях познания, исследует возможность построения универалистского эпистемологического дискурса [3] и указывает на несостоятельность релятивизма в теории познания [4].

Данная статья посвящена идеям Карла-Отто Апеля (1922–2017). Этот представитель континентальной мысли занимает особое место в философии XX в. Во-первых, работы Апеля сложно вписать в рамки одной философской традиции. Сам он относит себя к традиции «хайдеггерианской герменевтической феноменологии» [5. С. 429–430]. Однако в своих публикациях он демонстрирует настолько глубокое знание аналитической философии, что позволяет исследователям говорить о нем как о «философе-посреднике» между двумя ведущими традициями западной мысли [6. С. 112]. Во-вторых, в своем творчестве Апель поднимает темы, которые могут показаться анахронизмом. Так, например, он рассматривает вопрос о возможности создания «первой философии», которая бы занималась обоснованием предельных оснований познания и мышления. С последним положением дел связан основной вопрос нашей работы.

На наш взгляд, философская позиция Апеля является реакцией на те негативные последствия в эпистемологии, которые вытекают из произошедшего в ней «лингвистического поворота», в частности на утверждение в теории познания представлений о невозможности существования всеобщих и необходимых истин, а также указание на необоснованность универсальной рефлексивной позиции в самой философии. В своей концепции он, с одной стороны, придерживается позиции философской герменевтики, согласно которой «никакое понимание смысла невозможно без предпосылки историче-

ски обусловленного пред-понимания мира и одновременно с этим – принадлежности к определенной языковой и общественной традиции» [7. С. 81]. С другой стороны, Апель указывает на неполноту выполненного Хайдеггером анализа ««пред-структуры» понимающего бытия-в-мире» [Там же. С. 83] и выдвигает тезис о том, что ««праструктура» бытия-в-мире, которая определяет предпонимание всякого понимания, содержит на деле не только исторические и случайные предпосылки... но также прагматические и трансцендентальные предпосылки аргументации» [5. С. 430–431]. Тем самым Апель утверждает, что выявленная современной философией обусловленность нашей познавательной деятельности языком и культурой не отрицает возможность существования универсальных и объективных истин. В данной статье мы рассмотрим вопрос о том, возможно ли сохранить представления о ситуативном характере мышления и претензии философского Логоса на универсальную значимость? Можно ли считать разработанную Апелем концепцию удовлетворительным решением проблемы контекстуализма и релятивизма в теории познания?

Ядром философии Апеля является разработанная им трансцендентальная прагматика. В этой концепции язык рассматривается, во-первых, в тесной взаимосвязи с коммуникацией, во-вторых, указывается на опосредованность мышления языком, т.е. постулируется коммуникативная природа разума, в-третьих, утверждается, что любой язык предполагает «живую» (коммуникативную) общность.

Рассматривая ситуацию коммуникативного взаимодействия, Апель выдвигает тезис, согласно которому «коммуникативное, и вместе с этим социальное измерение априорности языка содержит основание общезначимости» [8. С. 222], т.е. необходимые основания объективности и достоверности знания находятся в самом процессе коммуникации. Вслед за Хабермасом Апель указывает на то, что в структуре речевых актов с необходимостью присутствуют «притязания на достоверность», которые имеют три измерения: притязание на истину, притязание на искренность и притязание на моральную правильность [9. С. 15]. Развивая эту мысль, он указывает на то, что коммуникативная практика имеет также четвертое основополагающее измерение, которое Апель называет «притязанием на осмысленность» (*Sinnigkeitsanspruch*) [Ibid. С. 16]. Эти притязания обеспечивают возможность достижения согласия не только в локальных сообществах. С точки зрения Апеля, они имеют универсальный статус и обеспечивают «возможностью консенсуса всех разумных существ» [10. С. 35]. Возможность согласия и достижения intersubjectивных истин обеспечивается тем, что в любом аргументативном дискурсе все его участники с необходимостью признают свое участие в трансцендентальной языковой игре неограниченного критического коммуникативного сообщества.

Рассмотрим интерпретацию понятий «коммуникативное сообщество» и «трансцендентальная языковая игра» в трансцендентальной прагматике.

Коммуникативное сообщество. По мнению Апеля, коммуникативное сообщество является универсальной априорной структурой. Это априори с необходимостью имплицитно является любым участником аргументативного дискурса, поскольку он с необходимостью признает два условия: во-первых, признание реального коммуникативного сообщества, субъектом которого он

стал в процессе социализации; во-вторых, идеальное коммуникативное сообщество, в котором могла быть определена правильность любого аргумента и адекватно понят его смысл.

Коммуникативное сообщество в качестве трансцендентальной предпосылки коммуникативной практики не является «ни идеалистической в духе традиционной философии сознания, ни материалистической в духе онтологического «диамата» либо сциентистского объективизма позитивистского происхождения. Данная концепция располагается *по ту сторону идеализма и материализма*» [11. С. 197]. Такое понимание коммуникативного сообщества является следствием постулируемой Апелем посылки, согласно которой идеальные нормы всякой аргументации, т.е. нормы, благодаря которым происходит формирование консенсуса в познании реального мира, должны реализовываться в конкретном обществе.

Коммуникативное сообщество соединяет в себе аспекты идеального и реального. Идеальное сообщество предполагается присутствующим в реальном как его действительная возможность. Оно обнаруживается в любом конкретном коммуникативном сообществе в качестве его идеальной структуры. Процесс познания, понимаемый как общественно обусловленный процесс, развивается в направлении снятия противоречия между двумя сторонами коммуникативного сообщества. Эта идеальная структура выполняет две функции: конститутивную, поскольку она является трансцендентальным условием возможности любого реального коммуникативного сообщества, и регулятивную, поскольку она выступает также в качестве цели реального коммуникативного сообщества. В качестве трансцендентального условия возможности коммуникации идеальное сообщество предшествует любому коммуникативному акту как неограниченное и не связанное ни с каким определенным видом языковой игры, которая генерирует правила функционирования любого реального сообщества. В качестве регулятивного принципа идеальное сообщество предстает как идеал, который должен реализоваться в ходе исторического процесса. Этот идеал выступает своеобразной шкалой при оценке положения дел реального коммуникативного сообщества.

Представление о коммуникативном сообществе как о трансцендентальной посылке познания снимает, с точки зрения Апеля, противоречие между постулатом об обусловленности истины герменевтической ситуацией и претензиями научного познания на универсальность и intersubjectивную значимость своих истин. Реальный и идеальные аспекты коммуникативного сообщества с необходимостью предполагают друг друга. Идеальные нормы коммуникации всегда нуждаются в конкретной реализации. А реальное сообщество всегда так или иначе соотносит себя с нормами языковой игры идеального коммуникативного сообщества. В этом случае реальное коммуникативное сообщество дистанцируется от самого себя, становясь на позицию идеального сообщества, т.е. вырабатывает «критическое самосознание».

Трансцендентальная языковая игра. Язык предстает как трансцендентальная величина в кантовском смысле, т.е. как условие возможности и объективной значимости понятийного мышления, предметного познания и осмысленного действия. Не условия субъективной очевидности познания, а условия его intersubjectивной значимости становятся для Апеля главной темой его «семиотически трансформированной трансцендентальной филосо-

фии». По Апелю, для конституирования факта познания необходимо, чтобы «очевидность моего созерцания была связана с «языковой игрой» посредством прагматически-семантических правил, т.е. в смысле позднего Витгенштейна возвышалась до «парадигмы» языковой игры» [11. С. 195]. Только при этом условии субъективная очевидность, доступная лишь индивидуальному сознанию, может быть преобразована в интересубъективную априорную значимость высказываний и может иметь статус «априори обязательного познания».

В философии позднего Витгенштейна понятие «языковая игра» является центральным. Именно «языковая игра» выступает основанием значимости наших поступков, интерпретаций мира и языкового употребления. Все они встроены в «языковую игру» как «компоненты *социальной жизненной формы*». Согласно Витгенштейну, получается, что не существует ни объективной, ни субъективной гарантии смысла знаков и даже значимости правил языкового употребления. «Языковая игра» в качестве горизонта всевозможных критериев смысла и значимости обладает трансцендентальным достоинством. Существует множество «языковых игр», которые имеют между собой лишь «семейные сходства», и коммуникация между ними невозможна. Главная заслуга Витгенштейна, по мысли Апеля, состоит в радикальном проведении в жизнь «принципа конвенционализма». Суть этого принципа в том, что «не онтосемантическая система идеального языка (в которой «определенность смысла» предложений установлена априори через «логическое пространство» отображения возможных положений дел) «задним числом» вводится в употребление людьми, а *употребление* знаков людьми выносит решение о смысле этих знаков» [Там же. С. 218]. Источником значения знаков являются, таким образом, ни внеположенные нашему миру идеи, ни психологические отпечатки вещей, но значение знаковых выражений определяется способом их употребления, значение знаков закрепляется в конвенциях. Радикализм Витгенштейна, по мнению, Апеля, состоит в следующем тезисе: «не только *значение* знаков становится зависимым от *правил* их применения, но и *смысл правил* применения как будто бы в каждый момент зависит от *конвенций* и их применения» [Там же].

Апель трансформирует понятие языковой игры определенным образом: множество конкретных языковых игр, о которых идет речь у Витгенштейна, он рассматривает в качестве проявления единой универсальной трансцендентальной языковой игры. По его мнению, среди множества «языковых игр» существует одна, которая является условием всех «данных» языковых игр. Эта трансцендентальная языковая игра содержит правила, которые не могут устанавливаться с помощью «конвенций», а сами делают возможными эти «конвенции». Эта трансцендентальная языковая игра является условием, которое делает возможным идентификацию некоторого предмета в качестве «языковой игры», и выступает условием, делающим возможным взаимопонимание между представителями разных «языковых игр». Апель аргументирует это положение следующим образом: «Если (как то действительно виделось Витгенштейну) беспредельно многие, разнообразные языковые игры или жизненные формы, будучи „данными“ (изначальными) фактами, одновременно должны представлять собой предельные квазитрансцендентальные горизонты правил понимания смысла, то непонятно, как они сами смогли

быть данными, как языковые игры, а это значит – идентифицированы в качестве чего-то. Если речь идет о данных языковых играх как о квазитрансцендентальных фактах (в духе релятивизма языковой игры), то из их числа исключается, по крайней мере, *одна* языковая игра, которая предполагается трансцендентальной. С другой же стороны, *различные* языковые игры не только могут быть „данными“ в качестве *наблюдаемых* феноменов для трансцендентальной языковой игры философии, но и, более того, эта последняя языковая игра должна быть принципиально способной к понимающему участию во всех „данных“ языковых играх» [11. С. 228]. Эта игра образует «трансцендентальное единство различных горизонтов правил», это единство не может быть данным, но именно благодаря ему устанавливается коммуникативная взаимосвязь между различными конкретными языковыми играми.

Таким образом, специфика трансцендентальной прагматики состоит в том, что она, сохраняя установку на поиск необходимых условий познания, обнаруживает в языке и коммуникации структуры, которые генерируют интерсубъективную значимость знания. Прагматическому измерению коммуникации, т.е. языку в его реальном коммуникативном употреблении, приписывается трансцендентальный статус. В качестве инстанции, обеспечивающей общезначимость познания, выступает трансцендентальная языковая игра идеального коммуникативного сообщества. На первый взгляд, разработанная Апелем концепция позволяет преодолеть релятивизм в теории познания и успешно разрешает противоречие между утверждаемой лингвистической философией, зависимостью нашего познания от языка и культуры и притязаниями со стороны наук на истинность результатов своей деятельности. Апель, выявляя априорные условия, которые присутствуют «в донаучной коммуникации в жизненном пространстве всех народов» [7. С. 85], подводит прочный фундамент под научное познание.

Между тем данная теория вызывает ряд критических замечаний и вопросов. Во-первых, обсуждая вопрос о необходимых условиях объективного знания, Апель интерпретирует «объективное» в духе герменевтической традиции как общее понимание смысла некоторого положения дел или общий взгляд на определенный предмет. Таким образом, под «объективностью» понимается не соответствие нашего знания действительности, а интерсубъективно разделяемое множеством исследователей знание. Апель рассматривает вопрос о том, как возможно достижение общего взгляда на вещи между представителями разных культур. Тем самым он придерживается конвенциональной теории истины. В этой перспективе возникает следующий вопрос: даже если мы допустим возможность соглашений, которые будут разделяться всеми разумными существами различных коммуникативных сообществ, можем ли мы быть уверены, что в этих соглашениях отражается действительное положение дел? Следуя разделяемому Апелем представлению лингвистической философии об языковой природе бытия и мышления, мы не можем ответить на этот вопрос положительно, но тем самым мы остаемся в рамках представления о познании как о сущностно историчном и релятивном процессе. Во-вторых, исследователи характеризуют трансцендентальную прагматику как «сильную версию» трансцендентализма [12. С. 316]. Апель понимает трансцендентальное исследование в духе Канта. Его концепция предпринимает обоснование предельных принципов познания в горизонте языковой игры

кантианской теории познания и выдвигаемых классической новоевропейской эпистемологией нормативных предписаний научному познанию. Следуя Рорти, можно поставить вопрос: не является ли проект Апеля очередной «вводящей в заблуждение попыткой сделать нормальный дискурс конкретной эпохи вневременным» [13. С. 9]? На наш взгляд, Апель онтологизирует методологические установки модернистской теории познания. Это проявляется в том, что в трансцендентальной прагматике принципы аргументативного, нацеленного на рациональное обсуждение дискурса мыслятся в качестве необходимого условия всякой осмысленной коммуникации. Множество исторически конкретных языковых игр, с точки зрения Апеля, являются случайным проявлением трансцендентальной языковой игры. Он интерпретирует необходимые условия познания с позиции аргументативного дискурса, тем самым абсолютизируя принципы последнего. С нашей точки зрения, аргументативный дискурс является, во-первых, лишь одним из видов социальной коммуникации, а во-вторых, он является не условием всякой коммуникации, но нормативным идеалом, прежде всего, обсуждения проблем в научных сообществах. Таким образом, подводя итог вышеизложенному и отвечая на вопрос, поставленный в начале данной работы, можно сделать вывод о том, что трансцендентальная прагматика не дает удовлетворительное решение проблемы релятивизма в теории познания.

Список источников

1. Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского. Симферополь : Реноме, 2003. 464 с.
2. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб. : Наука, 2000. 377 с.
3. Ладов В.А. Критический анализ иерархического подхода Рассела–Тарского к решению проблемы парадоксов // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2018. № 44. С. 11–24.
4. Ладов В.А. Идея ограничения теории типов в философии математики в контексте критики эпистемологического релятивизма // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2019. № 51. С. 43–52.
5. Апель К.-О. Проблема феноменологической очевидности в свете трансцендентальной семиотики // Хрестоматия по истории философии (западная философия) : в 3 ч. М. : ВЛАДОС, 2001. Ч. 2. С. 428–464.
6. Грязнов А.Ф. Язык и деятельность: критический анализ витгенштейнианства. М. : Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2009. 152 с.
7. Апель К.-О. Бамбергские лекции // Философия без границ: сб. статей : в 2 ч. М. : Издатель Воробьев А.В., 2001. Ч. 1. С. 69–86.
8. Апель К.-О. Лингвистическое значение и интенциональность : Соотношение априорности языка и априорности сознания в свете трансцендентальной семиотики или лингвистической прагматики // Язык, истина, существование. Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2002. С. 204–224.
9. Apel K.-O. Transzendente Reflexion und Geschichte. Berlin : Suhrkamp Verlag, 2017. 369 S.
10. Апель К.-О. Моя интеллектуальная биография в контексте современной философии // Философия без границ : сб. ст. : в 2 ч. М. : Издатель Воробьев А.В., 2001. Ч. 1. С. 31–46.
11. Апель К.-О. Трансформация философии. М. : Логос, 2001. 344 с.
12. Соболева М.Е. Философия как «критика языка» в Германии. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005. 412 с.
13. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. 320 с.

References

1. Kant, I. (2003) *Kritika chistogo razuma* [The Critique of Pure Reason]. Translated from German by N. Lossky. Simferopol: Renome.

2. Habermas, Ju. (2000) *Moral'noe soznanie i kommunikativnoe deystvie* [Moral Consciousness and Communicative Action]. St. Petersburg: Nauka.
3. Ladov, V.A. (2018) Critical analysis of the hierarchical approach to the solution of the paradox problem. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 44. pp. 11–24. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/44/2
4. Ladov, V.A. (2019) The Idea of Limiting the Type Theory in the Philosophy of Mathematics in the Context of the Criticism of Epistemological Relativism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 51. pp. 43–52. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/51/5
5. Apel, K.-O. (2001a) Problema fenomenologicheskoy ochevidnosti v svete transtsendental'noy semiotiki [The problem of phenomenological evidence in the light of transcendental semiotics]. In: Mikeskina, L.A. (ed.) *Khrestomatiya po istorii filosofii (zapadnaya filosofiya): v 3 ch.* [Reader on the History of Philosophy (Western Philosophy): in 3 vols]. Vol. 2. Moscow: VLADOS. pp. 428–464.
6. Gryaznov, A.F. (2009) *Yazyk i deyatelnost': kriticheskiy analiz vitgenshteynizma* [Language and activity: a critical analysis of Wittgensteinism]. Moscow: Knizhnyy dom LIBROKOM.
7. Apel, K.-O. (2001b) Bambergskie lektsii [The Bamberg Lectures]. In: Mironov, V.V. (ed.) *Filosofiya bez granits* [Philosophy Without Borders]. Vol. 1. Moscow: A.V. Vorobiev. pp. 69–86.
8. Apel, K.-O. (2002) Lingvisticheskoe znachenie i intentsional'nost' : Sootnoshenie apriornosti yazyka i apriornosti soznaniya v svete transtsendental'noy semiotiki ili lingvisticheskoy pragmatiki [Linguistic meaning and intentionality: Correlation between the a priori language and the a priori consciousness in the light of transcendental semiotics or linguistic pragmatics]. In: Apel, K.-O. et al. *Yazyk, istina, sushchestvovanie* [Language, Truth, Existence]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 204–224.
9. Apel, K.-O. (2017) *Transzendente Reflexion und Geschichte*. Berlin: Suhrkamp Verlag.
10. Apel, K.-O. (2001c) Moya intellektual'naya biografiya v kontekste sovremennoy filosofii [My intellectual biography in the context of modern philosophy]. In: Mironov, V.V. (ed.) *Filosofiya bez granits* [Philosophy Without Borders]. Vol. 1. Moscow: A.V. Vorobiev. pp. 31–46
11. Apel, K.-O. (2001) *Transformatsiya filosofii*. Moscow: Logos.
12. Soboleva, M.E. (2005) *Filosofiya kak "kritika yazyka" v Germanii* [Philosophy as a "criticism of language" in Germany]. St. Petersburg: St. Petersburg State University.
13. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and Mirror of Nature]. Novosibirsk: Novosibirsk State University.

Сведения об авторе:

Гапонов А.С. – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (Томск, Россия); старший преподаватель кафедры онтологии, теории познания и социальной философии Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: gaponov.tsu@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Gaponov A.S., Cand. Sci. (Philosophy), senior Researcher, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); senior lecturer, Department of Ontology, Theory of Knowledge and Social Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: gaponov.tsu@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.08.2022;
одобрена после рецензирования 10.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 28.08.2022;
approved after reviewing 10.09.2022 ; accepted for publication 27.10.2022

Научная статья

УДК 167.7

doi: 10.17223/1998863X/69/4

ОБ ОДНОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЕ

Ирина Вигеновна Мелик-Гайказян

*Томский государственный педагогический университет, Томск, Россия,
melik-irina@yandex.ru*

Аннотация. Тот факт, что на глобусе обозначены четыре полушария, но только два из этих полушарий обладают полюсами, в статье представлен в качестве метафоры о необходимости обращения к структурной объективности при формулировке задач и результатов гуманитарных исследований.

Ключевые слова: объективность, «эпистемические добродетели», формальные философские дискуссии, аксиоматическая плоскость, пространство решений

Для цитирования: Мелик-Гайказян И.В. Об одной географической метафоре // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 27–31. doi: 10.17223/1998863X/69/4

Original article

ABOUT ONE GEOGRAPHICAL METAPHOR

Irina V. Melik-Gaykazyan

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation, melik-irina@yandex.ru

Abstract. The fact that four hemispheres are marked on the globe, but only two of those possess their poles, is presented in the article as a metaphor for the need of referring to the structure of objectivity when one formulates the problems and results of research in the humanities. The metaphor illustrates the role of axiomatic syntax. This role is specifically manifested in the evaluation of epistemic success in formal philosophical discussions, i.e., during the defense of qualification works or the experts' assessment of initiative research. The study is carried out on the basis of the concept of "epistemic virtues" (Lorrine Daston, Peter Galison) and the methodological consequences of this concept which have been presented in works on mapping the space of thought experiments as well as in works performed with the involvement of the ideas of modern theoretical geography and semiotics. The geographic metaphor of the poles, firstly, demonstrates the navigational role of philosophy in the construction of cognitive maps. Axiomatic planes and/or decision spaces are a particular case of such maps. The syntax of epistemic virtues forms a "compass needle". Secondly, it serves as an illustration of the fact that any conventional distinctions (and/or any configurations of conceptual constructions) make sense only if the limits of structural objectivity are observed. And, thirdly, the metaphor demonstrates that the paths of arguments lose their meaning on those cognitive maps that are created assuming the existence not so much of the West and East poles as in the spaces absurdly given by the West and North or East and South Poles.

Keywords: objectivity, epistemic virtues, formal philosophical discussions, axiomatic plane, decision space

For citation: Melik-Gaykazyan, I.V. (2022) About one geographical metaphor. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 27–31. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/4

Метафора, которая предложена здесь, есть парафраз двух шуточных замечаний, высказанных в разных обсуждениях. Первое замечание высказал

Джон Р.Р. Толкин, резко возражавший против каких-либо ассоциаций между устройством созданного им мира и географией действительного мира. В Оксфорде любят вспоминать о том, что на очередную попытку приписать ему намек на СССР в расположенности зла на востоке, Толкин возразил, что если уж есть в этом намек, то это намек на Кембридж. Второе замечание высказал Джерри Фодор (профессор Йельского университета) в пылу дискуссии о диаметрально противоположных позициях двух школ когнитивистики. Одна из этих школ принадлежала Калифорнийскому университету (на западном побережье), а другая – Массачусетскому технологическому институту (на восточном побережье). Он уподобил это противостояние оппозиции Западного и Восточного полюсов. В качестве продолжения шутки Дж. Фодора необходимость примирения позиций этих школ высказал Стивен Пинкер, поскольку из одного несуществующего места (Западного полюса) «куда ни пойдешь» придется к другому несуществующему месту (Восточному полюсу) [1. С. 39].

Если отвлечься от конкретного содержания научной дискуссии крайних позиций в когнитивистике и перейти просто к здравому смыслу (который, кстати, подсказывает, что верный вариант находится посередине от крайних позиций), то появляются основания придаться к словам Стивена Пинкера. Во-первых, к словам «куда ни пойдешь», т.е. к единственности пути запад–восток. Ведь можно отправиться на север или юг, не говоря уже обо всех других направлениях и разнообразных траекториях. Во-вторых, к его утверждению о том, что Западный и Восточный полюса являются «несуществующими местами». В каком смысле они являются «несуществующими местами»? Существует давняя договоренность об именовании четырех полушарий нашей планеты. Существуют глобусы (и географические карты), на которых отмечены границы этих четырех полушарий. Существует практика определять координаты любого места на земной поверхности, согласно которым упомянутые выше Оксфорд и Кембридж находятся в разных полушариях, поскольку между ними пролегает нулевой меридиан. Существует возможность устанавливать геометрические центры – «полюса» – любых полушарий. Перечисленные существования самоочевидны. Но эта самоочевидность есть результат многих эпистемических привычек. Результат привычности конвенций, привычности глобуса как модели, привычности принимать любое пространство как геометрическое и/или географическое. Следы этой привычности можно обнаружить даже в изложениях истории науки, причем в истории науки, реконструируемой по созданию атласов (не только географических), т.е. по стратегиям научных визуализаций, воплощающих «эпистемические добродетели» [2]. Так, авторы [Там же] фиксируют достигнутую ими реконструкцию динамики трактовок объективности и «эпистемических добродетелей» в следующей аналогии: «появление новых звезд, которые не занимают место старых, но изменяют саму географию неба» [Там же. С. 38]. Слова «география неба»¹ есть след отмеченной привычки, поскольку абсолютно ясно, что география создает описание земной поверхности и более никаких других поверхностей. В своем отображении определенного поверхностного слоя география исследует формирование уникальных пространств под универсальным воздействием природных, социально-экономических и социально-культурных процессов. В означенном здесь подходе к постижению глобальной

¹ The geography of the heavens – в оригинальном издании.

вариативности география следует чрезвычайно малому количеству своих собственных законов. Большинство из этих законов есть следствие специфического воздействия не столько географических полюсов, сколько магнитных Северного и Южного полюсов. Это банальное, всем хорошо известное утверждение. Именно его банальность делает ясным данный пример для извлечения нетривиальных следствий. Главным из них является значение идей структурной объективности для истории и философии науки. Этим идеям в книге Лоррейны Да-стон и Питера Галисона не только отведена специальная глава [2. С. 263–314], но и дано убедительное обоснование их роли для становления такой «эпистемической добродетели», как «тренированное суждение» [Там же. С. 315–360].

Обаяние этой книги привело ее переводчиков к экстраполяции достигнутых значений научных визуализаций к картированию пространства мысленных экспериментов [3–5]¹. Итоги подобных операций делают обоснованным совершение последующих шагов, а именно – переход к «топографии» любых когнитивных карт, частным случаем которых служат аксиоматические плоскости и/или пространства решений. Здесь необходимо акцентировать, что карта для выполнения своей навигационной функции должна принимать как условие существования структурной объективности – распределения аттракций воздействия. То есть объективного распределения «магнитных» локусов. Этот акцент иным образом выражает уже высказанную характеристику целей географии: дескрипции сочетаний локального и глобального и диагностику вариативного на основании возможных сочетаний установленных закономерностей. Отмеченные цели служат подтверждением действенной роли синтаксиса², что согласуется с результатами исследований, проведенных на стыке географии и семиотики [6–7].

Итак, географическая метафора о полюсах демонстрирует, во-первых, что любые конвенциональные разграничения (и любые конфигурации концептуальных конструкций) имеют смысл лишь при соблюдении пределов структурной объективности. И, во-вторых, что пути аргументов теряют смысл на тех когнитивных картах, которые созданы в предположении существования не столько Западного и Восточного полюсов, сколько в пространствах, абсурдно заданных Западным и Северным или Восточным и Южным полюсами.

Большинство из сказанного выше имеет отношение к философии науки. При этом предметная область большинства гуманитарных исследований не совпадает с ареалом истории и философии науки. Вместе с тем есть основание охватить обсуждаемой географической метафорой и эти предметные области. Основание составляет тот факт, что результаты гуманитарных исследований представляют в текстах (статьях, монографиях или диссертациях), которые проходят экспертизу с позиций соответствия принципам науки. Эти экспертные действия можно отнести к формальным дискуссиям, поскольку любое рецензирование или оппонирование всегда подчинено комплексу принятых правил и оставляет место для разных видов профессиональных коммуникаций. Как минимум, подобные тексты должны содержать элементы научной новизны, а это означает, что предметная область захватывает некое «белое пятно». В продолжение географических аналогий можно вспомнить,

¹ Необходимо отметить, что этими же коллегами переведен ряд иных исследований, посвященных эпистемологии визуализаций (в том числе принадлежащих Бруно Латуру) и опубликованных в журнале «Логос».

² И моего убеждения: синтаксис правит миром.

что на очень старых картах такие «белые пятна» обозначали и сопровождали надписью «*Nic sunt leones*» – «Здесь обитают львы». Понятно, что надпись символизировала труднодоступность и опасность области «белого пятна», а также страхи каждого, кто предполагает вторжение на эту территорию. И тут опять возникает связь с книгой «Объективность» [2]. Ее русскоязычное издание сопровождается предисловием, предваряемое эпиграфом [9. С. 7]. В эпиграф вынесен один из важных тезисов: «Вся эпистемология рождается из страха» [2. С. 368]. Страха перед сложностью мира, страха перед возможностями восприятия и интеллекта, «страха, что память притупляется даже между двумя последовательными шагами математического доказательства; страха, что власть и конвенция ослепляют» [Там же]. В принципе географическая метафора о полюсах фиксирует и следствия философии математики, обеспечивших становление идей структурной объективности (а также становление самых уважаемых направлений семиотики), и эффект ослепления конвенциями. В контексте географической метафоры к одному из таких эффектов принадлежат экспертные заключения по итогам формальных философских дискуссий, в которых выкалывают поддержку присутствию Северного и Южного полюсов в пространстве предположений и решений рецензируемой работы, но лишь осторожные сомнения в приверженности рецензируемого автора к существованию Западного и Восточного полюсов. Хотя ясны изъяны такого устройства аксиоматической плоскости и тем более пространства решений. Эта же ясность должна наступать еще на стадии постановки исследовательской задачи, чтобы избежать игнорирования пределов множеств, например природного и социального или естественного и искусственного, и путаницы с элементами, входящими в подобные множества. Эти пределы множеств, обозначаемые на картах, и становятся границами. Границами в широком смысле. Границами, которые могут соединять, а могут разделять; могут фиксировать переходные зоны в действительном пространстве, а могут фиксировать эти зоны в реальности проекций. И весь этот синтаксис, допускающий бесконечность интерпретаций, в большинстве своем, как было сказано выше, исходит из распределения, устанавливаемого воздействием планетарных полюсов.

Таким образом, географическая метафора о полюсах иллюстрирует необходимость в соблюдении «эпистемической техники безопасности» при формировании и очерчивании ареалов предположений и решений для выполнения навигационной функции гуманитарных исследований.

Список источников

1. Линкер С. Чистый лист: Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня. М. : Альпина Диджитал, 2002.
2. Дагстон Л., Галисон П. Объективность. М. : Новое лит. обозрение, 2018.
3. Вархотов Т.А. От воображения к карте: недискурсивные основания мысленного эксперимента // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 250–259. DOI: 10.17223/1998863X/62/24
4. Гавриленко С.М. Мысленный эксперимент и картография: точки схождения // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 265–269. DOI: 10.17223/1998863X/62/26
5. Писарев А.А. Мысленный эксперимент в поисках природы: денатурализация и перформативность // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2021. № 62. С. 274–277. DOI: 10.17223/1998863X/62/28
6. Замятин Д.Н. Геокультурное пространство Арктики: визуализация ландшафтов и онтологические модели воображения // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2021. Вып. 1. С. 48–94. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-1-48-94

7. Иванов К.В. Картографирование как инструмент имперской политики в Центральной Азии // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2020. Вып. 2. С. 151–181. DOI: 10.23951/2312-7899-2020-2-151-181

8. Троцкий С.А. Топография чужого: национальные стереотипы учебников географии как основание карикатурной визуализации представлений о пространстве на стыке XIX–XX веков // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2021. Вып. 3. С. 234–255. DOI: 10.23951/2312-7899-2021-4-234-255

9. Вархотов Т.А., Гавриленко С.М., Иванов К.В., Писарев А.А. Объективность и ее история // Дастон Л., Галисон П. Объективность. М.: Новое лит. обозрение, 2018, С. 7–29.

References

1. Pinker, S. (2002) *Chistyy list. Priroda cheloveka. Kto i pochemu otkazyvaetsya priznavat' ee segodnya* [The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature]. Translated from English by G. Borodina. Moscow: Al'pina Didzhital.

2. Daston, L. & Galison, P. (2018) *Ob"ektivnost'* [Objectivity]. Translated from English. Moscow: Novoe lit. obozrenie.

3. Varkhotov, T.A. (2021) From Imagination to Map: Non-Discursive Foundations of Thought Experiment. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 250–259. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/24

4. Gavrilenko, S.M. (2021) Thought Experiment and Cartography: Points of Convergence. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 265–269. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/26

5. Pisarev, A.A. (2021) Thought Experiment in Search of Nature: Denaturalization and Performativity. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 62. pp. 274–277. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/62/28

6. Zamyatin, D.N. (2021) The geocultural space of the Arctic: Landscape visualization and ontological models of imagination. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 1. pp. 48–94. (In Russian). DOI 10.23951/2312-7899-2021-1-48-94

7. Ivanov, K.V. (2020) Topography of the alien: National stereotypes of geography textbooks as a basis for caricatured visualization of ideas about space at the turn of the 20th century. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 2. pp. 151–181. (In Russian). DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-151-181

8. Troitskiy, S.A. (2021) Topography of the alien: National stereotypes of geography textbooks as a basis for caricatured visualization of ideas about space at the turn of the 20th century. *ПРАЭНМА. Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 4. pp. 234–255. (In Russian). DOI 10.23951/2312-7899-2021-4-234-255

9. Varkhotov, T.A., Gavrilenko, S.M., Ivanov, K.V. & Pisarev, A.A. (2018) *Ob"ektivnost' i ee istoriya* [Objectivity and its history]. In: Daston, L. & Galison, P. (2018) *Ob"ektivnost'* [Objectivity]. Translated from English. Moscow: Novoe lit. obozrenie. pp. 7–29.

Сведения об авторе:

Мелик-Гайказян И.В. – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой истории и философии науки Томского государственного педагогического университета (Томск, Россия). E-mail: melik-irina@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Melik-Gaykazyan I.V. – Dr. Sci. (Philosophy), Professor, head of the Department of History and Philosophy of Science, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: melik-irina@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.08.2022;
одобрена после рецензирования 10.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 25.08.2022;
approved after reviewing 10.09.2022; accepted for publication 27.10.2022

Научная статья

УДК 161.25

doi: 10.17223/1998863X/69/5

СЛЕДОВАНИЕ ПРАВИЛУ, ПРИВАТНЫЙ ЯЗЫК И ПРАКТИКА (САМО)КОРРЕКЦИИ: ПРИМЕР ЛОКАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ КВОЖЕНИЯ

Андрей Викторович Нехаев

Томский научный центр СО РАН, Томск, Россия;

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия;

Омский государственный технический университет, Омск, Россия, a.v.nekhaev@utmn.ru

Аннотация. В статье содержится критический анализ скептического решения проблемы следования правилу. Скептическое решение отрицает существование ‘превосходных’ фактов, которые бы делали истинными утверждения формы «Р под ‘+’ имеет в виду R». Роль источников значения ‘+’ здесь играют паттерны солидарного поведения членов некоторого сообщества, которому принадлежит Р. Правильным способом использования ‘+’ будет такой, который одобряется компетентным большинством данного сообщества, и не может быть никакого другого смысла, в котором оно было бы правильным или неправильным. Гипотеза Бойда отрицает коммунальный характер значения ‘+’. Несмотря на отсутствие ‘превосходных’ фактов, должны быть факты, свидетельствующие не о содержании стандарта R, которому Р либо его сообщество следуют в своей практике использовании ‘+’, а о том, правильно ли они это делают.

Ключевые слова: парадокс Крипке–Витгенштейна, семантический нефактуализм, следование правилу, аргумент приватного языка, коммунитарное скептическое решение, гипотеза Бойда

Благодарности: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 18-18-00057, <https://rscf.ru/project/18-18-00057>.

Для цитирования: Нехаев А.В. Следование правилу, приватный язык и практика (само)коррекции: пример локальной функции квожения // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 32–43. doi: 10.17223/1998863X/69/5

Original article

RULE-FOLLOWING, PRIVATE LANGUAGE, AND (SELF-)CORRECTION PRACTICE: A CASE OF LOCAL QUADDITION FUNCTION

Andrei V. Nekhaev

Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russian Federation;

University of Tyumen, Tyumen, Russian Federation;

Omsk State Technical University, Omsk, Russian Federation, a.v.nekhaev@utmn.ru

Abstract. The article contains a critical analysis of the skeptical solution to the rule-following problem. The skeptical solution denies the existence of “superlative” R-facts that would make statements of the form “P means R by ‘+’ ” true. The role of the sources for the meaning of ‘+’ here is played by the patterns of solidarity behavior of members of some

community to which P belongs. The correct use of '+' would be one that is approved by the competent majority of this community, and there can be no other sense in which it would be correct or wrong. Boyd's hypothesis denies the communal character of the '+' meaning. While there are no "superlative" R-facts, there should be C-facts not about the R as the standard that P or its community follows in their practice of using '+', but about whether they do it correctly. The proof of the Boyd hypothesis is based on the example of an imaginary Ω -community, whose agents use a finite set of simple symbols for the needs of their arithmetic: 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'J'. Each symbol denotes a subset of identical, from the Ω -community point of view, numerical values. The symbol 'A' is used, for example, for a subset of the natural numbers 1, 10, 19, 28, 37, 46, etc.; 'B' for 2, 11, 20, 29, 38, 47, etc.; 'C' for 3, 12, 21, 30, 39, 48, etc. The Ω -community's arithmetic uses the only local function $\oplus$ whose range of values forms a finite set of mathematical propositions $\{\alpha\}$ that are true. The Ω -community's arithmetic, like our own, is open to many skeptical challenges. Is there a fact that determines the meaning of ' $\oplus$ '? What do agents do when they calculate with ' $\oplus$ ' (say, solve examples ' $A \oplus B = ?$ ', ' $C \oplus E = ?$ ', etc.)? Do they *Add*, *Badd* or *Dadd*? To answer them would require a "superlative" R-fact. For the calculation practice with ' $\oplus$ ', it could be a certain R-fact that determines the only possible order for the sequence of numerals 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'J' such that $\{\alpha\}$ is true. An analysis of the calculation practice using the local arithmetic function $\oplus$ shows that for it there are no such R-facts that would determine the only correct standard R – even if the agents in the Ω -community were trained in such calculations on a full set of cases for the application of that function. However, for such practice there are C-facts (independent in their existence from R-facts) that make it possible to distinguish between what seems to be right and what is right. The solitary agent P and the Ω -community are in the same position regarding the knowledge of C-facts. The Ω -community's point of view has no advantage in matters of C-facts knowledge over the solitary agent P's point of view. The Ω -community arithmetic shows that if a solitary agent P had the suitable knowledge of C-facts about the practice of calculations with ' $\oplus$ ', it would allow him/her to disagree with the not correct answers of other members of the community even when they would constitute an absolute majority.

Keywords: Kripke–Wittgenstein paradox, semantic non-factualism, rule-following, private language argument, communitarian sceptical solution, Boyd's hypothesis

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation. Project No. 18-18-00057.

For citation: Nekhaev, A.V. (2022) Rule-following, private language, and (self-)correction practice: a case of local quaddition function. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 32–43. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/5

Даже Бог не мог бы сказать,
что кто-то подразумевает под '+'!
Сол Крикке

1. Введение

Первые упоминания о проблеме следования правилу можно обнаружить в лекциях Витгенштейна, надиктованных в Кембридже группе студентов в 1933/34 году и изданных позднее под названием *The Blue Book (BB)*. В одном из фрагментов он пишет: «...обычно мы не используем язык согласно строгим правилам; нас также не обучали ему посредством строгих правил. В наших рассуждениях, с другой стороны, мы постоянно сравниваем язык с исчислением, осуществляющимся согласно строгим правилам» [1. С. 71]. В развернутом виде проблема обсуждается Витгенштейном в центральных разделах *Philosophical Investigations (PI)*, §138–242)¹. В §201 содержится ее

¹ Ценные замечания о понятии правила можно найти также в предпоследнем разделе *Remarks on the Foundations of Mathematics (RFM, VI)*.

классическая формулировка: «Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия» [2. С. 163]. С тех пор как в 1982 г. Крипке представил данный парадокс в новой форме, споры и дискуссии вокруг него не угаются. И это неудивительно, ведь, по словам самого Крипке, здесь мы имеем дело с «самой радикальной и оригинальной скептической проблемой, с которой когда-либо сталкивалась философия» [3. С. 92; пер. изменен. – Примеч. А.Н.].

2. Можем ли мы следовать правилу?

По мнению Витгенштейна, проблема следования правилу заключается в поиске объяснения того, как некоторый конечный набор примеров может предоставить нам правило *R*, определяющее конкретный образ наших действий как *правильный* в случаях, которые не являются составной частью самого этого набора примеров. Главный вопрос в том, способно ли правило *R*, которому мы обучались, устанавливать доступные для понимания стандарты правильности в случаях бесконечных наборов таких примеров? Витгенштейн часто ставит его в терминах «продолжения серии». Например, он интересуется случаями, когда нас просят продолжить серию чисел '996, 998, 1000, ...' и мы должны понять, принадлежат ли к ней числа '1002', '1004', '1006', ... или нет (*PI*, §143–147, §151–155, §185–190). Для него очевидно, что ни одна конечная серия сама по себе не определяет правильного способа ее продолжения, – и поэтому набор прошлых примеров, на котором мы обучались правилу *R*, не может установить для нас в каждом новом случае *единственно* правильный образ действий.

В результате своих размышлений над этой проблемой Крипке выдвигает два тесно связанных между собой аргумента: скептический (KWA) и приватного языка (PLA). Согласно KWA, приписываемая правилу способность направлять нас в каких-либо действиях (будь то сложение чисел или строительство дома) есть лишь *иллюзия*. Рассматривая пример арифметического вычисления ' $68 + 57 = 5$ ', Крипке указывает на отсутствие среди фактов наших прошлых действий хотя бы одного такого, который говорил бы об ошибочности такого вычисления. Выполненные до аномального случая вычисления (скажем, когда я вычислял ' $1 + 1 = 2$ ' или ' $2 + 5 = 7$ ') парадоксальным образом служат примерами, подпадающими под действие сразу двух *разных* правил: сложения и квожения. Последнее правило предписывает указывать в качестве суммы число 5, если хотя бы одно из слагаемых при вычислении оказывается большим чем 56. Именно здесь запрятана основная скептическая «изюминка» KWA. Проблема не в том, что мы делаем, когда вычисляем ' $68 + 57 = 5$ ', а в том, что именно мы делаем, вычисляя ' $1 + 1 = 2$ ' или ' $2 + 5 = 7$ '. Какому правилу – сложения или квожения – мы следуем, когда наши действия еще не вызывают никаких подозрений? Крипке считает, что в этих случаях, мы находимся не в лучшем положении. Аналогично нашим аномальным вычислениям ' $68 + 57 = 5$ ' никаких фактов (о поведении, диспозициях, ментальных состояниях), которые позволили бы нам устано-

вить, что именно мы делаем, когда вычисляем ' $1 + 1 = 2$ ' или ' $2 + 5 = 7$ ', просто-напросто не существует.

Формально скептический аргумент можно представить в следующем виде¹:

- (KWA1) Чтобы в вычислениях с '+' агент А мог что-то иметь в виду под '+', должна быть определенная арифметическая функция R, которая была принята им как стандарт правильности применения '+'.
 (KWA2) Функция R, принятая А как стандарт правильности применения '+' в вычислениях с '+', предполагает существование таких фактов об А, которые бы фиксировали R в качестве стандарта правильности применения '+' в его вычислениях с '+', т.е. таких фактов, которые бы делали истинными утверждения формы «в вычислениях с '+' под '+' А имеет в виду сложение»².
 (KWA3) Фактов, которые бы делали истинными утверждения формы «в вычислениях с '+' под '+' А имеет в виду сложение», не существует.
 ∴ (KWA4) В вычислениях с '+' нет никакой определенной арифметической функции R, которая могла бы быть принята агентом А как стандарт правильности применения '+'.

Такой аргумент имеет откровенно нигилистический характер³. Кажется, что он обязывает нас принять еще более радикальный вывод:

- ∴ (KWA5) В своих вычислениях с '+' никто ничего не имеет в виду под '+'.

В этом смысле любое продолжение серии чисел '996, 998, 1000, ...' с помощью правила +2, например, когда А записывает '1002', '1004', '1006', '...', должно быть в той же мере ошибочным, что и запись '1004', '1008', '1012', '...'. Но значит ли это, что мы на практике никогда не следуем никаким правилам?

Крипке так не думает. Подобный радикальный вывод, по его мнению, заведомо абсурден, и чтобы избежать его, мы должны отказаться от интуиции семантической супервертности:

- (SS) R-утверждения, если они истинны или ложны (скажем, утверждения формы «в вычислениях с '+' под '+' А имеет в виду сложение»), истинны или ложны в силу наличия некоторых R-фактов (например, фактов о поведении, диспозициях или ментальных состояниях А, делающего вычисления с '+').

Взамен Крипке предлагает принять интуицию коммунальной асимметрии для таких видов практики [5. Р. 31]:

¹ Данная трактовка скептического аргумента основана на интерпретации Уилсона [4. Р. 369–373].

² В частности, чтобы функция сложения направляла наше использование '+' в вычислениях с '+', мы должны уметь выделить ее из всех других возможных стандартов.

³ Вслед за Кнорппом [5. Р. 33] я провожу различие между скептицизмом и нигилизмом в отношении правила. Скептик признает, что в своих вычислениях с '+' мы можем под '+' иметь в виду что-то конкретное (сложение или квожение), но достоверно знать об этом мы и не можем. Нигилист считает, что в принципе нет таких вещей, как правила (вроде арифметических функций сложения или квожения). И в этом отношении КВА совместим с нигилистическим аргументом относительно значения '+', который был предложен Инвагеном [6]. Реалист в отношении правил, в свою очередь, не только признает их существование (в виде особого рода абстрактных сущностей), но и в той ли иной форме защищает возможность иметь невы выводное знание о них. Типичные примеры подобных взглядов можно обнаружить в теории семантического платонизма [7–10].

(CA) Логически невозможно, чтобы изолированный от сообщества N агент A* в своих вычислениях с '+' руководствовался определенной арифметической функцией R; руководствоваться R в вычислениях с '+' можно только внутри сообщества N.

На основе (CA) им выстраивается аргумент приватного языка¹:

(PLA1) В вычислениях с '+' агент A оправдан в своем ответе 'Σ' как примере использования определенной арифметической функции R, только и если только: (1) ответ 'Σ' является результатом *искренних* вычислений с '+' и оценивается им как результат, который он должен был получить с использованием функции R²; (2) данный агентом A ответ 'Σ' *не корректируется* другими членами сообщества N.

(PLA2) Между членами сообщества N существует значительное согласие относительно ответа 'Σ' как результата искреннего вычисления с '+', полученного с использованием функции R.

∴ (PLA3) Считается, что агент A является компетентным членом сообщества N и в вычислениях с '+' он использует определенную арифметическую функцию R, если и только если соблюдаются условия (1) и (2).

Согласно PLA, продолжение серии чисел '996, 998, 1000, ...' с помощью правила +2 в случае, если агент A записывает '1002', '1004', '1006', '...', является правильным не потому, что в его вычислениях есть определенная арифметическая функция R, которая была им принята как стандарт правильности применения '+', а по причине того, что большая часть сообщества N, которому он принадлежит, была бы склонна в этом случае давать именно такой ответ. *Правильное* продолжение серии '996, 998, 1000, ...' с помощью правила +2 в сообществе N – это продолжение, определяемое *солидарными* ответами компетентного большинства его членов, и не может быть никакого другого смысла, в котором вычисления с '+' в сообществе N могло бы быть правильным или неправильным (PI, §241).

3. Можем ли мы знать, какому правилу следуем?

Аргумент PLA косвенно указывает, что практика агента A*, изолированного от сообщества N, не может содержать релевантных примеров следования правилу, так как в ней открыто нарушались бы условия (1) и (2). Однако для убедительной демонстрации абсурдности такой практики необходим дополнительный аргумент [15. Р. 242–251]:

(PLA1*) В своих вычислениях с '+' изолированный от сообщества N агент A* оправдан в ответе 'Σ' как примере использования определенной арифметической функции R, только и если только он может на некоторых разумных основаниях провести различие между тем, что ему *кажется правильным* для R, и тем, что *является правильным* для R.

¹ Полезные обзоры различных версий этого аргумента можно найти в работах Лоу [11], Бейна [12], Макдугалла [13] и Лина [14].

² Данное условие необходимо для блокировки примеров вычислений с '+', когда A мотивирован внешними силами соглашаться с заведомо отличными от 'Σ' ответами. Например, когда кровавый маньяк требует от A признать, что '57 + 68 = 5', в противном случае угрожая убить всех его близких.

- (PLA2*) Изолированный от сообщества N агент A* сделать этого не может¹.
 ∴ (PLA3*) Изолированный от сообщества N агент A* не может пользоваться определенной арифметической функцией R в своих вычислениях с '+'.
 ...

Коммунальный характер следования правилу (PI, §258–260) служит для PLA* основанием, но его ключевая особенность иная. В отличие от PLA, данный аргумент делает прямой вывод: изолированный от сообщества N агент A* не может дать *самому себе* разумные основания думать, что его практика подчиняется каким-либо правилам (PI, §202). Это было бы возможно только в случае, если бы практика вычислений с '+' агента A* стала доступна для *самокоррекции*, – т.е. для агента A* утверждения формы (1*) «в вычислениях с '+' ответ 'Σ' *кажется* A* правильным» и (2*) «в вычислениях с '+' ответ 'Σ' *является* правильным» могли бы различаться своим содержанием². Агент A* должен иметь разумные основания принимать какое-то одно утверждение, но не другое, и знать об этом факте [15. Р. 248]. Применительно к практике вычислений с '+' изолированного от сообщества N агента A* подобная возможность неизбежно коллапсирует³ [15. Р. 250–251; 17. Р. 3].

Аргумент PLA* сталкивается с очевидными возражениями. Проблема в том, что отсутствие R-фактов, которые могли бы зафиксировать для сообщества N определенную арифметическую функцию R (сложение) как стандарт правильности применения '+' в вычислениях с '+', ставит агента A* и сообщество N в одинаковое положение: очевидно, если изолированный от сообщества N агент A* не может провести различие между тем, что *кажется* правильным, и тем, что *является* правильным, то и сообщество N не в силах это сделать [5. Р. 40; 18. Р. 292–294; 19. Р. 328]. Какой бы конкретный способ вычисления с '+' в конечном счете ни приобрел одобрение со стороны сообщества N, только он и будет казаться ему согласующимся с пониманием того, что такое вычисления с '+'⁴.

И тем не менее PLA* все же удастся пролить свет на общее понимание того, что значит следовать какому-либо правилу. Требование коррекции фиксируется в нем как базовое:

- (CC) Чтобы отдельный изолированный агент A* либо целое сообщество N могли в своих вычислениях с '+' руководствоваться опре-

¹ По мнению Витгенштейна (PI, §258), «... в данном случае я не располагаю никаким критерием правильности. Так и тянет сказать: правильно то, что мне всегда представляется правильным. А это означает лишь, что здесь не может идти речь о 'правильности'» [2. С. 175].

² Самокоррекция является условием *sine qua non* любого приватного языка. Факты такой практики служили бы свидетельством, что изолированный от сообщества N агент A* действительно способен проводить различие между утверждениями формы (1*) и (2*). Именно по этой причине критики KWA часто прибегают к помощи воображаемых примеров, где изолированный от сообщества агент сохраняет способность следовать на практике некоторому устойчивому паттерну, самостоятельно корректируя при необходимости свои ошибочные действия [5. Р. 41; 16. С. 75].

³ В противном случае утверждение агента A* о самом себе «Я убежден, что в моих вычислениях с '+' ответ 'Σ' является правильным, но это не так» следовало бы считать осмысленным. Но оно абсурдно, в отличие, например, от утверждений об A* со стороны других агентов – «A* убежден, что в вычислениях с '+' ответ 'Σ' является правильным, но это не так».

⁴ Как метко заметил Макдауэлл, «так и хочется сказать: правильно то, что *нам* представляется правильным. А это означает лишь, что здесь не может идти речь о 'правильности'» [19. Р. 359]. Ситуация, когда целое сообщество N «шагает в ногу», но не в нужном направлении, скорее всего невозможно эмпирически из-за очевидных различий в когнитивных способностях его агентов, однако метафизически она вполне представима [5. Р. 41].

деленной арифметической функцией R , должны быть факты, знание которых позволяет провести на разумных основаниях различие между тем, что *кажется* правильным, и тем, что *является* правильным.

Ключевой вопрос в том, должны ли такие факты быть «превосходными»? Быть R -фактами, устанавливающими независимый как от агента A^* , так и от сообщества N стандарт вычисления с ‘+’?

4. Можем ли мы ошибиться без знания, какому правилу следуем?

В одном из своих недавних исследований Бойд выдвинул гипотезу о том, что, несмотря на отсутствие R -фактов, должны быть факты, свидетельствующие нам не о содержании стандарта R , которому мы следуем в своих вычислениях с ‘+’, а о том, *правильно ли мы это делаем*¹; в противном случае у нас нет никаких разумных оснований, позволяющих отклонить радикальный вывод (KWA5) [20. Р. 12]. Буквально данная гипотеза утверждает:

(ВН) Для случаев следования R должны быть соответствующие S -факты (факты, сообщающие, правильно ли мы следуем R), которые в своем существовании независимы от R -фактов (фактов о самом стандарте R , которому мы следуем).

Некоторые исследователи считают требования ВН абсурдом [17. Р. 6]. Однако мы попытаемся обосновать возможность существования таких S -фактов.

Представим себе воображаемое сообщество Ω , агенты которого используют для нужд своей арифметики конечный набор простых символов, например: ‘ A ’, ‘ B ’, ‘ C ’, ‘ D ’, ‘ E ’, ‘ F ’, ‘ G ’, ‘ H ’, ‘ J ’. Есть только девять символов для обозначения всех возможных чисел, которые могут встретиться в актуальных вычислениях. Кажется, этот крайне скудный (конечный) набор символов не способен выразить привычное нам счетное множество натуральных чисел N^* . Но это не так. Каждый символ такой арифметики обозначает подмножество одинаковых с точки зрения сообщества Ω числовых значений. Символ ‘ A ’, например, мог бы использоваться агентами для выражения натуральных чисел 1, 10, 19, 28, 37, 46 и т.д.; символ ‘ B ’ – 2, 11, 20, 29, 38, 47 и т.д.; ‘ C ’ – 3, 12, 21, 30, 39, 48 и т.д. Девяти символов вполне достаточно для любых вычислений в пределах единственной знакомой им локальной арифметической функции $\oplus$. Математики сообщества Ω доказали, что знанием данной функции, связывающей любые два элемента из произвольных подмножеств Δ и Λ , будет элемент подмножества Σ ($\Delta \oplus \Lambda = \Sigma$), где место переменных $\{\Delta, \Lambda, \Sigma\}$ могут занимать соответствующие экземпляры подмножеств одинаковых числовых значений $A, B, C, D, E, F, G, H, J^2$. Таким образом, знакомый нам ряд натуральных чисел N^* как бы упакован

¹ Ведь обязанность со стороны агента дать правильный ответ – это конститутивная часть любого понимания практики следования правилу.

² Точность арифметических вычислений агентов сообщества Ω легко проверить. Например, можно взять любые два элемента из подмножеств A и B . Математики данного сообщества доказали, что значением $\oplus$ для них будет элемент из подмножества C (и это действительно так: ‘ $1 + 2 = 3$ ’, ‘ $28 + 2 = 30$ ’, ‘ $19 + 20 = 39$ ’ и т.д.).

внутри конечного набора простых символов – ‘ A ’, ‘ B ’, ‘ C ’, ‘ D ’, ‘ E ’, ‘ F ’, ‘ G ’, ‘ H ’, ‘ J ’; а значение локальной арифметической функции $\oplus$ можно представить в виде следующей таблицы¹:

$\oplus$	A	B	C	D	E	F	G	H	J
A	B	C	D	E	F	G	H	J	A
B	C	D	E	F	G	H	J	A	B
C	D	E	F	G	H	J	A	B	C
D	E	F	G	H	J	A	B	C	D
E	F	G	H	J	A	B	C	D	E
F	G	H	J	A	B	C	D	E	F
G	H	J	A	B	C	D	E	F	G
H	J	A	B	C	D	E	F	G	H
J	A	B	C	D	E	F	G	H	J

Согласно данным таблицы, выражения вида ‘ $A \oplus B = C$ ’, ‘ $C \oplus E = H$ ’, ‘ $A \oplus J = A$ ’, ‘ $J \oplus J = J$ ’ образуют множество всех истинных математических предложений $\{\alpha\}$, которое включает всего 81 предложение². Так что овладеть арифметикой сообщества Ω не составляет никакого труда. В таблице мы просто не найдем такого примера, который агент данного сообщества не вычислял бы в процессе своего обучения.

Принятая в сообществе Ω последовательность подмножеств числовых значений ‘ $A, B, C, D, E, F, G, H, J$ ’:

46	47	48	49	50	51	...	...	...
37	38	39	40	41	42	43	44	45
28	29	30	31	32	33	34	35	36
19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	J

¹ Такая арифметика может показаться крайне неудобной для решения практических задач, но для математиков сообщества Ω она имеет несомненные теоретические преимущества. Например, с ее помощью они сумели доказать, что подмножества F и J не содержат чисел, которые мы называем простыми, подмножество C только одно такое число – 3. Более того, из равенств ‘ $A \oplus A = B$ ’, ‘ $B \oplus B = D$ ’, ‘ $D \oplus D = H$ ’, ‘ $H \oplus H = G$ ’, ‘ $G \oplus G = E$ ’, ‘ $E \oplus E = A$ ’ они вывели доказательство, что наши простые числа связаны между собой отношением $2P_{\{A,B,D,H,G,E\}} \oplus 9k$ (где P – произвольное простое число из подмножества A, B, D, H, G, E , но такое, что $P \geq 7$; при $k \in \mathbb{O}$, т.е. k , принадлежащем множеству всех нечетных чисел).

² В отличие от привычной нам арифметики, в сообществе Ω каждое из этих предложений является обозначением соответствующего множества вычислений (например, предложение ‘ $A \oplus B = C$ ’ может использоваться для обозначения таких вычислений, как ‘ $1 + 2 = 3$ ’, ‘ $10 + 2 = 12$ ’, ‘ $28 + 11 = 39$ ’ и т.д.).

Такая последовательность приближается к привычной для нас развертке чисел '1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'¹. Но является ли такая развертка единственной, для которой $\{a\}$ будет истинным? Легко убедиться, что существует множество альтернативных нестандартных разверток подмножеств числовых значений $A, B, C, D, E, F, G, H, J$.

Например, рассмотрим следующий вариант:

46	47	48	49	50	51	...	...	...
37	38	39	40	41	42	43	44	45
28	29	30	31	32	33	34	35	36
19	20	21	22	23	24	25	26	27
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9
G	E	C	A	H	F	D	B	J

В этом случае каждое истинное для последовательности ' $A, B, C, D, E, F, G, H, J$ ' множество предложений $\{a\}$ будет оставаться истинным и для последовательности ' $G, E, C, A, H, F, D, B, J$ ', обозначая при этом альтернативное множество вычислений. И получается, что нумерал ' A ' независимо от истинностного значения предложений множества $\{a\}$ может иметь своим числовым значением не только подмножество числовых значений 1, 10, 19, 28, 37 и т.д., но и подмножество 4, 13, 22, 31, 40, 49 и т.д., равно как и любой другой нумерал в арифметике сообщества Ω .

Арифметика сообщества Ω , как и наша собственная, открыта для многих скептических вопросов. Есть ли факт, устанавливающий значение функции $\oplus$? Что делают агенты, когда вычисляют с ' $\oplus$ ' (скажем, решают примеры ' $A \oplus B = ?$ ', ' $C \oplus E = ?$ ')? Они *складывают* (Additions), *сбадывают* (Badditions) или *сдадывают* (Daddition)?

Чтобы ответить на них, потребовался бы «превосходный» факт. Для принятой в сообществе Ω практики вычислений с ' $\oplus$ ' им мог бы стать некоторый R-факт, определяющий *единственно* возможный порядок последовательности нумералов ' A ', ' B ', ' C ', ' D ', ' E ', ' F ', ' G ', ' H ', ' J ', при котором $\{a\}$ будет истинным. Мы знаем, что такого R-факта нет. Но можно ли сказать то же самое о C-фактах, сообщающих о правильности действий агентов сообщества Ω в их вычислениях с ' $\oplus$ '? Нет, нельзя. Напротив, данная практика не исключает существование подобных C-фактов (в форме истинных утвержде-

¹ Порядок расположения нумералов ' A ', ' B ', ' C ', ' D ', ' E ', ' F ', ' G ', ' H ', ' J ' данной последовательности принципиально важен для арифметики сообщества Ω . Без знания об этом порядке агенты не могли бы овладеть практикой счета. Данная практика во многом подобна нашей, основой для нее служит кардинальный принцип, который гласит: последний нумерал при счете является численным показателем пересчитываемой коллекции элементов [21. Р. 79–80]. В этом смысле практика счета сообщества Ω и наша собственная мало чем отличаются. Зная порядок нумералов '1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...', принятый в нашей математике, я могу найти сумму любых двух коллекций для счета. Например, есть две кучи с камнями и меня просят ответить на вопрос: сколько камней в обеих кучах? Объединив все камни в одну кучу, я могу их пересчитать, откладывая один камень за другим и обозначая каждый из них нумералом в том порядке, который мне известен. Нумерал, которым я обозначу последний камень этой кучи, и будет численным значением их суммы. Агенты сообщества Ω в своей практике счета действуют таким же способом с тем лишь отличием, что если коллекция для счета больше 9 элементов, то, добравшись до крайнего нумерала ' J ', они возвращаются к началу последовательности и продолжают так действовать до тех пор, пока не присвоят соответствующий нумерал последнему элементу подсчитываемой коллекции.

ний «для ' $A \oplus B$ ' ответ ' C ' является правильным», «для ' $C \oplus E$ ' ответ ' H ' является правильным»). А значит, ВН является верной гипотезой.

5. Заключение

Теперь, когда у нас есть подтверждения для гипотезы Бойда, можно сделать ряд важных выводов относительно проблемы следования правилу:

(ВН1) Не существует таких R-фактов, которые бы устанавливали *единственно* правильное правило – даже в тех случаях, когда мы обучались вычислениям с помощью локальной арифметической функции $\oplus$ на *полном* наборе примеров ее использования. Арифметика сообщества Ω дает нам дополнительные основания принять тезис об отсутствии в наших практиках следования правилам каких-либо «превосходных» фактов о содержании самих правил, которым мы следуем.

(ВН2) Существование С-фактов необходимо для того, чтобы понятие следования правилу имело хоть какой-то смысл для нашей практики¹. В ситуациях, когда агент, поведение которого не регулируется никакими правилами (в смысле полного отсутствия каких-либо С-фактов о его поведении), помещается в сообщество других агентов, поведение которых также не регулируется никакими правилами, нет никакой возможности для появления паттернов регулируемого правилами коммунального поведения. Арифметика сообщества Ω имеет дело с практикой вычислений, для которой нет R-фактов, но тем не менее для такой практики есть С-факты, позволяющие провести различие между тем, что *кажется* правильным, и тем, что *является* правильным.

(ВН3) Изолированный агент A^* и сообщество N в отношении знания С-фактов (сообщающих о соответствии либо несоответствии наших действий правилу R) находятся в одинаковом положении. Точка зрения сообщества N *не имеет никаких преимуществ* в вопросах знания С-фактов перед точкой зрения изолированного агента A^* . Арифметика сообщества Ω показывает, что наличие у изолированного агента соответствующего знания С-фактов о практике вычислений с ' $\oplus$ ' позволяло бы ему не соглашаться с ошибочными ответами других членов данного сообщества даже тогда, когда они составляли бы абсолютное большинство.

Список источников

1. Витгенштейн Л. Голубая и Коричневая книги: предварительные материалы к «Философским исследованиям». М. : Канон+ РООИ Реабилитация, 2022. 384 с.
2. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы. Ч. 1. М. : Гнозис, 1994. С. 75–319.
3. Крипке С. А. Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке. М. : Канон+ РООИ Реабилитация, 2010. 256 с.
4. Wilson G. M. Kripke on Wittgenstein on Normativity // Midwest Studies in Philosophy. 1994. Vol. 19. P. 366–390.
5. Knorpp W. Communalism, Correction and Nihilistic Solitary Rule-Following Arguments // Problems of Normativity, Rules and Rule-Following / Eds. M. Araszkiewicz, P. Banas, T. Gizbert-Studnicki, K. Pleszka. New York : Springer, 2015. P. 31–46.

¹ Данное условие согласуется с известным тезисом Витгенштейна (PI , 289): «Использовать слово без основания не значит использовать его неверно» [2. С. 182].

6. Inwagen P. There is No Such Thing as Addition // *Midwest Studies in Philosophy*. 1992. Vol. 17. P. 138–159.
7. Ладов В.А. Семантика Г. Фреге в современной аналитической философии // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2022. Вып. 3(33). С. 97–110.
8. Борисов Е.В. Контекстуальность в семантике Каплана и Катца // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2022. Вып. 3(33). С. 111–117.
9. Нехаев А.В. Блеск и нищета семантического платонизма // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2022. Вып. 3(33). С. 118–126.
10. Суровцев В.А. Реальность лингвистического значения и языковые игры // ПРАЭНМА. Проблемы визуальной семиотики. 2022. Вып. 3(33). С. 135–144.
11. Law S. Five Private Language Arguments // *International Journal of Philosophical Studies*. 2004. Vol. 12, № 2. P. 159–176.
12. Bain D. Private Languages and Private Theorists // *The Philosophical Quarterly*. 2004. Vol. 54, № 216. P. 427–434.
13. McDougall D.A. The Role of *Philosophical Investigations* 258: What is ‘the Private Language Argument’? // *Analytic Philosophy*. 2013. Vol. 54, № 1. P. 44–71.
14. Lin F. Y. Wittgenstein’s Private Language Investigation // *Philosophical Investigations*. 2017. Vol. 40, № 3. P. 257–281.
15. Wright C. Does *Philosophical Investigations* 258–60 Suggest a Cogent Argument against Private Language? // *Rails to Infinity: Essays on Themes from Wittgenstein’s Philosophical Investigations*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001. P. 223–290.
16. Бейкер Г.П., Хакер П. М. С. Скептицизм, правила и язык. М. : Канон+ РООИ Реабилитация, 2008. 240 с.
17. Miller A. What is the Sceptical Solution? // *Journal for the History of Analytical Philosophy*. 2020. Vol. 8, № 2. P. 1–22.
18. Blackburn S. The Individual Strikes Back // *Synthese*. 1984. Vol. 58, № 3. P. 281–301.
19. McDowell J. Wittgenstein on Following a Rule // *Synthese*. 1984. Vol. 58, № 3. P. 325–363.
20. Boyd D. Semantic Non-Factualism in Kripke’s Wittgenstein // *Journal for the History of Analytical Philosophy*. 2017. Vol. 5, № 9. P. 1–13.
21. Gelman R., Gallistel C.R. *The Child’s Understanding of Number*. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1986. 260 p.

References

1. Wittgenstein, L. (2022) *Golubaya i Korichnevaya knigi: predvaritel'nyye materialy k "Filosofskim issledovaniyam"* [The Blue and the Brown Books: Preliminary Studies for the “Philosophical Investigations”]. Translated from English. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya.
2. Wittgenstein, L. (2001) *Filosofskie raboty* [Philosophical Works]. Vol. 1. Translated from German. Moscow: Gnozis. pp. 75–319.
3. Kripke, S.A. (2010) *Vitgenshteyn o pravilakh i individual'nom yazyke* [Wittgenstein on Rules and Private Language]. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya.
4. Wilson, G. M. (1994) Kripke on Wittgenstein on Normativity. *Midwest Studies in Philosophy*. 19. pp. 366–390.
5. Knorpp, W. (2015) Communalism, Correction and Nihilistic Solitary Rule-Following Arguments. In: Araszkievicz, M., Banas, P., Gizbert-Studnicki, T. & Pleszka, K. (eds) *Problems of Normativity, Rules and Rule-Following*. New York: Springer. pp. 31–46.
6. Inwagen, P. (1992) There is No Such Thing as Addition. *Midwest Studies in Philosophy*. 17. pp. 138–159.
7. Ladov, V.A. (2022) Gottlob Frege’s semantics in modern analytic philosophy. ПРАЭНМА. *Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 3(33). pp. 97–110. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2022-3-97-110
8. Borisov, E.V. (2022) Contextuality in Kaplan’s and Katz’s semantics. ПРАЭНМА. *Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 3(33). pp. 111–117. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2022-3-111-117
9. Nekhaev, A.V. (2022) Shine and poverty of semantic Platonism. ПРАЭНМА. *Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 3(33). pp. 118–126. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2022-3-118-126
10. Surovtsev, V.A. (2022) Reality of linguistic meaning and language games. ПРАЭНМА. *Problemy vizual'noy semiotiki – ПРАЭНМА. Journal of Visual Semiotics*. 3(33). pp. 135–144. (In Russian). DOI: 10.23951/2312-7899-2022-3-135-144

11. Law, S. (2004) Five Private Language Arguments. *International Journal of Philosophical Studies*. 12(2). pp. 159–176.
12. Bain, D. (2004) Private Languages and Private Theorists. *The Philosophical Quarterly*. 54(216). pp. 427–434.
13. McDougall, D.A. (2013) The Role of Philosophical Investigations 258: What is ‘the Private Language Argument’? *Analytic Philosophy*. 54(1). pp. 44–71.
14. Lin, F.Y. (2017) Wittgenstein’s Private Language Investigation. *Philosophical Investigations*. 40(3). pp. 257–281.
15. Wright, C. (2001) *Rails to Infinity: Essays on Themes from Wittgenstein’s Philosophical Investigations*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. pp. 223–290.
16. Baker, G.P. & Hacker, P.M.S. (2008) *Skeptitsizm, pravila i yazyk* [Scepticism, Rules and Language]. Translated from English. Moscow: Kanon+ ROOI Reabilitatsiya.
17. Miller, A. (2020) What is the Sceptical Solution? *Journal for the History of Analytical Philosophy*. 8(2). pp. 1–22.
18. Blackburn, S. (1984) The Individual Strikes Back. *Synthese*. 58(3). pp. 281–301.
19. McDowell, J. (1984) Wittgenstein on Following a Rule. *Synthese*. 58(3). pp. 325–363.
20. Boyd, D. (2017) Semantic Non-Factualism in Kripke’s Wittgenstein. *Journal for the History of Analytical Philosophy*. 5(9). pp. 1–13.
21. Gelman, R. & Gallistel, C.R. (1986) *The Child’s Understanding of Number*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Сведения об авторе:

Нехаев А.В. – доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Томского научного центра СО РАН (Томск, Россия); профессор кафедры философии Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия); профессор кафедры философии и социальных коммуникаций Омского государственного технического университета (Омск, Россия). E-mail: a.v.nekhaev@utmn.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Nekhaev A.V. – Dr. Sci. (Philosophy), Docent, leading researcher, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation); professor of the Department of Philosophy, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation); professor of the Department of Philosophy and Social Communications, Omsk State Technical University (Omsk, Russian Federation). E-mail: a.v.nekhaev@utmn.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.08.2022;
одобрена после рецензирования 15.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 28.08.2022;
approved after reviewing 15.09.2022; accepted for publication 27.10.2022

Научная статья

УДК 168

doi: 10.17223/1998863X/69/6

ГРАНИЦЫ НАУКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Ирина Васильевна Черникова¹, Надежда В. Николина²

^{1, 2} *Томский государственный университет, Томск, Россия,*

¹ *chernic@mail.tsu.ru*

² *nikolinanadya@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматривается проблема границ науки через конкретизацию контекстов, в которых формируются модели науки. В зависимости от образа науки, который «схватывается» в конкретном измерении науки, представляются способы идентификации науки. Авторы обращаются к образам науки, которые воссоздаются исторической эпистемологией, формируются вокруг проблемы релятивизации научно-го знания, обозначаются в контексте становления трансдисциплинарных исследований технаук и в других контекстах.

Ключевые слова: демаркация, наука, границы, идентичность

Благодарности: исследование выполнено по гранту РФФИ № 20-011-00298.

Для цитирования: Черникова И.В., Николина Н.В. Границы науки и формирование идентичности научного знания // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 44–56. doi: 10.17223/1998863X/69/6

Original article

THE BOUNDARIES OF SCIENCE AND THE FORMATION OF THE IDENTITY OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

Irina V. Chernikova¹, Nadezhda V. Nikolina²

^{1, 2} *Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation,*

¹ *chernic@mail.tsu.ru,*

² *nikolinanadya@gmail.com*

Abstract. The topic of the boundaries of science has been discussed in diverse variations. However, understanding the historicity of forms of scientific rationality, relativization and changes in the ways scientific knowledge is produced, and changes in the relationship between science and society inevitably lead to the need to address the problem of the identity of science and to identify the cognitive and social foundations of the slippage of its boundaries. The idea of the boundaries of science depends on the model of science adopted, on its specific historical localization, and on the choice of its aspect of consideration. Science is studied in three main dimensions: science as a system of knowledge, which is characterized by a constant pursuit of truth; science as an activity; and science as a social institution that regulates the relationship between the scientific community, society, and nature. The post-positivist philosophy of science has developed two main aspects of the study of science: cognitive (intra-scientific parameters of the growth of scientific knowledge,

internal boundaries) and social and cultural (the relationship of science with other social institutions, external boundaries). It is advisable to consider the problem of boundaries of science by specifying the contexts in which models of science are formed, and depending on the image of science that is “grasped” in this particular dimension of science as a complex self-developing system of knowledge and social and cultural phenomenon, to present ways of identifying science. Thus, for example, the images of science reconstructed by historical epistemology are actively discussed. Another context for the discussion of the boundaries of science is formed around the problem of the relativization of scientific knowledge. Equally important is the context of the emergence of transdisciplinary studies of technoscience. The sociology of scientific knowledge forms the context of “boundary-work” designated by Thomas F. Gieryn. The problem of boundary-work also affects the problems of the method of describing and defining science. Under conditions of inter- and transdisciplinarity and complex thinking the boundaries are erased, and the justification of the demarcation between “science” and “non-science” is questioned. These modern contexts actualize the concept of “boundaries of science”, which requires a new philosophical and methodological reading.

Keywords: demarcation, science, boundaries, identity

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research. Project No. 20-011-00298.

For citation: Chernikova, I.V. & Nikolina, N.V. (2022) The boundaries of science and the formation of the identity of scientific knowledge. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 44–56. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/6

Тема границ науки обсуждалась в различных вариациях многократно. Проблема демаркации стала одной из центральных в позитивизме. Характеристике различий между научным и вненаучным знанием посвящено немало монографий, диссертаций и статей [1–6]. Казалось бы, выявление критериев научного знания, изучение идеалов научности высветили основные аспекты проблемы. Однако понимание историчности форм научной рациональности, релятивизация и изменения в способах производства научного знания, перемены во взаимосвязи науки и общества неизбежно приводят к необходимости нового обращения к проблеме идентичности науки и выявления собственно когнитивных и социальных оснований ускользания ее границ.

Граница изначально – пространственная категория, но слово претерпело множество метафорических изменений, в том числе как границы времени и границы возможностей. Граница, таким образом, это не абстрактная линия, а конкретное свойство, погруженное в контекст действия по отношению к агенту. Агент вносит пространство возможностей: действий, отношений, целей, обязанностей, чувств и ценностей, которые зависят от определенной онтологии. Граница представляется либо как нечто положительное, ценное, способствующее конституированию объекта, либо как нечто отрицательное, ограничивающее его. Говоря о границах науки, важно помнить, что думать о границах науки – это не то же самое, что задаваться вопросом, есть ли у науки границы. Во-первых, существует проблема возможности границ, которые отделяют научное от ненаучного. Во-вторых, существует проблема научных «границ», т.е. вопрос о возможном пределе научного знания, который может быть достигнут.

Представление о границах науки зависит от принятой модели науки, от ее конкретной исторической локализации, от выбора аспекта ее рассмотрения. Наука изучается в трех основных измерениях: наука как система знаний,

которым свойственно постоянное стремление к истине; наука как деятельность; наука как социальный институт, регулирующий отношения научного сообщества, общества и природы. Например, М. Фуко в «Археологии знания», представляя дискурсивную модель науки, разворачивает представление о границах научного дискурса как серии порогов. Когда науку рассматривают как когнитивную систему, границы выстраиваются в рамках «познанное – непознанное». Если наука понимается как социальный институт, границы выстраиваются в соотношении с другими сферами культуры – религией, философией, искусством. Ранее одним из авторов данной статьи этот вопрос рассматривался более подробно [7. С. 80–88].

На основании чего дается оценка научности? Философы и ученые связывают научность прежде всего с методом, отмечая, что различие между наукой и лженаукой по существу определяется методом, а не содержанием. Так, философ науки М. Томпсон утверждал, что научность должна основываться на методах, используемых для сбора данных, и на готовности подвергнуть результаты анализу [8], а известный естествоиспытатель В.И. Вернадский подчеркивал, что именно научный метод позволяет отличить науку от других форм культуры: «Как искусство немыслимо без какой-либо определенной формы выражения, будь то звуковые элементы гармонии или законы, связанные с красками, или метрическая форма стиха; как религия не существует без общего многим людям и поколениям культа, без той или иной формы выражения мистического настроения; как нет философии без рационалистического самоуглубления в человеческую природу или в мышление... так нет науки без научного метода» [9. С. 181]. Другим важным маркером, отличающим научное знание, является ориентация науки на поиск истины, известна метафора, в которой истина сравнивается с лакмусовой бумагой для проверки знания на научность.

В постпозитивистской философии науки демаркационные стратегии были пересмотрены. Прежде всего, сами позитивисты доказали ограниченность созданной ими модели науки. Предпринятые попытки задать универсальный стандарт научности, выработать строгие и точные критерии, отличающие науку от «не-науки», оказались несостоятельны. Границы науки исторически изменчивы и условны, в этом и состоял основной результат обсуждения проблемы демаркации, поставленной позитивистами. Предложенный К. Поппером критерий фальсификации также не позволял провести жесткую границу между наукой и не-наукой. Толкование науки как некоего монолитного предприятия, спаянного единым методом, подверглось критике не только в ракурсе постмодернистских деконструкций, но и в философии науки: П. Фейерабенд выступил «против метода», Т. Кун призвал рассматривать науку как неупорядоченный набор различных специальностей или видов.

Появившаяся в середине XX в. теория самоорганизации сложных систем позволила и на науку как систему знаний взглянуть с этой позиции: любая сложная саморазвивающаяся система является открытой и одновременно операционально замкнутой. Операциональная замкнутость системы научного знания обеспечивает ее локализацию в культуре, задает идентичность науки. Размытость границ науки сравнима с размытостью границ любой саморазвивающейся сложной системы. Например, биологи используют термин «пушистость» живого для обозначения размытости границ организма.

Границы науки безусловны, в смысле бытия науки как особого социокультурного института, и одновременно условны, поскольку наука исторически локализована. В.С. Степин показал, что можно зафиксировать ряд инвариантных характеристик, которые отличают науку от других форм познавательной деятельности и которые сохраняются в процессе исторической эволюции научной рациональности. В качестве основных этапов динамики науки в культуре он выделил три типа научной рациональности: классическую, неклассическую и постнеклассическую [10] и при этом призывал отслеживать точки роста новой научности. Переход к новому типу научной рациональности понимается как смена парадигмы. В период научной революции обостряются споры вокруг границ науки, хотя контексты актуализации проблемы идентичности науки различны и многообразны, поэтому имеет смысл обратиться к классификации границ науки.

В постпозитивистской философии науки сложились два основных аспекта исследования науки: когнитивный и социокультурный. В когнитивном аспекте анализировались внутринаучные параметры роста научного знания, что характеризовало внутреннюю историю науки и ее внутренние границы. В социокультурном аспекте рассматривалось соотношение науки с другими социальными институтами и определялись ее внешние границы. В.П. Визгин очень емко охарактеризовал изменения в науке и ее отношениях с другими формами общественного сознания на современном этапе: «Методологический „монархизм“ декартовского типа сменяется методологическим „анархизмом“ в духе Фейерабенда. Структурализм подводит науку под общий ранжир семиотической системы наряду с мифом и литературой, о чем мы уже упоминали, говоря о релятивизме. Наука рассматривается как исторически ограниченное и культурологически условное явление, не способное к достижению истины, имеющей общеобязательное значение для всех эпох и культур. Само понятие объективной истины, независимой от исторического контекста, многими теоретиками науки рассматривается как романтическая метафизическая химера, принадлежащая прошлому. Постструктурализм, воскрешающий ницшевскую онтологию воли к власти и присоединяющий к ней некоторые представления, навеянные квантовой физикой и молекулярной биологией, сводит вопрос об истине к вопросу о средствах ее социально значимой имитации. Истина при этом выступает как понятие с пустым значением, которое, однако, ценится, так как способно внести свой вклад в баланс сил, пронизывающих современный мир как борьбу за власть. В соответствии с таким переносом внимания ищутся не условия того, чтобы наши суждения о мире соответствовали самому миру, а чтобы они лишь выглядели как истинные, воспринимались как „истинные“ безотносительно при этом к тому, какова же их связь с реальностью вещей на самом деле» [4. С. 223].

Выше уже отмечали, что границу следует понимать не как линию, а как пространство смысла. По Спенсеру-Брауну, граница – это не только разделение, но и соединение [11]. Проблему границ науки, на наш взгляд, целесообразно рассматривать, конкретизируя контексты, в которых формируются модели науки, и в зависимости от образа науки, который «схватывается» в данном конкретном измерении науки как сложной саморазвивающейся системы знаний и социокультурного феномена, представлять способы иденти-

фикации науки. Так, например, активно обсуждаются в последнее время образы науки, воссоздаваемые исторической эпистемологией. Другой контекст обсуждения границ науки формируется вокруг проблемы релятивизации научного знания, также проблема границ науки актуализирована в контексте дискуссий о конце науки. Не менее важным является контекст становления трансдисциплинарных исследований технонауки и трансформации объективности научного знания в установку, обозначаемую аббревиатурой TRUST. Социология научного знания формирует контекст, обозначенный Т. Гьерриным термином «boundary-work» (работа по установлению границ). Далее представим обозначенные контексты.

Историческая эпистемология характеризуется как один из влиятельных современных подходов к исследованию науки [12]. На страницах журнала «Эпистемология и философия науки» этому подходу посвящена не одна панельная дискуссия, в частности, отмечалось, что историческая эпистемология демонстрирует антифундаменталистскую эпистемологическую «оптику», знание объективируется не как гомогенный порядок представления, а как нечеткое динамическое множество гетерогенных элементов, находящихся в сложных и исторически варьирующихся отношениях координации [13, 14]. По поводу влияния исторической эпистемологии на интерпретацию научной идентичности Л.В. Шиповалова и Ю.В. Шапошникова замечают, что если интерпретация понятия научной идентичности включает в себя признание истинности различных и несоизмеримых парадигм (теорий), возникает опасный для науки призрак релятивизма. Наука как никакая иная деятельность претендует на универсальность объяснения мира, а потому опасность релятивизма заставляет всерьез отнестись к идее радикального историзма, связанного со сменой научных парадигм [15].

Л. Дастон и П. Галисон представили свою версию исторической эпистемологии в широко обсуждаемой книге «Объективность». Авторы рассматривают объективность не как предельное понятие, а показывают, как «делается объективность», трактуя ее как исторически и культурно локализованные практики наблюдения и создания научных изображений. Дастон и Галисон выделили и описали несколько эпистемологических режимов: истина – по природе (1740–1820 гг.), механическая объективность (1820–1920 гг.), структурная объективность (1880–1930 гг.), тренированное суждение (1920–1990 гг.) и только разворачивающийся режим изображения-как-презентации (1990 г. – н. вр.) [16. С. 32]. Для каждого из типов объективности призывается соответствующий ему тип ученого с соответствующей практикой научного наблюдения и фиксации данных, поэтому объективность сопрягается с научной самостью и этикой. Главный тезис – объективность имеет историю, и понимать ее следует как эпистемическую добродетель, поскольку эпистемология предполагает этику. Познавая природу, человек одновременно познавал и создавал себя. В центре внимания тем самым оказывается история научной самости и практик ее конституирования и воспроизводства, связанных с созданием и использованием научных изображений [Там же. С. 20]. Научная объективность, как показывают авторы, впервые возникает в середине XIX в., и наука в целом, понимаемая как гомогенная система представлений, переосмысливается как неоднородное многообразие практик создания образов и морального поведения.

Таким образом, в заданном контексте вопрос о границах науки требует исторической и локальной конкретизации. Л.В. Шиповаловой была инициирована дискуссия по вопросу о том, как мыслить науку исторически, если ценой, которую приходится платить за радикализм исторического мышления, является релятивизм, «безжалостный историзм» оборачивается релятивизмом [17. С. 23]. Между тем размывание границ науки в ответ на многообразие познавательных практик – это лишь одно из проявлений релятивизации науки, которая является следствием многих процессов, среди которых обращение науки к исследованию сложных саморазвивающихся систем-процессов с «имманентной случайностью». И.Р. Пригожин указывает, что главные открытия науки этого столетия объявили вне закона границы науки. Кроме того, происходят изменения в когнитивных практиках познания, получают распространение конструктивистские и интерпретационистские модели, что также способствует релятивизации знания. Оказывает влияние общий фон культуры, постмодернистские идеи плюрализма, децентрализации, текстового характера реальности. В самой философии науки актуализируются исследования науки как социального института, в которых научное знание предстает как обусловленное социальными и психологическими параметрами.

С одной стороны, релятивизация научного знания – проявление объективного хода развития науки и культуры. С другой стороны, релятивизация научного знания ведет к размыванию границ науки, отказу от объективности как основной ценности науки и, значит, к концу науки. Е.А. Мамчур предложила выделять три разновидности релятивизма: персоналистский, когнитивный и культурный [18. С. 80]. Персоналистский релятивизм связан с неустранимостью активности субъекта и связанных с его деятельностью личностных параметров в знании. Он восходит к тезису Протагора о человеке как мере всех вещей. Когнитивный релятивизм обусловлен осознанием того, что в научном познании мы имеем дело с моделями, в которых конструируем реальность, а не копируем ее. Как говорит Р. Рорти, научные теории – не зеркало природы. Деятельность ученых – это не поиск истины, а попытки достичь солидарности в описании. С осознанием роли интерпретаций, конструкций в познавательной деятельности в самой эпистемологии появляются аргументы в пользу субъективизации научного знания. Культурный релятивизм связан с социальной и культурной обусловленностью научного знания. Эта сторона научного познания особенно активно исследовалась школой историков науки, такими ее представителями, как Т. Кун, П. Фейерабенд. Социальная обусловленность науки подчеркивается в социологии науки, у Д. Блур, С. Фуллера и др.

Т. Гиерин вводит термин «boundary-work» для описания мероприятий по установлению границ науки [19]. Центральная идея работы по установлению границ заключается в том, что многое из того, что мы считаем устоявшимся в науке, возникает благодаря усилиям, направленным на достижение конкретизации и определения различий. Работа по установлению границ – предприятие, которое в этом контексте не перестает быть актуальным, так как в науке и культуре происходит постоянная борьба за автономию и статус науки среди других видов интеллектуальной деятельности. Т. Гиерин выделяет три случая, когда производится работа по установлению границ науки: во-первых, когда целью является расширение полномочий или опыта в областях, на ко-

которые претендуют другие профессии или занятия, работа с границами усиливает контраст между наукой и ненаукой; во-вторых, когда целью является монополизация профессионального авторитета и ресурсов, при установлении границ исключаются конкуренты изнутри, определяя их как аутсайдеров с такими ярлыками, как «псевдо» или «любитель»; в-третьих, когда целью является защита автономии в профессиональной деятельности, работа с границами освобождает членов от ответственности за последствия их работы, возлагая вину на деятелей извне.

Первый случай относится к проблеме демаркации науки и вопросам: чем наука отличается от других видов интеллектуальной деятельности? Как отличить науку от ненауки? Второй случай относится к установлению границ внутри научного сообщества и вопросу: как отличить ученого от квазиученого? Третий случай относится к установлению границ между использованием науки профессионалами и непрофессионалами и вопросу: несет ли ученый и сообщество ответственность за использование научных данных в политических, экономических и других сферах? Принципиальным моментом в контексте социального исследования науки является представление науки учеными и научным сообществом. Такое представление предполагает, что ответы на заданные вопросы даются не с точки зрения истории или философии науки, а с позиций самих ученых.

Анализ содержания позиций ученых показывает, что науку нельзя рассматривать как гомогенное образование: в социологии науки характеристики, приписываемые науке, широко варьируются в зависимости от конкретной интеллектуальной или профессиональной деятельности и от конкретных целей работы по установлению границ. Границы науки неоднозначны, гибки, исторически изменчивы, контекстуально изменчивы, внутренне противоречивы, а иногда и спорны. Эти неоднозначности имеют несколько структурных источников. Во-первых, характеристики, приписываемые науке, иногда несовместимы друг с другом из-за потребности ученых в установлении отдельных границ, т.е. границы иногда оспариваются учеными с разными профессиональными амбициями. Во-вторых, двусмысленность возникает из-за одновременного преследования отдельных профессиональных целей, каждая из которых требует построения границы по-разному. Ученые не могут избежать амбивалентности: например, они должны быть «оригинальными» (стремясь первыми объявить о важном открытии), но «скромными» (не бороться за свой приоритет, если об открытии объявляют несколько исследователей). Эти противопоставления нормы и контрнормы не только создают «внутренний конфликт между учеными, усвоившими и то, и другое» [20. Р. 36], они также предоставляют идеологам альтернативный вариант для публичных описаний науки. Выстраивание собственных внутренних границ в некоторых ситуациях ведет к релятивизации науки, когда каждый ученый создает свою «карту» науки.

Этот риторический стиль можно использовать для разграничения дисциплин, специальностей или теоретических направлений внутри науки. При обсуждении дисциплинарной идентичности используется термин «работа по установлению границ» [21]. Границы дисциплины окружают, по словам Т. Бечера и П.Р. Троулера, область узнаваемых идентичностей и особых культурных атрибутов [22. Р. 44]. Дж. Кляйн определяет набор механизмов,

позволяющих работать с границами для создания идентичности и культурных атрибутов, таких как использование инструментов, методов, процедур, примеров, концепций и теорий, характерных для дисциплины [23]. Благодаря работе по установлению границ дисциплина становится репрезентацией определенного мировоззрения, в которой недисциплинарные объекты, методы и понятия исключаются. В то время как последователи дисциплин яростно защищают свои пространства, патрулируют границы и с подозрением относятся к тем, кто либо вторгается, либо мешает, междисциплинарность всегда характеризуется множеством нарушений границ. К. Гирц выделил этот последний аспект междисциплинарности как усиление проницаемости границ [24]. Междисциплинарные практики описываются как бросающие вызов границам дисциплин; они трансгрессивны и, чтобы быть по-настоящему междисциплинарными, должны синтезировать дисциплинарные знания новыми способами, а не просто добавлять дополнительные точки зрения. Вторжение в защищаемое пространство обычно оправдывается необходимостью решения постоянно усложняющихся и все более широких задач, а также достижением единого знания. Однако в трансгрессии нет ничего нового: трансгрессия есть и всегда была частью науки. Кроме того, хотя междисциплинарная практика пересекает границы, она одновременно создает новые.

Изменения в способах производства научного знания, обусловленные развитием конвергентных технологий (NBICS-технологий), привели к формированию новой парадигмы научной рациональности, новых механизмов функционирования науки в обществе. В то время как целью классической науки было получение достоверного знания о природе и обществе, современная наука полученные опытные результаты преобразует в знания, необходимые для принятия решений. Сдвиг научной парадигмы проявляется в таких феноменах, как «технонаука», ТА (Technology Assessment), социальная оценка техники, STS. Интеграция технонауки с общественными, политическими, экономическими сферами для обеспечения принятия решений и выработки стратегии деятельности позволяет характеризовать ее как постнормальную науку, относительно которой С. Фунтович и Дж. Раветц отмечали: постнормальная наука способна работать с ситуациями неопределенности и оценивать потенциальные риски принимаемых сегодня решений [25]. Парадигмальный сдвиг в науке философы обозначают разными терминами. Б. Латур, характеризуя новый тип отношений науки и общества, отмечал, что если раньше общество окружало автономную науку, но оставалось чужаком по отношению к принципам и методам функционирования научной рациональности, то сейчас наука и то, что мы, используя традиционный термин, называем обществом, вмешаны друг в друга [26. Р. 209]. Этот новый тип науки Б. Латур обозначил термином «технонаука». Характеризуя технонауку как новый тип знания, он противопоставил науку и исследование, утверждая, что единой и автономной науки больше нет, но родилось исследование. С. Фуллер назвал науку, активно участвующую в общественных делах, «протнаукой» (сокращенное обозначение «протестантской науки»), сравнивая революцию в мышлении периода протестантской Реформации, когда каждый по-своему учился понимать Библию, с революционным сдвигом в научном познании, обусловленным информатизацией и цифровизацией, когда наука перестала быть башней из слоновой кости, а получение информа-

ции не ограничивается университетом и лабораторией, и каждый через интернет имеет доступ ко всему научному знанию. Изменения способов производства научного знания в технауче приводят к необходимости пересмотра стратегий в сфере образования, актуализируется обсуждение идентичности университета в эпоху глобальных вызовов технауки.

По определению Н. Решера, поиск научного знания – это один из человеческих проектов среди других [27]. В своей работе Н. Решер выделяет четыре вида границ науки, которые можно рассматривать как некое обобщение представленного в нашей статье материала.

Первый вид границ – конститутивные («географические») границы науки. Конститутивные границы возникают тогда, когда разграничиваются наука и остальные области. Наука в этом отношении – это определенный вид деятельности, есть другие виды деятельности, которыми наука не является. Эти другие когнитивные области не являются альтернативой науке, потому что их когнитивная ориентация лежит в других направлениях. Это не разные способы выполнения одной и той же работы, эти области или виды деятельности направлены на выполнение совершенно разных видов работ. А. Маркос критикует Н. Решера, так как он разделяет науку и жизнь [28]. Однако Н. Решер подчеркивает, что наука, используя свой арсенал (методы), затрагивает другие проблемы в отличие от религии, философии и т.д.

Второй вид границ – теоретические («геометрические») границы науки. За пределами теоретических границ остаются проблемы, которые наука не может решить по теоретическим причинам. Рассмотрим два основных вопроса:

1. Существует ли какая-либо конкретная проблема, которую наука может решить в теории, о которой мы можем с уверенностью сказать, что наука не сможет решить эту проблему на практике?

2. Можем ли мы сказать о целостном состоянии достижения полноты решения всех проблем науки, что наука может достичь этого в теории, но не реализовать на практике?

Н. Решер отвечает на эти вопросы: категорически «нет», но по совершенно разным причинам. Что касается первого вопроса – мы никогда не можем с уверенностью сказать, что науке не удастся решить определенную проблему. И что касается второго вопроса, мы не можем утверждать, что науке (даже теоретически) удастся достичь абсолютной полноты.

Третий вид границ – практические границы науки. Наука не решает многих проблем в своей области по причинам практического характера. Практические ограничения также могут быть лингвистическими, моральными, социальными, политическими, экологическими и многих других типов. В одних случаях эти ограничения необходимо преодолевать, а в других – соблюдать. Практические границы более четко возникают в отношении технауки, которая ограничена практическим применением технологий.

Четвертый вид границ – ошибки и недостатки науки («горизонт»). Такие границы включают в себя бездеятельность ученых, организационные и институциональные ошибки, отсутствие внимания, работы или честности, ошибки, которые неизбежно совершаются в процессе поиска истины. Границы ошибочности можно обозначить как горизонт, который удаляется по мере приближения к нему. Все ошибки или недостатки преодолеть невозможно, хотя каждую из них можно решить в отдельности. Наука действительно име-

ет различные недостатки, но они не дают, будь то по отдельности или коллективно, никаких разумных оснований для разочарования в науке.

Конститутивные границы можно определить как внешние границы между наукой и остальными областями, другие виды границ – внутренние границы, проблемы в развитии научного знания, которые ставят препятствия. А. Маркос пишет, что Н. Решер видит одностороннее взаимодействие между наукой и жизнью, т.е. выход за пределы через науку в жизнь, но не обратно. А. Маркос добавляет взгляд на границы не изнутри науки, а «со стороны». Опираясь на философию Г. Гадамера, он фиксирует, что есть выход за пределы через жизнь в науку, так как наука – не единственное предприятие по выработке знаний о мире. Однако нам представляется, что противоречия между концепцией конститутивных границ Н. Решера и взгляда А. Маркоса на науку «со стороны» нет. А. Маркос включает в понятие «жизнь» такие области, как философия, религия, социология, однако здесь нужно понимать контекст. Например, когда мы говорим о науке как о методе, то установление границ между областями науки правомерно; когда мы говорим о дисциплинах, то возможны взаимные переходы между областями; когда мы говорим об установках ученых, то религиозные, идеологические, культурные границы мира ученого включены в научную практику ученого.

Границы, которые выделяет Н. Решер, можно рассматривать как проблему идентичности науки. Конститутивные, теоретические, практические границы и ошибки как ограничения вскрывают основные вопросы и проблемы, касающиеся идентичности, а именно: чем наука и научный метод отличаются от остальных видов деятельности; какие теоретические и практические проблемы решаются наукой, а какие остаются за ее пределами; как ошибки и недостатки в научной практике ограничивают дальнейшее развитие науки.

Работа по установлению границ науки, понимаемая как проблема идентичности, может быть рассмотрена через конкретизацию контекстов: позитивистской демаркации как отличие науки от ненауки; исторической эпистемологии; социологии науки, рассматривающей взгляд ученого на науку; методологии сложности и самоорганизации; технауки; трансдисциплинарности и др. Проблема границ затрагивает также проблемы метода описания и определения науки. В условиях меж- и трансдисциплинарности, сложностного мышления происходит стирание границ, ставится под сомнение оправданность демаркации «наука – ненаука». Обозначенные нами современные контексты актуализируют концепт «границы науки», который требует нового философского и методологического прочтения.

Список источников

1. *Наука и квазинаука* / В.М. Найдыш [и др.]. М. : Альфа-М, 2008. 320 с.
2. Научные и вненаучные формы мышления / ред. И.Т. Касавин, В.Н. Порус. М. : ИФ РАН, 1996. 335 с.
3. Степин В.С. Наука и лженаука // *Науковедение*. 2000. № 1. С. 74–75.
4. *Границы науки*. М. : ИФ РАН, 2000. 276 с.
5. Пружинин Б.И. *RATIO SERVIENS?* Контуры культурно-исторической эпистемологии / Б.И. Пружинин. М. : РОССПЭН, 2009. 422 с.
6. Бажанов В.А., Конопкин А.М. О классификации подходов к определению псевдонауки: традиции и новации // *Эпистемология и философия науки*. 2012. № 1. С. 174–191
7. Черникова И.В. *Философия и история науки*. Томск : Изд-во НТЛ, 2011. 388 с.

8. Томпсон М. Философия науки / пер. с англ. А. Гарькавого. М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. 304 с.
9. Вернадский В.И. О научном мировоззрении // На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. Философия и мировоззрение. М., 1990. С. 180–203.
10. Степин В.С. Исторические типы научной рациональности: проблемы демаркации и преемственности // Философия, методология и история науки. 2015. Т. 1, № 1. С. 6–27.
11. Spencer-Brown G. Laws of Form. N. Y. : E.P. Dutton, 1979. 141 p.
12. Касавин И.Т. Наука – гуманистический проект. М. : Весь Мир, 2020. 496 с.
13. Гавриленко С.М. Историческая эпистемология: зона неопределенности и пространство теоретического воображения // Эпистемология и философия науки. 2017. № 2. С. 20–28.
14. Сокулер З.А. Историческая эпистемология и судьба философской теории познания // Эпистемология и философия науки. 2017. № 2. С. 29–33.
15. Shaposhnikova Y.V., Shipovalova L.V. The demarcation problem in the history of science, or what historical epistemology has to say about cultural identification // Epistemology & Philosophy of Science. 2018. № 1. С. 52–68.
16. Дастон Л., Галисон П. Объективность / пер. с англ. Т. Вархотов, А. Писарев, С. Гавриленко. М.: Новое литературное обозрение, 2018. 584 с.
17. Шиповалова Л.В. Стоит ли мыслить науку исторически // Эпистемология и философия науки. 2017. № 1. С. 18–28.
18. Мамчур Е.А. О релятивности, релятивизме и истине // Эпистемология и философия науки. 2004. № 1. С. 76–80.
19. Gieryn T.F. Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists // American Sociological Review. 1983. Vol. 48, № 6. P. 781–795.
20. Merton R.K. Sociological Ambivalence and Other Essays. New York : Free Press, 1976. 287 p.
21. Friman M. Understanding Boundary Work through Discourse Theory: Inter/disciplines and Interdisciplinarity // Science Studies. 2010. Vol. 23, № 2. P. 5–19.
22. Becher T., Trowler P.R. Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Culture of Disciplines. Buckingham, UK : SRHE & Open University Press, 2001. 239 p.
23. Klein J.T. Crossing Boundaries: Knowledge, Disciplinarity and Interdisciplinarity. Charlottesville, VA : University of Virginia Press, 1996. 281 p.
24. Geertz C. Blurred Genres: The Refiguration of Social Thought // American Scholar. 1980. Vol. 49. No 2. P. 165–179.
25. Funtowicz S., Ravetz J.R. Science for the Post-Normal Age // Futures. 1993. Vol. 25, № 7. P. 735–755.
26. Latour B. From the world of science to that of research? // Science magazine. 1998. Vol. 280, № 5361. P. 208–209.
27. Rescher N. The Limits of Science. University of Pittsburgh Press, 1999. 280 p.
28. Marcos A. Rescher and Gadamer: Two Complementary Views of the Limits of Sciences // Science and Truth. 2013. URL: <https://en.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/resources/ciencia-y-verdad> (дата обращения: 23.05.2022).

References

1. Naydysh, V.M. et al. (2008) *Nauka i kvazinauka* [Science and quasi-science]. Moscow: Al'fa-M.
2. Kasavin, I.T. & Porus, V.N. (eds) (1996) *Nauchnye i vnenauchnye formy myshleniya* [Scientific and non-scientific forms of thinking]. Moscow: RAS.
3. Stepin, V.S. (2000) *Nauka i Izhnauka* [Science and pseudoscience]. *Naukovedenie*. 1. pp. 74–75.
4. Markova, L.A. (ed.) (2000) *Granitsy nauki* [The Limits of Science]. Moscow: RAS.
5. Pruzhinin, B.I. (2009) *Ratio serviens? Kontury kul'turno-istoricheskoy epistemologii* [Ratio serviens? Contours of cultural-historical epistemology]. Moscow: ROSSPEN.
6. Bazhanov, V.A. & Konopkin, A.M. (2012) O klassifikatsii podkhodov k opredeleniyu psevdonauki: traditsii i novatsii [On the classification of approaches to the definition of pseudoscience: traditions and innovations]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 1. pp.174–191
7. Chernikova, I.V. (2011) *Filosofiya i istoriya nauki* [Philosophy and history of science]. Tomsk: NTL.

8. Thompson, M. (2003) *Filosofiya nauki* [Philosophy of Science]. Translated from English by A. Garkavy. Moscow: FAIR-PRESS.
9. Vernadsky, V.I. (1990) O nauchnom mirovozzrenii [On the scientific worldview]. In: Patsin, A.M. (ed.) *Na perelome. Filosofskie diskussii 20-kh godov. Filosofiya i mirovozzrenie* [At the turning point. Philosophical discussions of the 20s. Philosophy and worldview]. Moscow: Izdatel'stvo politicheskoy literatury. pp. 180–203.
10. Stepin, V.S. (2015) Istoricheskie tipy nauchnoy ratsional'nosti: problemy demarkatsii i preemstvennosti [Historical types of scientific rationality: problems of demarcation and continuity]. *Filosofiya, metodologiya i istoriya nauki*. 1(1). pp. 6–27.
11. Spencer-Brown, G. (1979) *Laws of Form*. New York: E.P. Dutton.
12. Kasavin, I.T. (2020) *Nauka – gumanisticheskiy proekt* [Science is a Humanistic Project]. Moscow: Ves' Mir.
13. Gavrilenko, S.M. (2017) Historical epistemology: zone of uncertainty and Space for theoretical imagination]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 2. pp. 20–28. (In Russian).
14. Sokuler, Z.A. (2017) Historical epistemology and the fate of theory of knowledge in philosophy. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 2. pp. 29–33. (In Russian).
15. Shaposhnikova, Y.V. & Shipovalova, L.V. (2018) The demarcation problem in the history of science, or what historical epistemology has to say about cultural identification. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 1. pp. 52–68. (In Russian).
16. Daston, L. & Galison, P. (2018) *Ob"ektivnost'* [Objectivity]. Translated from English by T. Varkhotov, A. Pisarev, S. Gavrilenko. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
17. Shipovalova, L.V. (2017) Should we conceive science historically. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 1. pp. 18–28. (In Russian).
18. Mamchur, E.A. (2004) O relyativnosti, relyativizme i istine [On Relativity, Relativism and Truth]. *Epistemologiya i filosofiya nauki – Epistemology & Philosophy of Science*. 1. pp. 76–80.
19. Gieryn, T.F. (1983) Boundary-Work and the Demarcation of Science from Non-Science: Strains and Interests in Professional Ideologies of Scientists. *American Sociological Review*. 48(6). pp. 781–795.
20. Merton, R.K. (1976) *Sociological Ambivalence and Other Essays*. New York: Free Press.
21. Friman, M. (2010) Understanding Boundary Work through Discourse Theory: Inter/disciplines and Interdisciplinarity. *Science Studies*. 23(2). pp. 5–19.
22. Becher, T. & Trowler, P.R. (2001) *Academic Tribes and Territories: Intellectual Enquiry and the Culture of Disciplines*. Buckingham, UK: SRHE & Open University Press.
23. Klein, J.T. (1996) *Crossing Boundaries: Knowledge, Disciplinarity and Interdisciplinarity*. Charlottesville, VA: University of Virginia Press.
24. Geertz, C. (1980) Blurred Genres: The Refiguration of Social Thought. *American Scholar*. 49(2). pp. 165–179.
25. Funtowicz, S. & Ravetz, J.R. (1993) Science for the Post-Normal Age. *Futures*. 25(7). pp. 735–755.
26. Latour, B. (1998) From the world of science to that of research? *Science Magazine*. 280(5361). pp. 208–209.
27. Rescher, N. (1999) *The Limits of Science*. University of Pittsburgh Press.
28. Marcos, A. (2013) *Rescher and Gadamer: Two Complementary Views of the Limits of Sciences*. [Online] Available from: <https://en.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/resources/ciencia-y-verdad> (Accessed: 23rd May 2022).

Сведения об авторах:

Черникова И.В. – доктор философских наук, профессор кафедры философии и методологии науки Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: chernic@mail.tsu.ru

Николина Н.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры философии и методологии науки Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: nikolinanadya@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Chernikova I.V. – Dr. Sci. (Philosophy), professor of the Department of Philosophy and Methodology of Science, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: chernic@mail.tsu.ru

Nikolina N.V. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor of the Department of Philosophy and Methodology of Science, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: nikolinanadya@gmail.com

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 15.06.2022;
одобрена после рецензирования 20.07.2022; принята к публикации 27.10.2022*

*The article was submitted 15.06.2022;
approved after reviewing 20.07.2022; accepted for publicatio 27.10.2022*

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Научная статья

УДК 111

doi: 10.17223/1998863X/69/7

МЕТАФИЗИКА В СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОСТИ: АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ ПОЗИТИВИЗМА, СТРУКТУРАЛИЗМА, ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМА

Наталья Владимировна Довгаленко

*Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.,
Саратов, Россия, dovgal30@rambler.ru*

Аннотация. Статья посвящена проблеме кризиса метафизики как содержательного, предваряющего разговора об основании. Зародившись в ситуации модерна, кризис приводит в XX в. к новым «решениям»: событию деконструкции, переходу к коммуникативным связям, открытию Другого. Метафизика раскрывается в конструкции субъекта-синтеза, определенного «работой» (Э. Юнгер) как способом установления в бытии, где техника мобилизует и опосредует установление.

Ключевые слова: метафизика, субъектум-основание, субъект-синтез

Для цитирования: Довгаленко Н.В. Метафизика в ситуации современности: анализ философских идей позитивизма, структурализма, постструктурализма // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 57–65. doi: 10.17223/1998863X/69/7

HISTORY OF PHILOSOPHY

Original article

METAPHYSICS IN THE SITUATION OF MODERNITY: ANALYSIS OF THE PHILOSOPHICAL IDEAS OF POSITIVISM, STRUCTURALISM, POSTSTRUCTURALISM

Natalya V. Dovgalenko

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Saratov, Russian Federation, dovgal30@rambler.ru

Abstract. The question of the crisis of metaphysics continues to excite philosophical thought, responding to Heidegger's message of the first half of the 20th century which was supported by Habermas at the end of the 20th century. The origins of metaphysics go back to the theme of foundation, declared by Greco-Roman, Christian culture, where thought and being merge. Crisis is associated with the transition to modernism, which discovered the principle of alienation and positivist intentions. Positivism introduced the subject-synthesis – a kind of a concept that is built not through foundation, but through gathering, accumulating experience of different connections. Communication ties, gradually displacing all the others, began to

determine a new order of understanding the world order, shifting the emphasis from semantic, epistemological foundations, to the horizon of sign-symbolic relations. The event of deconstruction, not as a method or a new paradigm, but as a special metaphysics, became a new starting point for the subject, unlocking the possibility of presence of experience within its boundaries that escapes the thought, hidden in linguistic substitutions, metonymy. This is how the zone of the Other was designated; it allowed the unclear, the unconscious, the previously ignored and repressed by meaning and breaking through the language to penetrate into the thought. The subject-synthesis in the situation of the 20th century also revealed itself in an effort to regain its physical, "alienated" side. These aspirations became associated with positivist claims to raise physical science to the level of "all sciences", to overthrow metaphysics, on the one hand and with immersion in the event of "work" as a way of establishing in being, associated with the mobilization means of technology, design, production, typification, digitalization (Ernst Junger), on the other. The meaningful message of metaphysics is consistent as long as there are "meeting places" in the culture, where there will be no synthetic effort to impose semantic landmarks, but the need for their acquisition. This is what various projects of modern philosophy demonstrate. It remains only to understand that it becomes possible to break through to them by following only new paths. Some of them are: deconstruction, "work", "production of meanings", technology, etc.

Keywords: metaphysics, subjectum-basis, subject-synthesis

For citation: Dovgalenko, N.V. (2022) Metaphysics in the situation of modernity: analysis of the philosophical ideas of positivism, structuralism, poststructuralism. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya* – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 69. pp. 57–65. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/7

Никакие аргументы, никакие симптомы не выступают обоснованиями кризиса одной культурно-эпистемологической эпохи и начала другой. «Событие остается релевантным, если кто-то переживает его как кризис и если он постоянно говорит о действительности на языке кризиса» [1. С. 16]. Пожалуй, один из ярчайших примеров подобного кризиса в философии, близкого нам по эпохе и ощущениям, стал кризис метафизики, о нем мы говорим до сих пор. Рассмотрение метафизики через призму потери предмета исследования, утраты ключевых методологических позиций, по меньшей мере, не корректно. Метафизика больше, чем парадигма или стиль мышления. Она определяет круг эпистем не просто как ценных или важных, а как первых, предваряющих возможность «установления» вещей в реальность, в мышление. Обрастая «мясом» социальных, языковых, этических практик, она становится пайдеей («воспитанием», «образованием»), а открывая инструменты и методы для «вхождения» в данный круг, – культурой. Что же происходит с метафизикой в последние два столетия, и вправе ли мы говорить о том, что она исчерпала себя, предоставив философии обновленный проект послесловия, о котором говорит, например, Ю. Хабермас [2]?

Постараемся изначально уйти от метафизики как «хаотичного термина» [3]. Ее раскрытие в период античного развития мысли, христианской теологии через «основание» (ὑποκείμενον), «подлежащее» (subjectum) определили единство самой реальности и размышления, разговора о ней. «Есть такой латинский термин «субъектум». Но можно ли переводить его по-русски как «субъект»? Нет, конечно, никакого отношения этот термин к нашему слову «субъект» не имеет. Что значит «субъектум»? То, что от «субицию», то что подброшено, подложено под конкретное качество и свойство, которым обладает данная вещь, т.е. не только совокупность определенных свойств, но она же и есть носитель свойств» [4. С. 486]. Этимологическая почти неразличи-

мость субъектума и субъекта демонстрирует их единство в онтологическом ключе с одной лишь оговоркой. В период модерна субъект, логическое понятие, самораскрываясь как основание, начинает «перетягивать взгляд» к смещению, «отчуждению» от себя. Это происходит благодаря возвышению методологического принципа различия. Через него понятие начинает определяться диалектикой гегелевского синтеза и его исходный тезис становится неустойчивым, теряя самоочевидность, которую не исключал, например, Р. Декарт. «То, что является весьма простым и само собой понятным, логические дефиниции могут только затемнить...» [5. Т. 1. С. 317]. «Взгляд», схватывающий понятие из созерцающего, превращается в наблюдающий, начинает рефлексировать, свидетельствовать. Это и есть субъект, активностью опыта воздействующий на форму, занятый, прежде всего, синтезом, о чем недвусмысленно высказывается позитивизм: «...конечное истолкование, цель философии есть всеобщий синтез, охватывающий и скрепляющий все частные синтезы» [6. С. 133]. Субъект оказывается понятием, определенным в подвижности различия, которое становится самоценным.

Когда позитивизм укореняется внутри языка, а это является неизбежным, *понятие* формально возвращает себе статус субъектума, замыкаясь внутри логики. Отсюда произрастают идеи А. Уайтхеда, Б. Рассела, внушающие мнимые надежды на достижение непротиворечивости, полного обоснования мышления, сведенного к строгой форме. Но попытка логицизма является началом разочарований. Вернуть субъектум, ограничив его формально-логически, невозможно. И вопрос об основании повисает в воздухе.

Зато прогрессирует позитивистская ситуация усугубления отчуждения, которая приводит к простому началу, которым уже не являлось понятие (субъектум-основание), и даже понятие (субъект-синтез), а являлся знак. Он был «пойман» в ситуации погружения в глубокую степень различия, когда утрачивается смысл, своим эффектом «склеивающий» слово, речь, письмо, дискурс. Знак определился как лингвистическая и культурная единица, которая осуществляла символический и другие формы обмена, поддерживая наличие структуры. Структурализм, прежде всего, открыл *коммуникативные связи*, которые стали залогом стабильности, организованности. Внутри них смысл стал ожидаемым, но не необходимым и предваряющим началом. «Не отождествляя общество или культуру и язык, можно приступить к этой «коперниковской революции» (как говорят Одриккур и Гранэ), которая будет состоять в толковании общества в целом в зависимости от теории коммуникации» [7. С. 88]. Брачные, экономические, лингвистические и другие формы обмена стали обоснованием самого наличия организации.

Именно коммуникативные связи, разнообразные формы «культурного метаболизма» заменили эру смысла. Структура вытолкнула из поля зрения эпистемы, сосредоточившись на форме, власти, принуждении. Опыт революций, в том числе научно-технических, мировых войн XX в., тяготение к общественной и государственной «устроенности» – все это продемонстрировало социальное и антропологическое разочарование метафизикой и одновременное тяготение к упорядоченности, которая ярко, публично возвестила о своем влиянии на жизнеспособность мира.

В структуре аккумулируются первые ростки насилия, открытого пост-структурализмом внутри письма, организующего само понятие, и все отно-

шения, возникающие вокруг него. Насилие понимается как динамическое явление сложного процесса, составленное как результат множественных и разнонаправленных движений, представленных «фигурой экономии», включающих внутренние банкротства. Во-первых, насилие сопровождает само именование. Главное, что мы видим в письме, – структурность, «одевание скелета». «И если необходимость стать дыханием или словом обнимает смысл – и нашу ответственность за него, – то письмо еще более того связывает и принуждает слово» [8. С. 17]. Во-вторых, насилие присутствует в «сокрытии» имени, несении собственного и несобственного имени, являющихся источником моральных притязаний. В-третьих – в «краже» или присвоении чужого имени, которая открывает право как нарушение закона собственности [9. Р. 108]. Оказывается, что формы принуждения отражаются в способах духовных и социальных отношений.

Наличие господства в письме связано именно с бесконечным обменом (внутренней коммуникацией разных уровней) по поводу присвоения имен, т.е. включения их в «собственность» смысла. Новые термины, которые характеризуют данный процесс, весьма показательны: «суверенность», «банкротство», «экономия». Эта «рабская покорность» не позволяет состояться письму как бесконечной возможности иных конфигураций. В них с необходимостью, например, реализуется проект «смерти» субъекта, который продиктован жестом деконструкции, не повинующимся привычным отношениям. «Смерть» субъекта выражает наличие самой возможности разрушить привычный мир понятий, логики, смысла, отменить все властные нормы внутри текстовой реальности, ибо их превосходство приковывает письмо к смыслу. Само же письмо, скорее, следствие требования феноменального, которое открывается как одновременное различие мест и сил. Именно поэтому в нем существует графическая линейность, «горизонт языка» (Р. Барт), поле, конфигурации. А также бесконечность а-смысловых проявлений, истолкование, неформальность. «Писать – это знать, что еще не произведенное в букве не имеет какого-то другого обиталища, не ожидает нас в качестве предписания в некоем *topos uranios* или в божественном рассудке» [8. С. 20]. Смысл есть только будущее письма.

Вроде бы постструктурализм через разрушение понятия (субъектасинтеза) приходит к окончательному выводу о возвышении новой методологии деконструктивизма, посредством которой разворачивается доминирование различных моделей коммуникации, а история, культура понимаются как бесконечный знаково-символический обмен, куда включаются человек, социум, язык. Но оказывается, что деконструкция не совсем, и даже скорее не метод. «Этот странный философско-архитектурный неологизм означает не анализ, не критику, не метод и даже не акт и не операцию. Деконструкция имеет место, это событие (*événement*), которое не ждет резолюции субъекта, даже если в роли этого субъекта выступает современный мир» [10. С. 157].

Деконструкция рождается из двух состояний. Во-первых, ее требует сама структура, открываемая смещением мест и сил, стоящая на грани «опасности». Это план топологический, формально-геометрический, рождающий поверхность, на которой размыкаются структуры предложений, текста, осуществляется разрыв частей. Во-вторых, деконструкция методологически вскрывает абсурдность опоры на понятие и даже знаки, перенося акцент на

конструктивные силы самого письма. «Не имея больше ни возможностей, ни прав вписаться в ядро самого понятия (ведь суть самого рассматриваемого открытия в том и состоит, что нет никакого ядра смысла, понятийного атома, что само понятие производится в ткани различий), пространство, отделяющее, если угодно, логику господства от не-логики суверенности, должно будет вписаться в сцепление или работу некоего письма» [8. С. 422], отмечает Ж. Деррида. Возникновение понятия поддержано структурой как гарантом возникновения различия и обретения формы. А само письмо имеет отношение к организации лишь одной стороной, второй же – к метафизике бесконечной подвижности сил и мест... Обнаружение метафизики там, где она должна была исчезнуть, подчеркивает лишь всю неоднозначность толкования постструктуралистских идей. «Деррида последовательно демонстрирует двусмысленность всего философско-метафизического языка, и даже сам термин „метафизика“ предстает в своей неоднозначности» [11. С. 141]. Если метафизика не исчерпывается, не исчезает, куда же она обращается, что открывает? Как меняется само ее содержание сегодня?

Один из векторов развивает французский постструктурализм, темой которого становится «разрушение насилия структуры», заглядывание «за» ее полномочия. Подвижность понятия, слишком обращающее на себя различие, которым оно живет, заставляет Деррида сделать деконструкцию своеобразным «событием», точкой отсчета новой онтологии. «Событие» всегда локализовано временем и пространством. Эта картина слишком хорошо известна. Движение внутри письма, возникающее как следствие различия, возможно только по горизонтали, в свою очередь, порождая графичность, линейность, рядоположенность и пр. В нем скрывается момент «трансгрессии» как разрушение смысловой пространственно-топологической локализованности, разрушение горизонта. Что касается времени, то оно захвачено историей, ибо сосредоточено внутри «следов», «отпечатков», соотносимых друг с другом через причинно-следственный порядок, последовательность, отсыл и другие процедуры. Их разрыв, непоследовательность, забвение разрушают привычный мир логики. Так в событии деконструкции наряду с субъектом открывается возможность локализоваться Другому.

Открытие Другого отнюдь не связано с ситуацией «смерти» субъекта и приобретением опыта трансгрессии, хотя подразумевает их как некие грядущие жесты. Путь к нему соединяет нужду в метафизическом переосмыслении места человека, который определен в уверенности *cogitare* и погружен в ситуацию знаково-символического обмена, с доминантой предложенных структурализмом отношений означающего-означаемого. «Речь идет не о том, чтобы знать, насколько то, что я о себе говорю, соответствует тому, что я есть, а о том, тождествен ли я, когда я говорю о себе, тому, о ком я говорю?» [12. С. 48]. Выговаривание, язык становятся тем способом, каким ставит субъект себя перед собой, полагает Ж. Лакан. Но ясность и непротиворечивость как базовые симптомы разговора, выявленные еще Декартом, не могут выражать полноту внутренней подвижности субъекта. «Но кто же этот другой – тот другой, к которому я привязан более, чем к себе самому... Его присутствие можно понять, лишь возведя его плановость во вторую степень и поставив его тем самым в позицию посредника в моих отношениях с самим собой в качестве себе подобного» [Там же. С. 54]. Он тот, кто снимет согласие

на всякий дискурс, кто позволяет языку осуществляться вне форм, в первичном буквенном содержании, смысловых метонимиях, метафорах. «...Анализ событий XX в. показывает, что „классический“ опыт „друговости“ (инаковости) – это часто опыт видимой „потери“, „ущерба“, причем как в физическом смысле, так и в культурно-политическом – лишение права репрезентации в культуре, т.е. „действия невидимым“» [13. С. 174]. Снятие права репрезентации связано с ограничением связей с означаемым, когда плоское выражение письма, включая глубинные археологические слои, начинает действовать через метафорические упразднения и замещения. Когда история как репрезентация времени начинает включать в себя не только «следы», но и вытесненный культурой нереализованный аспект желаний, в том числе маргинальных, «уснувших».

Другой следует из различия (движения) желаний, основанием которых выступает бессознательное. Однако выражение, понимание и истолкование такого движения лежат в русле языка. Бессознательное, отмечает Лакан, отнюдь не «седалище инстинктов», в нем скрыт потенциал замещений, как неясная возможность субъекта. Другой, скорее, раздвигает его (субъекта) границы, через запрет, утрату пробиваясь во внешний порядок мира. Он допускает в рефлексии *cogitas* скрытые интенции бессознательного, с такой же необходимостью свидетельствующей о субъекте, как и мысль. На месте разрушенного, разъятого на части синтезируемого понятия, возникает система его «ожидания», наполняемая когнитивными, конструктивными, бессознательными практиками. «У человека нет внутренней суверенной территории, он весь всегда на границе, смотря внутрь себя, он смотрит в глаза другому или глазами другого» [14. С. 312]. Субъект только «кажется» сувереном, подлинное владения структурой, знаком, смыслом, наконец, собой у него отсутствует.

Таким образом, событие деконструкции приводит к феноменальному наполнению субъекта-синтеза совершенно новым опытом, в котором мысль не есть нечто заданное, а «ожидаемое», перспективное, определенное не преимуществом ясной формы, а содержанием скрытых желаний, образов, нарративов, метонимий и пр. Преодолевая фазу отчуждения, субъект опять идет к утраченному основанию, через синтез, деконструкцию, присутствие другого, добиваясь возвращения *φύσις*.

Погрузившись в тему субъекта, метафизика попала в ситуацию забвения стороны *φύσις* (природы, естества). Оборачивание к этой теме долгое время носило отпечаток вторичности, как Ф. Шеллинг всегда рассматривался как «следствие» Г. Гегеля. В XX в. физика в ее позитивистско-научном настрое стала действительно обращать на себя внимание, пытаясь заместить «опустевшее» место метафизики. Притязания не остывают и сегодня. Метафизическая гипотеза должна стать выводимой из научного опыта, в котором просто нет ссылок на поиск причин. «„Философское“ представление о причинности не может играть определяющего значения в метафизике, поскольку по своей сути является „артефактом“ антропоцентрической перспективы, которую наука, по определению, преодолевает» [15. С. 28]. Ближе к XXI в. философия возвращается к этой теме удивительными путями открытий технауки. Этот термин выступает одним в череде многих, которые хотят указать на нарастающие изменения, связанные с технологией, производством, ценностями. Но не только. Он меняет привычное существо *φύσις*, с которым сталкивается субъект, находясь в ситуации когнитивного запроса на невообразимый синтез естественного и искусственного:

бионика, генная инженерия, создание искусственных нейросетей и пр. Но не только, по швам расплзается привычная оппозиция субъект-объектных отношений, в которую вплетается техническое, про-из-водственное. «С точки зрения немецкого философа техники А. Нордмана, в основе технонаучного (читай: проективно-конструктивистского) подхода лежит концепция „созданного понимания“ (Creating Understanding)...» [16. С. 42]. Не созерцание, не наблюдение, а создание становится стрежней новой природы. Φύσις возвращается через конструирование.

Еще в 30-е гг. XX в. Э. Юнгер, во многом предвосхитил эти интенции, представив «работу» как новый способ установления субъекта и культуры в современности, а технику как «мобилизационное средство» работы. Однако понятие «работа» не идентифицировалось как деятельность. Оно раскрывалось как способ бытия, стремящийся заполнить время, пространство, социальность, язык. Под «рабочим» не имелось в виду отношение к классовому делению общества, марксистской системе производственных отношений, а захваченность гештальтом как способом самовыражения, проявляемым в досуге, любви, производстве, войне. Техника – стала мерой репрезентации «работы», вне которой она никогда не приобрела бы логики, целесообразности.

Выразителем формы «гештальта рабочего» стала «маска», содержание которой выразилось как типическое. Яркий пример типического – безымянный солдат, одевший форму, сокрывшей всякую индивидуальность, реализующий работу в виде войны, принадлежащий тотальности гештальта как порядка и осознающий его власть, несущий техническое рационально и символически.

Э. Юнгер открывает метафизическое в новом выражении организационно-типического, укорененного в способе действия («работе») по преобразованию мира. И если на первых порах ее порыв подобен урагану, захватывающему человека и приобщающему к вихрю движения, то впоследствии в действии появляется планомерность, многообразие форм. «На последней же и высшей ступени единичный человек выступает в непосредственной связи с тотальным характером работы» [17. С. 231]. Поэтому государственное принуждение, революция, война выступают прежде всего промежуточными стадиями движения к реализации полноты гештальта.

Юнгер связывает «гештальт рабочего» в его типическом выражении с доминированием структуры и цифры. Отсюда становится более ясной логика тотальности, следующая из самого строя организованности. «Гештальт нельзя постичь с помощью всеобщего и духовного понятия бесконечности, но только с помощью особенного и органического понятия тотальности. Эта завершенность приводит к тому, что цифра поднимается здесь до совсем иного ранга и выступает в непосредственной связи с метафизикой», – отмечает Э. Юнгер [Там же. С. 220]. Цифра – это не только цифровое письмо, которое производится социотехническими органами субъекта сегодня, или «офизический» по-новому знак, попавший в грамматику виртуальности. Это участвовавшее число событий, когда индивид одевает «маску», скрывая собственную индивидуальность за типичностью, когда он превращается в незримую единицу статистической погрешности войны или интернет-подсчетов, не важно.

Такое впечатление, что метафизика сегодня сама назначает «места встреч», через призму которых мы будем с ней сталкиваться, но уже не по-

средством причинного принуждения или метаобзора, а, например, синтетического усилия, конструирования, а также опыта отчуждения, потери. Вопрос введения нового термина для фиксирования ее исчерпания – постметафизика – не так однозначен. Есть склонность согласиться и с А.Ф. Лосевым, и с М. Хайдеггером, и с Л. Пунтель, которые указывают на метафизику с связи с основанием. «Из многих аспектов метафизики, которые Хабермас не учитывает, наиболее значимой является великая традиция философии бытия» [3]. Метафизика сегодня чрезвычайно трудна для артикуляции, выражения, и введение таких терминов, как «гештальт», «экзистенция», лишь приоткрывает завесу, но не проясняет ее новое место. Тем не менее она присутствует и в событии деконструкции, наполняющем субъект-синтез новым содержанием, включающим не только когнитивный, бессознательный аспекты, но и все вытесненные, замещенные, невнятные языковые отклонения. За структурой четкого «скелета» письма пребывает ее проявление через смещение сил, мест. Метафизика присутствует и в проявлении субъекта-синтеза, определенного в «работе» как способе установления в бытии, проявляемом через технику. Именно «гештальт рабочего» становится новым принципом, раскрывающим облик современного мира.

Сегодня метафизика не предвеляет «общее правило» и понимание, определяя культуру в эпистемологическом ключе. Но и в преимуществе «жизненного мира», и в практиках «ситуирования разума», коммуникациях, о которых писал Хабермас, появляется намек на присутствие «горизонта» – топоса их осуществления, соприкосновения. Интерпретация вопроса об основании, к которому мы вынуждены обращаться вновь и вновь.

Список источников

1. Ман П. Слепота и прозрение. СПб. : ИЦ «Гуманитарная Академия». 2002. 256 с.
2. Habermas J. Postmetaphysical thinking: Philosophical essays. Cambridge ; L., 1992. 241 p.
3. Puntel L.B. Habermas' postmetaphysical thinking: a critique. URL: <http://www.philosophie.uni-muenchen.de> (accessed: 20.11.2020).
4. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. и др. Античная литература. М. : ЧеРо, 1997. 543 с.
5. Декарт Р. Первоначала философии // Соч. : в 2 т. М. : Мысль, 1989. Т. 1. 654 с.
6. Спенсер Г. Основные начала. Киев : Тип. А. Давиденко, 1886. 375 с.
7. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М. : Эксмо-Пресс, 2001. 131 с.
8. Деррида Ж. Письмо и различие. М. : Академический проект, 2000. 495 с.
9. Salvaterra V.C. Archi-violence: the genesis of the violence of genesis in Derrida's philosophy // Trans/form/ação, Marília. 2019. Vol. 42, № 4. P. 99–124.
10. Фекондо А. Деррида: деконструкция этического-юридического, уточнение методологии // Сибирский философский журнал. 2020. Т. 18, № 1. С. 155–170.
11. Ажимов Ф.Е. «Архив» деконструкции Жака Деррида // Культурология. 2009. № 1 (48). С. 136–144.
12. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном // Московский психотерапевтический журнал. 1996. № 1. С. 25–58.
13. Суковатая В.А. Холокост, расизм и война как источники «философии Другого» и постмодернистской этики // Личность. Культура. Общество. 2012. Т. 14, № 2 (71–72). С. 169–175.
14. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1979. 423 с.
15. Головкин Н.В. Натуралистический поворот: научная метафизика и причинность // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2015. Т. 13, вып. 2. С. 27–35.
16. Середкина Е.В. Этические и эпистемологические аспекты технонаучного знания в контексте парадигмального сдвига от homo faber к homo creator // Гуманитарный вектор. 2016. Т. 11, № 1. С. 41–45.
17. Юнгер Э. Рабочий. Господство гештальт. Тотальная мобилизация. О боли. СПб. : Наука, 2000. 539 с.

References

1. de Man, P. (2002) *Slepota i prozrenie* [Blindness and Insight]. Translated from French. St. Petersburg: Gumanitarnaya Akademiya.
2. Habermas, J. (1992) *Postmetaphysical Thinking: Philosophical Essays*. Cambridge: MIT Press.
3. Puntel, L.B. (n.d.) *Habermas' postmetaphysical thinking: a critique*. [Online] Available from: <http://www.philosophie.uni-muenchen.de> (Accessed: 20th November 2020).
4. Losev, A.F., Takho-Godi, A.A. et al. (1997) *Antichnaya literatura* [Antique Literature]. Moscow: CheRo.
5. Descartes, R. (1989) *Sochinenie* [Works]. Translated from Latin and French. Vol. 1. Moscow: Mysl'.
6. Spencer, G. (1886) *Osnovnye nachala* [Basic principles]. Translated from English. Kyiv: Tip. A. Davidenko.
7. Levi-Strauss, K. (2001) *Strukturnaya antropologiya* [Structural Anthropology]. Translated from French. Moscow: Eksmo-Press.
8. Derrida, J. (2000) *Pis'mo i razlichie* [Writing and Difference]. Translated from French. Moscow: Akademicheskii proekt.
9. Salvaterra, V.C. (2019) Archi-violence: the genesis of the violence of genesis in Derrida's philosophy. *Trans/form/ação, Marília*. 42(4). pp. 99–124.
10. Fekondo, A. (2020) Derrida: Deconstruction of the Ethical-Legal-Political. Methodological Clarification. *Sibirskiy filosofskiy zhurnal – The Siberian Journal of Philosophy*. 18(1). pp. 155–170. (In Russian). DOI: 10.25205/2541-7517-2020-18-1-155-170
11. Azhimov, F.E. (2009) “Arkhir” dekonstruktsii Zhaka Derrida [Jacques Derrida's “Archive” of deconstruction]. *Kul'turologiya*. 1(48). pp. 136–144.
12. Lacan, J. (1996) Instantsiya bukvy v bessoznatel'nom [Instance of the letter in the unconscious]. *Moskovskiy psikhoterapevticheskii zhurnal*. 1. pp. 25–58.
13. Sukovataya, V.A. (2012) Kholokost, rasizm i voyna kak istochniki “filosofii Drugogo” i postmodernistskoy etiki [The Holocaust, racism and war as sources of the “philosophy of the Other” and post-modern ethics]. *Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo – Personality. Culture. Society*. 14/2(71–72). pp. 169–175.
14. Bakhtin, M.M. (1979) *Estetika slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of Verbal Creativity]. Moscow: Iskusstvo.
15. Golovko, N.V. (2015) Naturalisticheskii povорот: nauchnaya metafizika i prichinnost' [Naturalistic turn: scientific metaphysics and causality]. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya*. 13(2). pp. 27–35.
16. Seredkina, E.V. (2016) Eticheskie i epistemologicheskie aspekty tekhnonauchnogo znaniya v kontekste paradigmalnogo sdviga ot homo faber k homo creator [Ethical and epistemological aspects of technoscientific knowledge in the context of a paradigm shift from homo faber to homo creator]. *Gumanitarnyy vektor*. 11(1). pp. 41–45.
17. Junger, E. (2000) *Rabochiy. Gospodstvo geshtal't. Total'naya mobilizatsiya. O boli* [Worker. Gestalt Dominance. Total Mobilization. About Pain]. Translated from German. St. Petersburg: Nauka.

Сведения об авторе:

Довгаленко Н.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии, психологии Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А. (Саратов, Россия). E-mail: dovgal30@rambler.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Dovgalenko N.V. – Candi. Sci. (Philosophy), associate professor of the Department of Philosophy, Sociology, Psychology, Yuri Gagarin State Technical University of Saratov (Saratov, Russian Federation). E-mail: dovgal30@rambler.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 20.12.2020;
одобрена после рецензирования 20.07.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 20.12.2020;
approved after reviewing 20.07.2022; accepted for publication 27.10.2022

Научная статья

УДК 165.4 + 167 + 130.2

doi: 10.17223/1998863X/69/8

МЕТАЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ «ДИФФУЗНОГО ЦИНИЗМА»

Ангелина Валерьевна Петрова

*Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, Томск, Россия,
angelina.gukovaa@yandex.ru*

Аннотация. В статье предпринята попытка реконструкции концепции «диффузного цинизма» П. Слотердайка с эпистемологических позиций. В ходе реконструкции обнаружен ряд эпистемологических затруднений, которые автор статьи предлагает решать с помощью метаэпистемологического анализа. Демонстрируется актуальность метаэпистемологического анализа для эпистемологических теорий.

Ключевые слова: цинизм, метаэпистемология, П. Слотердаик, субъект, истина

Для цитирования: Петрова А.В. Метаэпистемологический анализ концепции «диффузного цинизма» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 66–75. doi: 10.17223/1998863X/69/8

Original article

META-EPISTEMOLOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT “DIFFUSE CYNICISM”

Angelina V. Petrova

*Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, Russian
Federation, angelina.gukovaa@yandex.ru*

Abstract. This article continues the author’s attempts to explore the phenomenon of modern cynicism from an epistemological standpoint. The author has already published an article on cognitive strategies of a postmodern subject against the background of the unfolding cynical attitude of consciousness [Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2022. Vol. 67. P. 27–35]. The object of research in this article is the concept “diffuse cynicism” by Peter Sloterdijk, which in the first part of the work is reconstructed as epistemological. In the course of this reconstruction, the author reveals a number of epistemic difficulties that lead to an internal contradiction within the framework of the theory and the impossibility of its further reconstruction without solving these difficulties. The author points out the nature of these difficulties, demonstrates that such epistemic difficulties are not unique to the concept analyzed and extend to epistemological theories in general. In particular, the question arises about the legality of Sloterdijk’s normative judgments in relation to the subject, while being a subject, and, therefore, falling under their own normative descriptions. To solve this difficulty, the author turns to the possibility of identifying subjects of different epistemological status. She demonstrates that it is possible to detect and identify such subjects using meta-epistemological analysis. A brief analysis of the main features of such an analysis is proposed. The second part of the article presents a meta-analysis of Sloterdijk’s concept. The author proposes to distinguish between subjects of different status, referring, firstly, to the motives underlying the nomination of epistemological judgments by subjects and, secondly, to the assessment of specific statements of the subject in a particular situation from the standpoint of the pragmatic, semantic and practical status of these statements. Using the example of the meta-analysis of

Sloterdijk's concept "diffuse cynicism", the author shows the relevance and importance of meta-epistemology for epistemological theories.

Keywords: cynicism, meta-epistemology, Peter Sloterdijk, subject, truth

For citation: Petrova, A.V. (2022) Meta-epistemological analysis of the concept "diffuse cynicism". *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 66–75. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/8

Концепция «диффузного цинизма» П. Слотердайка, изложенная в работе «Критика цинического разума», является одним из наиболее фундаментальных исследований цинизма как феномена, сквозной нитью проходящего через всю историю человеческой культуры. Она послужила отправной точкой для дальнейшего рассмотрения «цинизма» в качестве особого типа сознания и мироощущения, присущего современному человеку, и в том числе является обнаружением и анализом различных модусов бытия постсовременного субъекта, носителя этой формы сознания. Предложенное автором понимание постсовременного субъекта подразумевает множество полей смысла, в том числе и эпистемологическое, которое мы попытаемся реконструировать и подвергнуть анализу в данной статье.

Думается, что модель взаимоотношения субъекта с «истиной» и «знанием» в концепции П. Слотердайка подана через указание на особую, «циническую» установку сознания, формирующую специфику миропонимания и мироотношения современного субъекта, которого с полным правом можно назвать «циническим субъектом». Подобный статус предписывает ему ряд характерных черт, особым образом регламентирующих его взаимоотношения с социальной средой, культурой, другими субъектами и информацией.

В рамках своей концепции философ говорит о современном человеке и его восприятии действительности, истины этой действительности, которое так или иначе ангажировано множественными условиями социального и исторического характера – тем наследием, от которого современный субъект не может отказаться. Как для Ф. Ницше мораль есть искаженное понимание вывернутой наизнанку «воли к власти» раба, позволяющая ему реализовать свое неотъемлемое стремление, так и современный субъект, по мысли П. Слотердайка, захвачен «цинизмом» – «пограничной разновидностью меланхолии» [1. С. 32], позволяющим реализовывать себя в переменчивом современном социуме. П. Слотердайк указывает на особую рефлексивность современного субъекта, которую можно охарактеризовать как диффузную (т.е. присущую каждому), не осознаваемую им и основанную на травматичном социокультурном опыте, который включает в себя описанные философом в эссе «Ничемный человек возвращается, или Конец одного алиби» стыд и вину за все допущенные ошибки XX в., а шире – унаследованное постсовременным субъектом тотальное разочарование в рациональном проекте эпохи Просвещения [2].

Даже если субъект непосредственно не участвовал ни в одном из этих событий, сопричастность наследуется им и присваивается себе как личная. Такое состояние амбивалентно включает в себя и невозможность отринуть вину и желание отказаться от последствий психологического и социального давления этой установки посредством минимизации своей вовлеченности в происходящие и хоть сколько-то значимые события.

Поскольку это состояние оказывается весьма разрушительно для индивида, его активности и творческих сил, постольку свою особую рефлексивность он пускает в ход для сохранения собственной целостности и из соображений своего удобства. П. Слотердаик указывает на то, что человек создает для себя комфортное пространство, и этот процесс, по замечанию В.И. Кудрявцевой, можно интерпретировать как «витальную экспансию», которая и обустроивает это пространство через воображение и интерпретацию самого человека [3]. Такое пространство отнюдь не крепкое и фундаментальное, напротив, оно хрупкое, интимное и сферическое, и П. Слотердаик описывает его как «пузырь» или «сферу», которой индивид окружает себя по собственному желанию.

Так, одними из наиболее эмоционально затратных для современного субъекта являются отношения с информацией и «истиной», поскольку любое «знание» в классическом толковании воспринимается как репрессивное, навязанное и подавляющее, а сам статус знания кардинально меняется. Причиной такого отношения является то, что, по мысли П. Слотердайка, циничское сознание – это сознание, усвоившее установки Просвещения. В свою очередь, Просвещение трактуется философом как подрывной и деструктивный диалог об истине, поскольку заявленная форма поиска истины в нем заведомо отличается от ее фактического исполнения. В частности, он указывает, что всякий раз, когда Просвещение сталкивалось с трудностями в ведении свободного диалога, который был бы основан на заинтересованности и желании людей открывать истину, когда оно сталкивалось с сопротивлением и упорством в виде нежелания участника диалога расставаться со своими иллюзиями, оно предпринимало репрессивные меры, объявляя оппонента врагом Просвещения.

Избегая той сложности, в которую превращается взаимодействие со знанием и вообще информацией в постсовременном мире, избирательная циничская рефлексивность, вшитая в современную форму субъективности, призвана устраивать для субъекта мир наименее затратным с точки зрения психоэмоциональных ресурсов образом. Эпистемологическую стратегию современного субъекта можно интерпретировать как амбивалентную, поскольку субъект одновременно избегает любого знания в его классическом смысле, но стремится эмоционально и адаптивно встроиться в социальную реальность, отыскивая для себя хоть сколько-нибудь устойчивые формы «легитимации» знания, главным критерием которых будет соответствие той реальности, которую индивид выстраивает для себя [4].

Постсовременный циничский субъект воспринимает истину по большей части релятивно, и на первый план для него выходит уже вовсе не соответствие объективной реальности, а многообразные прагматические критерии: локализация психоэмоциональных трат, удобство, соответствие социальным ожиданиям и т.д. Иными словами, индивиды намеренно выбирают действие в соответствии с собственными интересами, эгоистической шкалой ценностной ориентации. Аргументом в пользу такого действия становится уверенность в том, что любой на их месте поступил бы таким же образом, а «возможно, еще хуже» [1. С. 33]. При таком рассмотрении сам цинизм становится исторически последней формой «ложного сознания», следующей, по мысли П. Слотердайка, за откровенной ложью, непреднамеренным заблуждением

либо сознательно искажающей социальную реальность идеологией. Решающей мыслью «Критики цинического разума» является утверждение о повсеместном распространении цинизма как патологического всеобщего умонастроения, существующего как «фундаментальная установка личности, сообразующаяся с положением вещей в мире» [1. С. 36]. Следовательно, во взаимоотношения постсовременного цинического субъекта со «знанием» уже «вшиты» социокультурные обстоятельства происхождения знания и оценка как этих знаний, так и указанных обстоятельств самим субъектом.

При рассмотрении эпистемологического среза концепции П. Слотердайка мы сталкиваемся с рядом неизбежных затруднений, которые требуют детального обзора и обсуждения. Забегая вперед, следует заметить, что обнаруживаемые сложности не являются уникальными и присущими исключительно описываемой концепции, напротив, стоит подчеркнуть их универсальность и свойственность для эпистемологических теорий.

Прежде всего стоит обратить внимание, что представленный П. Слотердайком анализ формы сознания современного субъекта тоже производится субъектом и выдвигается в рамках теории, отправной точкой которой является утверждение о «диффузности» цинической установки для современного субъекта. Возьмем программное утверждение П. Слотердайка о том, что всякий современный субъект – циник, воспринимающий мир через эту установку сознания особым искаженным образом. Но и П. Слотердаик – субъект, который сам находится в описанных им социальных условиях, а значит, должен приобретать и все постулируемые черты такого субъекта, в том числе и специфику отношения со знанием и истиной. Тогда на чем основано эпистемическое обоснование собственных утверждений автора? Являются ли его высказывания в таком случае нормативными? Можем ли мы оценить их как объективные?

Речь идет о том, на каком основании мы можем посчитать высказывания субъекта отражающими действительность. Решением может послужить разграничение эпистемологического статуса субъектов и обнаружение условий, при которых субъект может формулировать и выдвигать эпистемологические суждения, которые возможно оценить и интерпретировать с точки зрения их нормативности и истинности. Возникает вопрос: можем ли мы признать, и на каких основаниях, что исследователь, в данном случае П. Слотердаик, – это субъект иного эпистемического статуса?

Уже одни эти вопросы указывают потребность всякой эпистемологической теории в метаанализе в форме своеобразной саморефлексии со стороны эпистемологической теории. На примере данной позиции мы видим необходимость обращения к вопросам методологии формирования эпистемических высказываний, которые можно обнаружить в эпистемологических теориях, и оценке причин и способов их получения. Мы попытаемся ответить на эти вопросы, при этом продемонстрировав, что подобный метаанализ является актуальным в отношении теорий, затрагивающих вопрос об истине и взаимоотношениях с ней, в том числе со стороны субъекта.

Прежде всего, что мы подразумеваем под метаэпистемологическим анализом. С точки зрения Д. Планкетта и Т. Макферсона, «метаэпистемология – это такое исследование, цель которого состоит в том, чтобы объяснить, как фактические эпистемологические мышление и речь – и то, о чем (если вооб-

ще о чем) мы думаем и говорим, – вписываются в реальность» [5. С. 71]. Иначе говоря, авторы статьи подразумевают, что метаэпистемология стремится не столько оценить эпистемические высказывания или предложить им альтернативу, сколько отыскать основание реальных эпистемических мыслей, понять и объяснить, как соотносятся мышление, речь и реальность в конкретных эпистемологических высказываниях, а также о чем идет речь в этих высказываниях.

Таким образом, метаэпистемологический взгляд на эпистемологические утверждения позволяет обнаружить теоретические проблемы и сложности, неизбежно встречающиеся в эпистемологических теориях, поскольку акторами данных теорий являются субъекты, вступающие в эпистемологические дискуссии. Стоит заметить, что между субъектом и текстом всегда обнаруживаются некоторые обстоятельства, влияющие на формирование и понимание реальности.

Метаэпистемологический подход позволяет анализировать отношения между высказыванием и реальностью и их отношениями с точки зрения непротиворечивости. Например, по Д. Планкетту и Т. Макферсону, вопрос «что это за психическое состояние – мысль о том, что что-то является знанием» [Там же. С. 72], является примером метаэпистемологического анализа, поскольку затрагивает проблематику того, как в конкретном случае работает фактическая эпистемическая мысль и как можно описать и интерпретировать это состояние. Таким образом, метаанализ может быть эффективен для того, чтобы рассмотреть с точки зрения субъектов разного эпистемического статуса, какие процессы происходят в сознании субъекта, вступающего во взаимоотношения с реальностью и высказывающегося о ней, и как мы можем исследовать такого субъекта.

Согласно метаэпистемологическому анализу, мы должны смотреть на конкретные эпистемологические высказывания конкретных субъектов, учитывая их культурную, социальную, этическую обусловленность. Здесь мы можем более отчетливо говорить о том, что эпистемологический статус субъекта будет зависеть в том числе и от того, какую позицию занимает данный субъект в определенный момент времени в рамках живого взаимодействия, дискуссии. Д. Кюнцле отмечает, что значимое место в метаэпистемологии занимает изучение эпистемологического, прагматического и семантического статуса эпистемологических суждений [6]. Такой статус мы можем обнаружить именно в конкретной ситуации, в пределах которой и было высказано суждение. Иначе говоря, для понимания статуса этих суждений, нам нужен контекст.

Эпистемологический статус будет говорить нам о том, какова степень принятия суждения и его обоснованности в рамках ситуации, насколько суждение соответствует реальности для субъекта, выдвигающего суждение. В рамках прагматического статуса мы обнаружим, какие цели преследовал субъект, выдвигающий суждение, что он привнес в понимание и интерпретацию этого эпистемического суждения. Иначе говоря, речь здесь идет о полезности этого суждения, содержащейся в нем оценки или интерпретации для человека. В рамках семантического статуса мы будем смотреть на смысловую нагруженность суждения, на его отношение к действительности с точки зрения заключенного в нем смысла.

Этот этап позволит нам подтвердить или опровергнуть гипотезу о субъектах разного эпистемического статуса. Нашей главной задачей является необходимость ответить на вопрос: можем ли мы говорить о том, что не каждый субъект ангажирован циническим сознанием или же что есть способы возвышения над этой «избирательной цинической рефлексивностью», которыми мы можем воспользоваться для возможности выдвигать нормативные эпистемические суждения о субъекте, тем самым выделяя как особый тип эпистемического субъекта того, кто занимает позицию «исследователя».

Далее, если мы говорим о возможности обнаружить разные типы субъектов с точки зрения их статуса, то на какие свойства «исследователя» мы должны ориентироваться, чтобы признать его субъектом другого статуса, как того, кто воспринимает (или стремится воспринимать) и излагает истину в ее классическом смысле, как соответствие действительности? Что имеет отношение к тому, что мы отметим выводы и концепцию исследователя как истинную? По каким критериям мы могли бы исследовать ее? Как мы могли бы оценить его конститутивную попытку получить знание? Например, является ли его исследование компетентным, т.е. является ли оно результатом последовательной, точной и надежной (т.е. повторяющейся в соответствующих условиях) оценки собранных фактов и наблюдений. Можем ли мы быть уверены, что это не случайный вывод, а действие, имеющее под собой определенный набор оснований? Оценивая вышесказанное, мы можем обнаружить, что в основании эпистемологической позиции субъекта лежит комплекс из множества аспектов, говорящих нам о том, как исследователь пришел к данному конкретному выводу и что лежало в основании этого вывода. И что позволит нам оценить его позицию как позицию, отличную по эпистемологическому статусу от позиции субъекта, которого он подвергает исследованию. Таким образом, в качестве основных аспектов анализа мы выделяем необходимость обращать внимание на интеллектуальный уровень исследователя, причины, побудившие его на это исследование, саму форму исследования и поведение исследователя в процессе, что в определенном смысле обращает наше внимание на моральную составляющую исследования, относящуюся непосредственно к исследователю, его мотивам и задачам, которые он ставит перед собой.

В таком случае стоит детализировать и ключевые психологические феномены, которые могут повлиять на принятие решения исследователем, например, убежденность, неверие, вера, доверие, установки когнитивного или некогнитивного характера. Л. Загзебски в своей работе «Эпистемологические ценности» указывает на важность обнаружения «интеллектуального мотива» — определения характера и мотивации исследователя для решения вопроса о нахождении и дальнейшем анализе основания, которое служит базой для выдвижения исследователем эпистемических суждений [7]. Таким образом, следующий этап метаанализа — обнаружение и комплексная интерпретация ценностей, мотивов и побуждений автора концепции как субъекта, занимающего особую позицию исследователя. Такой подход позволит нам ответить на вопрос, действительно ли субъекты разного эпистемического статуса различаются в своих эпистемических суждениях. Различаются ли основания, которые позволяют выдвигать суждения у субъектов разного эпи-

стемического статуса, и можем ли мы действительно обнаружить такое различие.

Думается, что указанную мотивацию мы можем обнаружить внутри самой теории через определение места, роли и природы знания и понимания в рамках выдвинутой концепции. А также через обнаружение отношения к знанию и истине со стороны того, кто выдвигает о них суждения.

Следовательно, для решения указанных нами эпистемических затруднений мы должны провести метаанализ по двум пунктам:

1. Оценить высказывание субъекта с точки зрения конкретной ситуации, в рамках которой было выдвинуто это высказывание, по его прагматическому, семантическому и практическому статусу.

2. Оценить «исследователя» с точки зрения его ценностей и мотивов как «исследователя», которые мы можем обнаружить внутри самой теории через определение места и природы знания и понимания в ней.

Стоит задаться вопросом: что такое истина с точки зрения цинического субъекта и что говорит об истине и как к ней относится сам П. Слотердаик? Если сам цинический субъект столкнется с указанием на собственную «циничность», например, прочитает работу П. Слотердайка, то скорее всего понимание ускользнет от него, заместится установками, в которых он будет утверждать, что именно его знание о реальности «трезвое», «незамутненное» и ни в коем случае не имеет отношение к цинизму. Именно так работает «циническая рефлексия».

Ранее в статье мы говорили о формировании жизненной «сферы» – поля собственных понимания и интерпретации, с помощью которых цинический субъект и будет сохранять и подкреплять свои суждения, что необходимо для минимизации психоэмоциональных трат. «Циник» совершает своего рода сдвиг концептуального образа мира, релятивизируя истину, и, таким образом, эпистемическая, прагматическая и семантическая оценка статусов его эпистемических высказываний будет зависеть от самого важного для такого субъекта критерия – психоэмоционального комфорта, призванного адаптировать субъекта к ризомной и переменчивой постсовременной социальности. Примерами таких высказываний могут послужить встреченные в повседневных диалогах суждения: «истина переменчива», или «истиной будет то, что я считаю таковой», или «знаю я, как все обстоит на самом деле». Иначе говоря, истина для цинического субъекта – это результат частных переговоров, частных дискуссий и иных форм организации самой повседневности.

Таким образом, если мы рассмотрим эпистемические высказывания цинического субъекта с точки зрения их эпистемологического, прагматического и семантического статуса, то обнаружим, что контекстом и мотивом каждой ситуации, в которой цинический субъект выдвигает суждение, будет стремление сохранить свою целостность и активность в социуме любыми средствами, которые будут ему доступны.

Именно в этом и проявляется диффузность современного цинизма, он не стремится к индивидуальной ориентированности, поскольку его основной мотив – адаптивный, стремление интегрироваться в социальную реальность, соотнести себя с событийным рядом и специфическим образом отреагировать на него, не привлекая к себе внимания и не пытаясь что-либо менять. Цинический субъект действует так, потому что это наиболее простой, экономич-

ный и понятный путь существования в декорациях постсовременности. Цинизм «фундаментальная установка личности, соотносящаяся с положением вещей в мире, которая уже не бросается в глаза так, как этого можно было бы ожидать исходя из сложившегося представления о нем» [1. С. 36].

Применяя метаанализ к концепции П. Слотердайка, мы должны повторить проделанный путь и отыскать мотивы, которые лежали в основании его действий, а также обратить внимание на компетентность, с которой исследователь способен не только выдвигать суждения, но и подвергать их критике. Если мы обратимся к мотиву, который побудил П. Слотердайка создать свою концепцию, то обнаружим, что автор говорит следующее: «исследование цинизма станет основой для славной свободы от всяческих иллюзий» [Там же. С. 23].

Сам П. Слотердаик возражает против способа действовать, познавать мир, выдвигать и обосновывать эпистемические суждения, которым руководствуется цинический субъект. Для него суждения цинического субъекта об истине неприемлемы прежде всего потому, что они не требуют от него никакого умственного напряжения и труда. Более того, философ предлагает историческое решение проблемы «цинизма», которое заключается в возрождении «кинизма» как позиции, требующей усилия и работы над собой каждого в отдельности. Если современный «цинизм» нацелен на достижение жизненных благ, то «кинизм», иронично относясь к частным потребностям и желаниям, сознательно их ограничивая, тем самым устраняя зависимость от ценностей постсовременного сообщества.

Согласно П. Слотердаику, цинизм – это не ложь в ее целенаправленной форме, это заблуждение, которое проистекает из логической или смысловой ошибки в рассуждении, однако цинизм фундирует это заблуждение, поскольку так он позволяет сохранить идентичность и субъекта, сформированную вокруг такого заблуждения. В своей работе П. Слотердаик не придерживается пафоса обвинителя, напротив, его разговор о цинизме – это разговор об истине как главной ценности Просвещения. В то же время он обнаруживает в самом Просвещении подрывной мотив, искажающий не саму истину, но ее понимание и способ ее отыскания, который в особом виде и наследует «циник».

П. Слотердаик указывает на то, что современный цинизм – это ложное сознание, тогда как истинной формой цинизма должен стать «нео-кинизм», возврат к античному кинизму как критически настроенной, ищущей и думающей форме сознания. В своей работе П. Слотердаик стремится не только к тому, чтобы критиковать циническую установку сознания, но и обнаружить ее, высветить ее и указать на нее, дабы субъекты могли пройти путь от неосознанной, диффузной захваченности цинизмом к «интеллектуальному усилию», которое только и способно приблизить нас к истине. В данном случае П. Слотердаик делает ставку не только и не столько на «знание» субъекта о собственном цинизме, но на понимание того, как работает циническая установка сознания и обнаружение ее.

Таким образом, если мы оцениваем «интеллектуальную мотивацию» П. Слотердайка, то она заключается в стремлении указать на то, что циническая установка сознания предлагает легкий путь адаптации, а киническая – требует интеллектуального усилия, способствующего преодолению простой

приспособленческой схемы цинизма. Выходит, что «циник» – тот, кто адаптирует истину, а кирик – тот, кто желает отыскать ее. Слотердайк настаивает на «частном» использовании своего рассудка для того, чтобы отыскать истину, проникнуть сквозь заблуждение и ложь собственного сознания. Тем не менее подобная установка зависит исключительно от стремления и выбора самого субъекта и не может быть навязана извне.

Следовательно, мотивация, лежащая в основе действий П. Слотердайка, в корне отличается от той, которую мы обнаруживаем у цинического субъекта. Мы можем говорить о возможности существования субъектов разного эпистемического статуса в ситуации существования диффузной цинической установки сознания и можем убедительно утверждать, что П. Слотердайк – субъект, занимающий позицию «исследователя», что позволяет ему выдвигать нормативные суждения о субъекте. Это приводит к разному отношению к истине и, как следствие, разным основаниям для верификации собственных суждений. Для цинического субъекта – минимум усилий и ресурсов, для П. Слотердайка – индивидуальное интеллектуальное усилие.

Список источников

1. Слотердайк П. Критика цинического разума / пер. с нем. А.В. Перцева. Екатеринбург ; Москва : У-Фактория : АСТ МОСКВА, 2009. 800 с.
2. Слотердайк, П. Никчемный человек возвращается, или Конец одного алиби // Немецкое философское литературоведение наших дней. Антология. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2001. С. 475–507.
3. Кудрявцева В.И., Перцев А.В. Витальная геометрия П. Слотердайка: сферологический подход к пониманию человека // Общество: философия, история, культура. 2020. № 12 (80). С. 23–29.
4. Гукова А.В. Специфика познания постсовременного субъекта на фоне цинической установки сознания // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 67. С. 27–35.
5. Макферсон Т., Планкетт Д. Концептуальная этика, метаэпистемология и нормативная эпистемология // Kant: social sciences & humanities. 2021. № 1 (9). С. 65–80.
6. Kuenzle D. Refurbishing Epistemology. A meta-epistemological framework. De Gruyter, 2017. 260 p.
7. Zagzebski L. Epistemic Values: Collected Papers in Epistemology. Oxford University Press, 2020. 380 p.

References

1. Sloterdijk, P. (2009) *Kritika tsinicheskogo razuma* [Critique of Cynical Reason]. Translated from German by A.V. Pertsev. Ekaterinburg: U-Faktoriya.
2. Sloterdijk, P. (2001) *Nikchemnyy chelovek vozvrashchaetsya, ili konets odnogo alibi* [A worthless man returns, or the end of one alibi]. In: Smirnov, I.P., Uffelman, D. & Shramm, K. (eds) *Nemetskoe filosofskoe literaturovedenie nashikh dnei. Antologiy* [German Philosophical Literary Criticism of Our Days. Anthology]. St. Petersburg: St. Petersburg State University. pp. 475–507.
3. Kudryavtseva, V.I. & Pertsev, A.V. (2020) Vital geometry by P. Sloterdijk: spherological approach to humans understanding. *Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kultura – Society: Philosophy, History, Culture*. 12(80). pp. 23–29. (In Russian).
4. Gukova, A.V. (2022) The specifics of cognition of a postmodern subject against the background of a cynical attitude of consciousness. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 67. pp. 27–35. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/67/3
5. McPherson, T. & Plunkett, D. (2021) *Kontseptual'naya etika, metaepistemologiya i normativnaya epistemologiya* [Conceptual Ethics, metaepistemology, and normative epistemology]. *Kant: Social Sciences & Humanities*. 1(9). pp. 65–80.
6. Kuenzle, D. (2017) *Refurbishing Epistemology. A meta-epistemological framework*. De Gruyter.

7. Zagzebski, L. (2020) *Epistemic Values: Collected Papers in Epistemology*. Oxford University Press.

Сведения об авторе:

Петрова А.В. – кандидат философских наук, старший научный сотрудник лаборатории логико-философских исследований Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (Томск, Россия). E-mail: angelina.gukovaa@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Petrova A.V. – Cand. Sci. (Philosophy), senior researcher, Laboratory of Logical and Philosophical Research, Tomsk Scientific Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Tomsk, Russian Federation). E-mail: angelina.gukovaa@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 20.06.2022;
одобрена после рецензирования 15.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 20.06.2022;
approved after reviewing 15.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

Научная статья

УДК 1(091)

doi: 10.17223/1998863X/69/9

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИГУРЫ ДЬЯВОЛА В «ЛЕВИАФАНЕ» ТОМАСА ГОББСА

Артем Юрьевич Тетерин

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,
avronconst@gmail.com*

Аннотация. На основе анализа текста «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» английского философа Томаса Гоббса определены значение дьявола и его соотношение с религией и языком в «Левиафане». Предпринята попытка охарактеризовать этот образ с точки зрения его места в политике Левиафана.

Ключевые слова: Левиафан, Суверен, Томас Гоббс, идея дьявола

Для цитирования: Тетерин А.Ю. Политическое значение фигуры дьявола в «Левиафане» Томаса Гоббса // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 76–83. doi: 10.17223/1998863X/69/9

Original article

THE POLITICAL SIGNIFICANCE OF THE FIGURE OF THE DEVIL IN THOMAS HOBBS' *LEVIATHAN*

Artyom Yu. Teterin

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation, avronconst@gmail.com

Abstract. There is a shift of research focus to theological problems in the works of Thomas Hobbes: eschatology, hell, the concept of the miracle, etc. Of particular interest is the figure of the devil. It occupied an important place in medieval consciousness and defined social life. The last third of the 17th century is marked by an active discussion among intellectuals about the status of the supernatural, especially the devil and his influence on social life. One of the initiators of this discussion was the English philosopher Thomas Hobbes, the developer of the idea of the modern state. The devil is examined in terms of his role in Thomas Hobbes' political philosophy in *Leviathan, or the Matter, Form, and Power of the Ecclesiastical and Civil State*. First, Hobbes argues that the source of demonology was the worldview of the ancient Greeks, which influenced Jewish culture. Second, Hobbes' materialistic worldview rejects any argument about the immateriality of spirits and the devil. These definitions of the devil lead us to see the devil as a danger in terms of language: an ambiguous concept that can strip language of its performative properties, endanger the stability of the political order for fear of the devil but not of the Sovereign. Therefore, the Sovereign gets a monopoly on interpreting the devil through scripture. Third, the devil, according to Hobbes, does not designate a particular person, but only "an office, or quality". In other words, it is not a proper name, but an appellative. The devil as a proper name is a consequence of a mistranslation of the Bible. Fourth, Hobbes views the devil as the "earthly enemy of the church". This definition means that the figure is undergoing complete secularization and temporalization. It is now a nominal name used to refer to enemies of the state. If the kingdom of God is an extension of the earthly kingdom and all interpretations of sacred scripture are carried out by the state, the devil is any force that attacks the church and sacred scripture, challenging the state. As a result, Hobbes secularizes Early Modern period

political discourse by trying to stop all the ambiguities of the Bible by securing the power of the Sovereign. The devil turns out to be a symbol of the expression of state disobedience and of the individual who has surrendered inalienable rights to a “man-made” god.

Keywords: Leviathan, Sovereign, Thomas Hobbes, idea of devil

For citation: Teterin, A.Yu. (2022) The political significance of the figure of the devil in Thomas Hobbes' *Leviathan*. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 76–83. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/9

Сегодня исследователи философии Гоббса уделяют внимание не только политическим и правовым темам в труде «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» («*Leviathan, or the Matter, Form, and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil*»). Исследовательский фокус изучения интеллектуального наследия Гоббса смещается в сторону теологических вопросов: значение ада в политической философии Гоббса (С. McClure), эсхатологические идеи в «Левиафане» (Т. Okada, J. Росоцк), теологии в рамках политической концепции Гоббса (J. Росоцк, Т. Дмитриев) и понятия чуда (J. Whipple, В. Яковлев). Смещение фокуса в сторону политической теологии произошло благодаря исследованиям немецкого философа и интерпретатора Гоббса Карла Шмитта, который призвал видеть в секуляризованных понятиях государства понятия теологические и переосмыслять их [1. С. 57].

Однако фигура дьявола, которая занимала важное место в сознании средневековых европейцев, а также являлась не только религиозным, но и политическим символом христианства [2], упускается из виду исследователями теологии Гоббса. Последняя треть XVII в. была временем активной дискуссии интеллектуалов о статусе сверхъестественного, в особенности дьявола и его влияния на общественную жизнь, а одним из инициаторов этой дискуссии был английский философ Томас Гоббс [3. Р. 375]. Так, понятие «дьявол» 19 раз упоминается Гоббсом в его труде «Левиафан». Чаще всего оно встречается в главах, посвященных толкованию Священного писания (гл. XXXVI–XXXVIII) и христианской церкви (гл. XLII), проходя через его размышления о религии и ее месте при доминирующей государственной власти.

Тезис, согласно которому Гоббс является атеистом и его рассуждения о сверхъестественном не могут быть приняты во внимание в контексте его политической мысли, не является общепринятым [4. Р. 878–879]. Во-первых, слово «атеист» исторически меняло свое значение, поэтому мы можем столкнуться с разными пониманиями этого слова, идущими вразрез друг с другом. Во-вторых, Карл Шмитт, рассуждая о теологических понятиях в «Левиафане», говорил, что автор текста наделяет Суверена божественной властью, например, в решении того, что можно считать чудесным, а что нет [5]. В-третьих, тенденция на осмысление значения религии для конструирования политических идей Гоббса постоянно росла и достигла кульминации в его opus magnum – «Левиафан» [6. С. 56]. Поэтому в связи с ростом исследовательского интереса к религии и ее критике в «Левиафане» необходимо рассмотреть вопрос о роли идеи дьявола в системе политических идей Томаса Гоббса, которая постепенно выносилась за скобки политического мышления Нового времени.

Основная цель данной статьи состоит в том, чтобы определить политическое значение фигуры дьявола в «Левиафане» Томаса Гоббса. Для ответа

на поставленный вопрос необходимо рассмотреть, как Гоббс определяет фигуру «дьявола» в «Левиафане» и какое место эта фигура занимает в политической философии Гоббса наряду с Сувереном и Богом.

Идея о существовании бестелесных демонов возникла у древних людей, а точнее у язычников, далеких от стремления к «естественному знанию», потому что они, согласно Гоббсу, «принимали образы своего воображения за предметы, имеющие реальное бытие вне их, а не за что нечто, зависящее от их представления... представляя их себе реально существующими и бестелесными, так как они не могли осязать их руками» [7. С. 272]. Описывая причину появления демонологии и веры в дьявола, Гоббс ссылается на историю еврейского народа: «В эпоху плена евреи совершенно не имели государства, а после их возвращения из плена хотя завет с Богом и был возобновлен, но со стороны народа не было дано обещания повиновения ни Ездre, ни кому-либо другому. И так как вскоре после этого они подпали под власть греков (и позаимствовали от них обычаи, демонологию и учение каббалистов, так что их собственная религия была искажена)» [Там же. С. 325]. Так и ныне сохраняются темные и ошибочные учения в виде демонологии, которые достались европейской цивилизации под влиянием распространения христианства.

Гоббс отвергает представление о духах (суть дьяволе) как бестелесной сущности. Ссылаясь на Новый Завет, Гоббс утверждает, что «если Бог создал их (духов. – *Примеч. мое. – А.Т.*) таким образом, то они суть субстанции, имеющие измерение и занимающие пространство, и могут двигаться с места на место, что свойственно телам. Поэтому они не являются бестелесными духами» [Там же. С. 272]. Это убеждение связано с особенностью мировоззрения Гоббса, в котором материальное тело «заполняет и занимает определенное пространство или воображаемое место и не зависит от воображения, а является реальной частью того, что мы называем универсумом. Так как универсум есть совокупность всех тел, то нет такой реальной части его, которая не была бы также телом» [Там же. С. 267]. Таким образом, английский философ пытается отвергнуть любые схоластические споры о бестелесности дьявола.

Далее Гоббс утверждает, что дьявол или сатана не являются именами собственными, т.е. не обозначают конкретное лицо. В качестве примера можно привести отрывок из XLIV главы «Левиафана», где речь идет о новозаветном персонаже Иуде Искарите. Согласно Евангелию от Луки (22:3): «Тогда вошел Сатана в Иуду, одного из двенадцати, прозванного Искариотом» [8. С. 1546], после чего Иуда отправился к первосвященникам, чтобы предать Христа. Этот пассаж Гоббс интерпретирует не как встречу библейского персонажа со сверхъестественным, но лишь как «враждебное и предательское намерение продать своего Господа и Учителя» [7. С. 429]. Причина использования слов «сатана» и «дьявол» как имен собственных вызвана отсутствием правильного перевода Священного писания. Отсюда Гоббс предлагает переводить и понимать эти слова как имена нарицательные, которые обозначают не конкретную личность, а «наименования должности или качества» [Там же. С. 309]. Это замечание также согласуется с идеями Гоббса о человеческом мышлении: вера людей в демонов и прочие сверхъестественные силы вызвана отвлечением мышления от реального мира и оперированием общими, универсальными понятиями.

Несмотря на то, что «дьявол» теряет свою прежнюю силу и превращается в метафору, нельзя исключать, что эта фигура не лишена своего места в политической философии «Левиафана». Гоббс строит «Левиафана» на борьбе с суевериями. Другими словами, для стабильности власти Суверена необходима нейтрализация религии и веры в те силы, благодаря которым можно бросить вызов гражданской власти. Так, рассуждения о дьяволе часто встречаются в XXXVIII главе «О том, что понимается в Писании под словами „вечная жизнь“, „ад“, „спасение“, „грядущий мир“ и „искупление“». В этой главе Гоббс преследует прагматичную цель – доказать, что только Суверен может «выдавать большие награды, чем жизнь, или налагать наказания более жесткие, чем смерть» [7. С. 303]. Таким образом, «дьявол» представляет собой угрозу для авторитета Суверена, вызов которому могут бросить суеверные подданные, для которых есть силы опаснее и страшнее, чем рукотворное государство. Поэтому можно предположить, что даже если «дьявол» не обладает сверхъестественными свойствами, вера в него и обращение к его фигуре зиждутся на использовании языка. В то время как язык – одна из ключевых тем политической теории Гоббса, без которой невозможно возникновение государства [Там же. С. 22].

Язык в системе Гоббса в большей степени зависит от воли и желания человека [9. С. 33–34]. Доказательством этому служит наличие в человеческом языке непостоянных, метафорических и двусмысленных понятий. До тех пор, пока язык отдан в распоряжение воли и желаний, он представляет собой своего рода «вавилонское столпотворение» и лишен своей главной коммуникативной функции – перформативности [Там же]. Однако при отсутствии перформативности царят разногласия, не рождается договор, ибо они исходят от множества (*multitudo*), которое хаотично движимо своими волями, желаниями и страстями. В то время как основная цель Левиафана – обуздать эту хаотичную массу. Поэтому излишнее внимание к дьяволу приводит к раздору, не позволяя Суверену создать и поддерживать политический порядок. Решение, которое предлагает Гоббс, заключается в передаче монополии на интерпретацию Священного писания Суверену.

Кто такой Суверен? Это лицо, гарант общественного договора (*covenant*), которое предпринимает все необходимые меры для соблюдения порядка: он решает такие вопросы, как жизнь или смерть своих подданных, и вопросы интерпретации Библии (XVIII и XXXIII–XLI главы). По мнению исследователей, английское слово «*covenant*» носит теологический смысл и понимается не просто как соглашение, но и «устанавливающий, конституирующий договор, посредством которого из рассеянных по земле иудеев возник избранный Богом народ» [10. С. 13]. С того момента, как состоялось соглашение между подданными и Сувереном, люди более не могут сомневаться в его власти и бросать ей вызов. Однако всегда существует вероятность, при которой подданные в случае несогласия с действиями властей могут не повиноваться ей, ссылаясь на то, что действия Суверена идут вразрез с законом божьим. На это Гоббс отвечает, что, во-первых, другим никак нельзя удостовериться в том, что имело место общение конкретного человека с Богом (например, он позиционирует себя как пророка); во-вторых, договор людей с Богом невозможен, потому что «это неправильно, ибо соглашение с Богом может быть заключено лишь при посредстве лица, представляющего личность Бога, како-

вым может быть лишь наместник Бога, обладающий верховной властью под владичеством Бога» [7. С. 119]; в-третьих, настала эпоха, когда «чудеса прекратились, пророков больше нет, и их место заняло Священное писание» [Там же. С. 258]; в-четвертых, «повиновение Богу и повиновение гражданскому суверену совместимы, если суверен христианин... Если он христианин, то он разрешает веру в догмат, что Иисус есть Христос... И так как он суверен, то он требует повиновения всем своим законам, т.е. всем гражданским законам, в которых также содержатся все естественные законы, т.е. все законы Бога» [Там же. С. 406]. Теперь спорные вопросы священного писания есть только прерогатива Суверена. Его власть будет действовать до тех пор, пока не состоится Второе Пришествие Иисуса Христа, когда Господь будет править не от лица евреев, но всего человечества, где Царство Земное станет продолжением земного [6. С. 69].

Подобные утверждения демонстрируют неограниченную власть и исключительные полномочия Суверена. Говоря о такой безграничной власти «рукотворного» бога и ссылаясь цитату на титульном листе произведения «*non est potestas super terram quae comparetur ei*» («Нет на земле подобного ему»), можно столкнуться с искушением придать ему черты дьявола. Однако Гоббс не наделяет Левиафана / Суверена таким смыслом, хотя некоторые исследователи пытались увидеть в нем символ абсолютного зла. Полисемантический образ Левиафана, о котором говорит Гоббс, носит позитивные коннотации, нежели негативные [5. С. 255–256].

Опять же вернемся к одному из определений дьявола. Поскольку «дьявол» – это имя нарицательное, которое дается не конкретному лицу, а определенной категории объектов, то под этим «подразумевается враг тех, кто будет в Царстве Божием, поэтому если Царство Божие после воскресения должно быть на земле... то враг и его царство должно быть также на земле... под сатаной подразумевается земной враг церкви» [7. С. 309–310]. Точнее, дьявол не конкретный враг Бога, рода человеческого, царствующий в аду, а любой враг церкви и царства божьего на земле. Суверен не приветствует апелляции к дьяволу со стороны подданных, видя в этом угрозу гражданской власти.

Наименование дьявола как земного врага означает, что эта фигура претерпевает полную секуляризацию и темпорализацию, становясь именем нарицательным для тех, кто становится врагом государства. Если царство божье – продолжение земного царства и все интерпретации священного писания осуществляет государство, то дьявол – любая сила, которая покушается на церковь и священное писание, бросающая вызов государству. Противоположность этих царств, в которых процветает мир и порядок, есть ад, в котором людям подвергаются соответствующим мукам. Однако ад также одна из метафор, в которой «изображают горечь и досаду нечестивцев от лицемерия вечного блаженства других, которое они потеряли из-за своего неверия и непослушания» [Там же. С. 310]. Единственное отличие метафоры ада от естественного состояния заключается в том, что все муки являются следствием наказаний, производимых Сувереном, и страха неминуемой смерти. Суверен нивелирует различия между адом и собственным исполнением наказания, угрожая подданным.

Однако не исключено, что люди перестанут апеллировать к «дьяволу» в угоду своим целям, бросая вызов авторитету Суверена. Это можно обосновать убежденностью Гоббса в несовершенстве человеческой природы, что в политической философии принято называть антропологическим пессимизмом. К тому же наличие власти Суверена не отменяет тот факт, что люди перестанут говорить о дьяволе, ибо «политическая жизнь, социальность чревата естественным состоянием, из естественного состояния можно перейти в социальную жизнь, государство может возникнуть, разрушиться и возникнуть... это возможно потому, что между естественным и искусственным нет радикальной цезуры, они суть изначальные стороны друг друга, и как естественная вражда просвечивает через социальность, так социальное просвечивает через все настроения естественной вражды, недоверия и тщеславия» [11. С. 111].

Так Гоббс проводит секуляризацию политического дискурса Нового Времени, пытаясь поставить точку во всех двусмысленных местах Библии, обезопасив власть Суверена. Секуляризацию претерпевает и дьявол. Как справедливо отмечает Карло Гинзбург, в «Левиафане» государство не требует себе отдельной автономной, светской территории, наоборот, она вторгается в религию [12. С. 22]. У Гоббса дьявол – это политическая метафора врагов государства, понимание которой установил Суверен: любой человек, группа лиц, которая ставит под сомнение и угрожает легитимности государства своими словами и действиями. Наконец, «дьяволом» может быть множество, лишенное какой-либо формы и субъектности, которому нет места в политическом теле Левиафана. Подобная трактовка места дьявола в политической системе Гоббса может говорить о том, как секуляризированный язык политики сохраняет возможности для его дальнейшего использования образа дьявола в эпоху Модерна.

Таким образом, можно резюмировать, что Гоббс пытается вынести дьявола за скобки своей политической философии в «Левиафане». Мыслитель лишает фигуру дьявола атрибутов бестелесности и имени собственного, видя в ней угрозу политического характера. В особенности это угроза, которая проявляется в языке, например, через апелляцию к высшим силам вместо Суверена (наместника Бога в политической системе Гоббса). Теряя свое традиционное значение, которое эта фигура приобрела в религии и суевериях прошлого, она при этом сохраняет и усиливает свои позиции в политическом воображаемом Европы Нового Времени. С одной стороны, фигура дьявола оказывается символом выражения государственного непослушания, активизации множества (*multitudo*) и разрушения монолитности государства. Другими словами, доказательством того, что процветание общества возможно только в государстве при послушании и подчинении политическим институтам власти. С другой стороны, «дьяволом» оказывается любой индивид (подданный), который выходит (изгоняется) за границы государственного порядка (политического тела) и находит сходство с дьяволом романтиков: фигурой одинокой, бунтарской и изолированной.

Список источников

1. Шмитт К. Политическая теология: сборник / пер. с нем. А. Филиппов. М. : КАНОН-пресс-Ц, 2000. 336 с.
2. Kotsko A. The Prince of This World. Stanford, California : Stanford University Press, 2017. 240 p.

3. *Israel J.I.* Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650–1750. Oxford : Oxford University Press, 2001. [xxi], 810 p.
4. *Cromartie A.* The God of Thomas Hobbes // *The Historical Journal*. 2008. Т. 51, № 4. Р. 857–879.
5. *Шмитт К.* Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса / пер. с нем. Д.В. Кузницына. СПб. : Владимир Даль, 2006. 300 с.
6. *Дмитриев Т.А.* Политическая теология в «Левиафане» Томаса Гоббса // *Социологическое обозрение*. 2018. № 3. С. 56–89.
7. *Гоббс Т.* Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М. : Мысль, 2001. 478 с.
8. *Библия.* Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в современном русском переводе / под ред. М.П. Кулакова, М.М. Кулакова. М. : Изд-во ББИ, 2015. 1856 с.
9. *Плешков А.* Статус языка в политической философии Томаса Гоббса // *Социологическое обозрение*. 2011. Т. 10, № 3. С. 29–40.
10. *Марей А.В.* «Народ» в политической мысли европейского модерна: Гоббс, Спиноза, Пуфендорф // *Слово.ру : Балтийский акцент*. 2020. Т. 11, № 3. С. 8–24.
11. *Филиппов А.* Актуальность философии Гоббса. Статья первая // *Социологическое обозрение*. 2009. Т. 8, № 3. С. 102–112.
12. *Гинзбург К.* Страх. Почтение. Ужас. Перечитывая Гоббса в наши дни / пер. с англ. Т. Азаркович. М. : Проект lettera.org., 2011. 24 с.

References

1. Schmitt, C. (2000) *Politicheskaya teologiya. Sbornik* [Political Theology. Complication]. Translated from German by A. Filippov. Moscow: KANON-press-C.
2. Kotsko, A. (2017) *The Prince of This World*. Stanford, California: Stanford University Press.
3. Israel, J.I. (2002) *Radical enlightenment: Philosophy and the making of modernity 1650–1750*. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198206088.001.0001
4. Cromartie, A. (2008) The God of Thomas Hobbes. *The Historical Journal*. 51(4). pp. 857–879. DOI: 10.1017/S0018246X08007103
5. Schmitt, C. (2006) *Leviafan v uchenii o gosudarstve Tomasa Gobbssa* [Leviathan in the Doctrine of the State by Thomas Hobbes]. Translated from German by D. V. Kuznitsyn. St. Petersburg: Vladimir Dal.
6. Dmitriev, T.A. (2018) The Political Theology of Thomas Hobbes' Leviathan. *Sotsiologicheskoe obozrenie – Russian Sociological Review*. 17(3). pp. 56–89. (In Russian).
7. Hobbes, T. (2001) *Leviafan, ili materiya, forma i vlast' gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo* [Leviathan, or the Matter, Form, and Power of a Commonwealth, Ecclesiastical and Civil]. Moscow: Mysl'.
8. Kulakov, M.P. & Kulakov, M.M. (eds) (2015) *Bibliya. Knigi Syvashchennogo Pisaniya Vethkogo i Novogo Zaveta v sovremennom russkom perevode* [The Bible. Books of the Holy Scriptures of the Old and New Testament in Modern Russian Translation]. Moscow: St. Andrew's Biblical Theological Institute.
9. Pleshkov, A. (2011) The status of language in the political philosophy of Thomas Hobbes. *Sotsiologicheskoe obozrenie – Russian Sociological Review*. 10(3). pp. 29–40. (In Russian).
10. Marey, A.V. (2020) “Narod” v politicheskoy mysli evropejskogo moderna: Gobbs, Spinoza, Pufendorf [The concept “people” in the modern European political thought: Hobbes, Spinoza, Pufendorf]. *Slovo.ru: Baltic accent*. 11(3). pp. 8–24. (In Russian).
11. Filippov, A. (2009) Aktual'nost' filosofii Gobbssa. Stat'ya pervaya [The relevance of Hobbes' philosophy. Article one]. *Sotsiologicheskoe obozrenie – Russian Sociological Review*. 8(3). pp. 102–112. (In Russian).
12. Ginzburg, C. (2011) *Strakh. Pochtenie. Uzhas. Perechityvaya Gobbssa v nashi dni* [Fear Reverence Terror. Reading Hobbes Today]. Translated from English by T. Azarkovich. Moscow: Proekt lettera.org.

Сведения об авторе:

Тетерин А.Ю. – магистр социологии, аспирант 1-го курса кафедры истории философии и логики философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: avronconst@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Teterin A.Yu. – MA (Sociology), 1st year postgraduate student of the Department of History of Philosophy and Logic, Faculty of Philosophy, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: avronconst@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 12.07.2022;
одобрена после рецензирования 09.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 12.07.2022;
approved after reviewing 09.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 130.31
doi: 10.17223/1998863X/69/10

БИОЭТИКА КАК ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: МЕЖДУ «ВОТ» И «ВОТ-ВОТ»

Дарья Павловна Козолупенко

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия,
kozolupenko.dp@philos.msu.ru*

Аннотация. В статье на основе работ П.Д. Тищенко рассматриваются философские основания биоэтики и его антропологические перспективы. Биоэтика представляется как вариант объектно-ориентированной антропологии (по аналогии с объектно-ориентированной онтологией Г. Хармана), понимающей человека как наличное существо, заданное перспективой собственной телесности и колеблющееся между указательно-данным «вот» человеческого тела и проспективно-становящимся и манипулятивно-доступным «вот-вот» его преобразовательного самоустранения.

Ключевые слова: объектно-ориентированная антропология, совершенствование, биотехнологии, самоидентификация, самоустранение, телесность, наличное существование

Для цитирования: Козолупенко Д.П. Биоэтика как объектно-ориентированная антропология: между «вот» и «вот-вот» // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 84–93. doi: 10.17223/1998863X/69/10

SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY

Original article

BIOETHICS AS ONE OF THE VARIANTS OF OBJECT-ORIENTED ANTHROPOLOGY: BETWEEN “HERE” AND “IT’S ABOUT TO COME”

Darya P. Kozolupenko

*Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation,
kozolupenko.dp@philos.msu.ru*

Abstract. In connection with the development and ubiquity of digital technologies, numerous developments in the field of biomedical human improvement, the introduction of biotechnologies and informatization, the problem of distinguishing the human from the non-

human is coming to the fore, the line between them is rapidly thinning. In the light of all technological advances, we are assimilating new terminology imperceptibly, gradually, together with a new style of thinking about a person. One of the directions of such assimilation and shift of emphasis in the understanding of the specifically human is the biotechnological approach to humans. The origins and consequences of the approach are convincingly discussed in works by P.D. Tishchenko, who was the first to notice the tendency of “destruction of the human in a human”, characteristic of this approach. The biotechnological approach can be accepted or rejected, but it will not be possible to ignore it today, since it is not even that a new field of research has appeared along with a new terminology, but that a new existential experience has appeared that requires appropriate reflection. Moreover, in the situation with bioethical problems, we deal not only with new experience in terms of experimental data about a person and not just with terminology, but also with the development of a special type of representation of a person, which is characterized in the presented article as “object-oriented anthropology” (by analogy with Graham Harman’s object-oriented ontology). The author of the article identifies two basic concepts for the biotechnological approach to a person that form the understanding of a person in the bioethical paradigm: “here” and “it’s about to come”. Analyzing both the understanding of the concept “here” and the attitude to the body in works by R. Descartes, M. Heidegger, J.-P. Sartre, M. Foucault, M. Merleau-Ponty, as well as modern research in the field of bioethics by B.G. Yudin, O.V. Popova, P.D. Tishchenko, S.Yu. Shevchenko, S.V. Lavrentieva, the author of the article comes to the conclusion that a person as “here” in modern bioethical discourse is completely objectified and is actually inhuman or “Dasein” (using Heidegger’s terminology) way of being, while “it’s about to come” loses its remoteness and gets as close as possible to “here”, thereby supporting the initial understanding of a person as a thing, as an object for manipulation. The danger of any improvement and manipulation of the human in a human, associated with a technological, body-oriented and object-oriented understanding of a person, is that, thanks to the paradigms “here” and “it’s about to come” that merge in the biotechnological approach to a human, with the general tendency of body orientation and inattention to the fact that a person cannot be understood as “cash” equated to a class of objects without losing their own essence, this leads to the inevitable appearance of the topic of “subhuman”, also characteristic of bioethical research. The “person” as “here” or as “it’s about here” becomes a “contractual” person. Thus, in search for the improvement of a human and the expansion of the horizons of human existence, object-oriented anthropology brings a person into the sphere of the inhuman and turns out to be not a way of one’s own rediscovery and affirmation, but another way to abandon oneself and avoid the human in a human.

Keywords: object-oriented anthropology, improvement, biotechnology, self-identification, self-removal, body orientation, existence

For citation: Kozolupenko, D.P. (2022) Bioethics as one of the variants of object-oriented anthropology: between “here” and “it’s about to come”. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 84–93. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/10

Сегодня мы постоянно говорим о дигитальном мышлении, о биомедицинском улучшении человека, о проблеме отличия человеческого от нечеловеческого, грань между которыми стремительно истончается. В свете всех технологических достижений новая терминология усваивается нами незаметно, исподволь, ассимилируется вместе с новым стилем мышления о человеке.

Одним из направлений такой ассимиляции и смещения акцентов в понимании специфически человеческого становится биотехнологический подход к человеку, об истоках и последствиях которого много и убедительно говорит в своих работах П.Д. Тищенко. Подход этот можно принимать или отвергать, но игнорировать его сегодня уже не получится. «Слово „биоэтика“ вошло в русскую речь и больше не воспринимается как заморская диковинка. Как научную дисциплину ее преподают на философских, медицинских и биоло-

гических факультетах. Появились учебники и учебные пособия. Защищаются диссертации по биоэтическим проблемам. Вышли в свет первые номера первого отечественного научного журнала „Биоэтика“. Радио и телевидение, художественная литература и кинематограф постоянно затрагивают биоэтические темы» [1. С. 14]. Но дело даже не в том, что появилась новая область исследования и с ней – новая терминология, появился «новый чрезвычайно необычный опыт существования человека, который в массовом масштабе стихийно генерируется биомедицинскими технологиями» [Там же. С. 16] и который, говоря словами того же П.Д. Тищенко, «должен быть освоен. Превращен из дикого состояния в одомашненное. Выведен из безмолвия и безвидности стихии жизни в просвет человеческого представления. Воспринят. Прочувствован. Прощупан» [Там же. С. 17]. Конечно, освоение нового опыта, как и перевод с одного научного языка на другой, так и «работа с языком», предполагающая встраивание новой терминологии, и ее проблематизация – обязательная философская работа, которая должна быть проведена и уже проводится. Но за всей этой работой должно стоять понимание того, что «биоэтика не сводится к проблемам и не сводится к работам, подготовленным представителями различных научных дисциплин. Для нее характерен особого рода взгляд на события, особая исследовательская перспектива, в которой дисциплинарный подход доопределяется потребностью в меж- и даже трансдисциплинарном диалоге» [Там же. С. 14]. И в ситуации с биоэтической проблематикой мы имеем дело не только с новым опытом в плане экспериментальных данных о человеке и не просто с терминологией, но «мы имеем дело с освоением особого рода оснований или начал» [Там же. С. 14]. Часть из этих оснований, связанных с пониманием человека как вида налично-определенного бытия, мы разберем в данной статье.

1. «Вот» как способ (не)человеческого бытия

Понятие «вот» в философской речи недвусмысленно отсылает нас к традиции «вот-бытия», к терминологии М. Хайдеггера (в переводе Борисова) [2]. Павел Дмитриевич Тищенко в своих работах неоднократно ссылается на великого немецкого философа, говоря о формах бытия-к-смерти [1, 3], о языке как доме бытия [4. С. 119–120] и рассказывании как «одной из первичных форм одомашнивания жизни» [1. С. 16], о технологиях как «поставе» [5. С. 28; 2] и т.д.

Но в то же время нельзя не заметить, что П.Д. Тищенко является редким философским исключением в современной исследовательской среде, умеющим в теме биотехнологии, объектно-телесного отношения видеть не только объектное и не только наличное, не только тело как таковое, но и присутствие как обращенность к неналичному – как одну из основных проблем биоэтики.

В целом же биоэтика как направление современной философской и научной мысли исходит в своем понимании «вот» скорее из Декарта, нежели из Хайдеггера. И оказывается родственно тому прочтению Декарта, которое предлагает нам современная французская феноменология восприятия [6] с ее телocентричностью и опорой на данные экспериментальной психологии и нейрофизиологии.

Декарт, устанавливая основание для всякого рассуждения о человеке и мире, в первом из своих «Размышлений о первой философии...» начинает с описательного рассуждения о собственной фактичности, говоря: «К примеру, я нахожусь здесь, в этом месте, сижу перед камином, закутанный в теплый халат, разглаживаю руками эту рукопись и т.д.» [7. С. 17]. Декарт утверждает и в то же время проблематизирует очевидность и обязательность для человека факта его собственной телесности, ибо хотя он и заявляет, что «из всего, чему учит меня природа, нет ничего более явного, нежели наличие у меня тела» [Там же. С. 64], замечание о том, что только безумец «мог бы отрицать, что руки эти и все это тело – мои» [Там же. С. 17], сопровождается затем последовательным сомнением в том, что это «безумие» было бы действительно неразумием и иллюстрацией того, что обманчивость восприятия является естественным его свойством [Там же. С. 17–28]. Полемика относительно безумия и неразумия в их отношении к мысли и восприятию, основанная на различном прочтении приведенного отрывка из картезианских размышлений, разгорелась спустя три века [8–10], протянув от Декарта ниточку к современной проблематике различения восприятия и иллюзии и проблематичности как опоры на собственную телесность как на нечто определенное, так и полного отказа от нее. Но еще более близкой к современной мысли о проблематичности человеческой телесности и в то же время – настойчиво телоцентричной – оказывается мысль М. Мерло-Понти, в третьей части своей «Феноменологии восприятия» буквально повторяющего методологический ход Декарта (избегая, впрочем, при этом прямого цитирования) и приходящего к прямо противоположным Декартовой философии выводам.

Вот его описательный пассаж, которым открывается упомянутый текст: «Я размышляю над картезианским *Cogito*, хочу завершить эту работу, чувствую прохладу бумаги под рукой, вижу через окно деревья на бульваре» [6. С. 469]. Читая его, невольно вспоминается та самая (приведенная чуть выше) цитата из Декарта и «это тело, эта бумага, этот огонь» [9]. Текст современного француза – то ли симптом безусловного принятия фигуры Декарта с его пониманием тела, то ли пародия на него. Но если Декарт будет смотреть телом (подобно Сартру с его телом как продолженным сознанием) [11] и на тело, то Мерло-Понти уже в следующем предложении неожиданно (для картезианца) заключит: «Моя жизнь всякий миг устремляется к вещам, находящимся вне меня, вся целиком проходит вовне» [6. С. 469]. И этот поворот мысли представляется весьма симптоматичным.

«Вот», истолкованное как описание «здесь и теперь» в его объективно-объектной данности (то самое *etre la*, против которого так протестовал Хайдеггер, увидев французские переводы своего «Бытия и времени» [12. С. 182]), с неизбежностью приводит не только к неотличимости истины от безумия, но и – даже прежде всякой попытки установления истины – к объектному пониманию человека как тела среди других тел, полностью задаваемого внешними воздействиями, тела-объекта, воспринимаемого через то, что им самим не является и ему не присуще, и описываемого извне.

Но ведь было же еще сознание? Ведь Декарт же вводил «*cogito ergo sum*» и «*esse est percipi*» как две равновозможные (хотя и несовместные) формулы человеческого бытия? «Сознание есть бытие в отношении вещи при посредстве тела» [6. С. 186] – ответит на это М. Мерло-Понти, устранив всякую

возможность дуализма и сведя вопрос о сознании к вопросу о восприятии, а также заранее оправдав телоцентричность и объектный характер современного биоэтического дискурса.

Телоориентированность – характерная черта современного биотехнологического подхода к человеку, отмечаемая различными его исследователями [3, 13, 14]. Биотехнологическое отношение к человеку предполагает, что его тело важнее, чем его сознание. Что человек определяется, подобно вещи, собственной фактичностью. «Вот» – указующий жест, помещение Я как объекта, здесь и сейчас данного в окружении других объектов и этой данностью заданного. А потому неудивительно превращение человека в артефакт [15]. «Проблема человека в эпоху технической воспроизводимости – это прежде всего проблема поиска „золотого сечения“ между природой и артефактом» [13. С. 106], – констатирует О. Попова. И в этом золотом сечении не остается места сознанию.

Человек, понятый биотехнологически, превращается в «вот», в некотором роде даже противоположное «вот-бытию» Хайдеггера, так как «воспроизводя себя как артефакт, человек отчуждает себя от своей смертной уязвимой сущности» [Там же], становясь тем, что сам Хайдеггер именовал «неприсутствияразмерным способом бытия» [16. С. 114–115]. Биотехнологическое «вот» – это вид налично-определенного бытия. Того, что, с точки зрения Хайдеггера, присуще вещам в отличие от человеческого способа быть [Там же] или же того, что, как полагал Сартр, присуще трупам человека в отличие от самого человека [11]. И если Хайдеггера упрекали в деантропологизации философии в связи с отказом от телоцентричности в понимании человека и растворения его в бытии [17. С. 525], то телоориентированную и натуралистическую философию биоэтики можно упрекнуть в андрогинизации и киборгизации, приводящей к потере самой специфики человеческого. Человек без тела (Хайдеггер) превращается в своем «вот-бытии» в тело без человека (биоэтика).

П.Д. Тищенко называет такое движение мысли в современных биотехнологических исследованиях «деструкцией человеческого в человеке» [1. С. 38], чутко улавливая это превращение «вот-бытия» как специфически человеческой формы неналичного присутствия в нечеловеческий способ (не)человеческого бытия.

2. «Вот-вот» бытие: в ожидании новой объектности

Наряду с объективированным «вот-бытием» человеческого тела для биотехнологических изысканий, как и для всей современной мысли, характерно и еще одно движение, наиболее полно выражающееся в определении «вот-вот» [18].

«Вот-вот бытие» – это понятие, введенное П.Д. Тищенко [19] и презентующее нам мысль о том, чего еще нет, но что того и гляди оформится. Станет из проекта (проекта, фантастической научной идеи) – объектом, на который можно указать и с которым можно будет привычно манипулировать, как со всем прочим горизонтом «вот».

Казалось бы, «вот-вот бытие», как и «бытие на пороге» [20], предполагает становление, отнесение к тому, чего нет, настоящее (опять же в духе Хайдеггера) – и тем самым выходит из парадигмы объектного мышления,

смещаясь в сторону мышления «присутствующе-отсутствующего». Казалось бы, «захваченность «вот-вот бытием» предполагает, что в обществе... присутствует ориентация на будущее» [21. С. 1213], и потому человек в нем никак не может мыслиться, исходя из парадигмы «вот-бытия» – парадигмы, абсолютно центрированной настоящим. Однако биоэтический дискурс исходит вовсе не из того промежутка, что находится между уже-бывшим (как тем, что составляло объектность человеческого вот-тела до манипулятивного и/или технологического изменения) и еще-не-ставшим (как тем, что еще только предвосхищается в своей объектности. Напротив, этот зазор, это движение ускользания, характерное для любого человеческого бытия, биоэтическим дискурсом абсолютно игнорируется: он (данный дискурс) строится таким образом, как будто это самое «вот-вот» уже превратилось в свершившийся факт оформления в то новое «вот», которое мы всего лишь предрекаем. Как если бы никакого зазора и вовсе не существовало. И разговор о человеке ведется все в том же объектном ключе, не акцентируя внимания на том, что объект, рассматриваемый как «вот», как наличная данность, пока вовсе не является таковым. А возможно, и никогда не будет являться.

«Вот-вот», помещаемое в перспективу «вот», приводит к неизбежному появлению темы «недочеловека», так же характерной для биоэтических исследований, как и сама объектная парадигма. Исходящие из понимания человека как ставшего, определенного, обнаруживаемого в указательно-обличительном жесте «вот-человек!» «технологии инхенсmenta строятся так или иначе на проведенном различии между человеком как личностью, обладающим правом на жизнь и защиту целостности своего существования, и еще недочеловеком – некоторой вещью, которую как неудачную «заготовку» можно выбросить или подвергнуть весьма рискованным для существования биотехнологическим манипуляциям» [5. С. 25]. Но и «имеющий право» человек рассматривается как объект, как вещь, как «вот» в его нормальности или ущербности, поскольку «базовая ценность, которая лежит в основе желания создавать и использовать биотехнологии инхенсmenta – это власть над телесностью человека со всеми его моральными и физическими качествами» [Там же. С. 24], их изменение и контроль (в духе М. Фуко) [22. С. 2], что оказывается формой манипулирования и владения, формой объектного отношения, центрированного парадигмой «вот». И, поскольку «вот» недочеловека и «вот» постчеловека оказываются в равной степени объектно понятыми и помещенными в одну и ту же перспективу пространственно-настоящего усмотрения, то критериев предпочтения того или другого и установления его в качестве нормы человеческого не обнаруживается.

Человек, понятый как «вот» (независимо от фактического наполнения данного «вот» и времени его становления-наличным), невозможен без отграничительного жеста от иных объектных образований, от иных «вот» (не)человеческого мира – и от концепта недочеловека. И в то же время – обнаружившийся как объект, устанавливаемый не жестом собственного самоуправления (ибо никакие объекты не учреждают себя сами), а взглядом со стороны – человек как «вот» или как «вот-вот человек» становится предметом договора, человеком «договорным». Тем, относительно кого было принято некое волюнтаристское решение (постановим вот это «вот» считать «человеком») в ходе процедуры делиберации [23].

Заключение

Биоэтика — это объектно-ориентированная антропология, помещающая человека в зазор между «вот» наличного тела конечного человека и «вот-вот» ожидаемой определенной материальности не(сверх/пост)человеческого. В полном соответствии с основными постулатами объектно-ориентированной онтологии Г. Хармана, в объектно-ориентированной антропологии биоэтических исследований люди становятся просто «одними из многих других объектов» [24]. И хотя само понимание объекта в первом и втором случае — принципиально разное, сама «доминанта объектности» остается главенствующей в обоих случаях, так как человек понимается в биоэтике как наличное существо, заданное перспективой собственной телесности и колеблющееся между указательно-данным «вот» человеческого тела и проспективно-становящимся и манипулятивно-доступным «вот-вот» его преобразовательного самоустранения. Что при этом не учитывается, так это то, что «есть такая самоидентификация целеполагающего субъекта, которая не тождественна субъективности, воплощенной в смертном теле» [1. С. 23] — и если мы игнорируем существование и даже первостепенную важность такой самоидентификации для человека, то это означает не что иное, как то, что «наше сознание больше не реализовано в человеческом масштабе, оно больше не настроено на антропоцентризм» [25. С. 226].

Опасность всякого улучшения и манипулирования человеческим в человеке, связанная с его технологическим, телесно-ориентированным и объектным пониманием, заключается в том, что благодаря парадигмам «вот» и «вот-вот», сливающимся в биотехнологическом подходе к человеку, как очень точно замечает П.Д. Тищенко, «за спиной реконструкций, конструкций и деконструкций неприметным образом разворачивается тотальная деструкция человеческого в человеке» [1. С. 38], что, в свою очередь, приводит нас к неутешительному выводу, что «новейшие достижения биотехнологий инвестируют в существо человека лишь еще одну (из бесчисленных — бывших, наличных и будущих) тенденцию «преступить себя». Еще в одном плане своего существования человек находит себя стремительно скользящим по ту сторону человеческого в человеке...» [Там же. С. 40].

Список источников

1. Тищенко П.Д. На гранях жизни и смерти: философские исследования оснований биоэтики. СПб. : ИД Мирь, 2011. 331 с.
2. Хайдеггер М. Прологомены к истории понятия времени / пер. Е. Борисова. Томск : Водолей, 1998. 384 с.
3. Тищенко П.Д. Биовласть в эпоху биотехнологий. М. : ИФРАН, 2001.
4. Тищенко П.Д. Человечество: фортуна, риск и игра (опыт эсхатологии) // Биоэтика и гуманитарная экспертиза. 2011. Вып. 5. С. 109–148.
5. Тищенко П.Д. Биотехнологии инхенсента: на пути к третьей утопии? // Рабочие тетради по биоэтике. Вып. 20: Гуманитарный анализ биотехнологических проектов «улучшения человека». М. : Изд-во МГУ, 2015. С. 21–41.
6. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб. : Ювента : Наука, 1999. 608 с.
7. Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом // Сочинения: в 2 т. / пер. с лат. и фр. Т. 2 / сост., ред. и прим. В.В. Соколова. М. : Мысль, 1994. С. 3–73.
8. Деррида Ж. Cogito и история безумия // Письмо и различие / пер. С. Фокина. СПб. : Академический проект, 2000. С. 43–82.

9. Фуко М. Мое тело, эта бумага, этот огонь // Голобородько Д.Б. Концепции разума в современной французской философии: М. Фуко и Ж. Деррида. М. : Изд-во ИФ РАН, 2011. С. 148–176 (Приложение 2).
10. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб. : Университетская книга, 1997. 576 с.
11. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / пер. с фр., предисл. и примеч. В.И. Колядко. М. : Республика, 2000. 639 с.
12. Хайдеггер М. Цолликонеровские семинары / пер. с нем. И. Глуховой. Вильнюс : ЕГУ, 2012. 406 с.
13. Попова О.В. Моральное совершенствование и биотехнологическое улучшение // Знание. Понимание. Умение. 2016. № 4. С. 96–109. DOI: 10.17805/zpu.2016.4.7
14. Юдин Б.Г. Рабочие тетради по биоэтике. Вып. 20: Гуманитарный анализ биотехнологических проектов «улучшения человека». Предисловие. М. : Изд-во МГУ, 2015. С. 5–8.
15. Тищенко П.Д. Deus ex Machina: сакральное и профанное // Биоэтика и гуманитарная экспертиза. 2014. Вып. 8. С. 54–55.
16. Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В.В. Бибихина. М. : Ad Marginem, 1997. 452 с.
17. Проблема человека в западной философии. Переводы / сост. и послесл. П.С. Гуревича; общ. ред. Ю.Н. Попова. М. : Прогресс, 1988. 552 с.
18. Козолупенко Д.П. Пандемия, глокализация и мировоззрение эпохи «пост» // Aesthetica Universalis (Всеобщая эстетика). Ежеквартальный теоретический журнал кафедры эстетики философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 2021. Т. 2, № 14–15. С. 115–128.
19. Тищенко П.Д. Персонализация через объективацию: биомаркеры и большие данные в ПМ // Рабочие тетради по биоэтике: сб. науч. ст. / под ред. П.Д. Тищенко. Вып. 24: Философско-антропологические основания персонализированной медицины (междисциплинарный анализ). М. : МосГУ, 2016. С. 105–130.
20. Павленко А.Н. Бытие у своего порога (посильные размышления). М. : Изд-во ИФРАН, 1997. 211 с.
21. Шевченко С.Ю., Лаврентьева С.В. Междисциплинарная наука и «вот-вот бытие»: мифы о будущем и реальность настоящего // Междисциплинарная коммуникация: казус геномной медицины : сб. науч. ст. / под ред. П.Д. Тищенко, С.Ю. Шевченко. М. : ООО «4 Принт», 2019. С. 116–129.
22. Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness. New York : Dana Press, 2006. 373 p.
23. Реймер М.В. Процедура делиберации в биоэтике // Научные аспекты инновационных исследований: материалы I Международной научно-практической конференции 6–8 марта 2013 г. Секция 8: Философские, педагогические, психологические, социологические, политические науки. Самара, 2013. С. 239–242.
24. Харман Г. Нет никаких причин очищать Вселенную от людей. URL: <https://syg.ma/en/@aliekssandr-14/niet-nikakikh-prichin-ochishchat-vsieliennuiu-ot-liudiei-grem-kharman-omirie-obiektov> (дата обращения: 06.04.2022).
25. Мортон Т. Статья экологичным. М. : Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2019. 240 с.

References

1. Tishchenko, P.D. (2011) *Na granyakh zhizni i smerti: filosofskie issledovaniya osnovaniy bio-etiki* [On the verge of life and death: philosophical studies of the foundations of bioethics]. St. Petersburg: ID Mir.
2. Heidegger, M. (1998) *Prolegomeny k istorii ponyatiya vremeni* [Prolegomena to the history of the concept of time]. Translated from German by E. Borisov. Tomsk: Vodoley.
3. Tishchenko, P.D. (2001) *Biovlast' v epokhu biotekhnologiy* [Biopower in the Era of Biotechnology]. Moscow: RAS.
4. Tishchenko, P.D. (2011) *Chelovechestvo: fortuna, risk i igra (opyt eskhatologii)* [Humanity: Fortune, Risk and Game (Experience of Eschatology)]. *Bioetika i gumanitarnaya ekspertiza*. 5. pp. 109–148.
5. Tishchenko, P.D. (2015) *Biotehnologii inkhensmenta: na puti k tret'ey utopii?* [Biotechnologies of enhancement: on the way to the third utopia?]. *Rabochie tetrady po bioetike*. 20. pp. 21–41
6. Merleau-Ponty, M. (1999) *Fenomenologiya vospriyatiya* [Phenomenology of Perception]. Translated from French. St. Petersburg: Yuventa: Nauka.
7. Descartes, R. (1994) *Sochineniya: v 2 t.* [Works: in 2 vols]. Vol. 2. Translated from Latin and French. Moscow: Mysl'. pp. 3–73.

8. Derrida, J. (2000) *Pis'mo i razlichie* [Writing and Difference]. Translated from French by S. Fokin. St. Petersburg: Akademicheskiy proekt. pp. 43–82.
9. Foucault, M. (2011) *Moe telo, eta bumaga, etot ogon'* [My body, this paper, this fire]. In: Goloborodko, D.B. *Kontseptsii razuma v sovremennoy frantsuzskoy filosofii: M. Fuko i Zh. Derrida* [Concepts of Reason in Contemporary French Philosophy: M. Foucault and J. Derrida]. Moscow: RAS. pp. 148–176.
10. Foucault, M. (1997) *Istoriya bezumiya v klassicheskuyu epokhu* [The History of Madness in the Classical Era]. Translated from French. St. Petersburg: Universitetskaya kniga.
11. Sartre, J.-P. (2000) *Bytie i nictio: Opyt fenomenologicheskoy ontologii* [Being and Nothing: An Experience of Phenomenological Ontology]. Translated from French by V.I. Kolyadko. Moscow: Respublika.
12. Heidegger, M. (2012) *Tsollikonеровские семинары* [Zollikoner seminars]. Translated from German by I. Glukhova. Vilnius: ESU.
13. Popova, O.V. (2016) Moral and biotechnological improvement. *Znanie. Ponimanie. Umenie – Knowledge. Understanding. Skill*. 4. pp. 96–109. (In Russian). DOI: 10.17805/zpu.2016.4.7
14. Yudin, B.G. (2015) *Rabochie tetradi po bioetike. Vypusk 20: gumanitarnyy analiz biotekhnologicheskikh projektov "uluchsheniya cheloveka"*. Predislovie [Workbooks on bioethics. Issue 20: the humanitarian analysis of biotechnological "human improvement" projects. Preface]. Moscow: Moscow State University. pp. 5–8.
15. Tishchenko, P.D. (2014) *Deus ex Machina: sakral'noe i profanno*e [Deus ex Machina: sacred and profane]. *Bioetika i gumanitarnaya ekspertiza*. 8. pp. 54–55.
16. Heidegger, M. (1997) *Bytie i vremya* [Being and Time]. Translated from German by V.V. Bibikhin. Moscow: Ad Marginim.
17. Popov, Yu.N. (ed.) (1988) *Problema cheloveka v zapadnoy filosofii. Perevody* [The problem of man in Western philosophy. Translations]. Moscow: Progress.
18. Kozolupenko, D.P. (2021) *Pandemiya, glokalizatsiya i mirovozzrenie epokhi "post"* [Pandemic, glocalization and the worldview of the "post" era]. *Aesthetica Universalis*. 2(14–15). pp. 115–128.
19. Tishchenko, P.D. (2016) *Personalizatsiya cherez ob"ektivatsiyu: biomarkery i bol'shie dannye v PM* [Personalization through objectification: biomarkers and big data in PM]. In: Tishchenko, P.D. (ed.) *Rabochie tetradi po bioetike* [Workbooks on Bioethics]. Vol. 24. Moscow: Moscow State University. pp. 105–130.
20. Pavlenko, A.N. (1997) *Bytie u svoego poroga (posil'nye razmyshleniya)* [Being at your doorstep (feasible reflections)]. Moscow: RAS.
21. Shevchenko, S.Yu. & Lavrentieva, S.V. (2019) *Mezhdistsiplinarnaya nauka i "vot-vot bytie": mify o budushchem i real'nost' nastoyashchego* [Interdisciplinary science and "just about being": myths about the future and the reality of the present]. In: Tishchenko, P.D. & Shevchenko, S.Yu. (eds) *Mezhdistsiplinarnaya kommunikatsiya: kazus genomnoy meditsiny* [Interdisciplinary communication: an incident of genomic medicine]. Moscow: ООО "4 Print." pp. 116–129.
22. The President's Council on Bioethics. (2006) *Beyond Therapy. Biotechnology and the Pursuit of Happiness*. New York: Dana Press.
23. Reimer, M.V. (2013) *Protседura deliberatsii v bioetike* [Deliberation procedure in bioethics]. *Nauchnye aspekty innovatsionnykh issledovaniy* [Scientific Aspects of Innovative Research]. Proc. of the First International Conference. March 6–8, 2013. Samara. pp. 239–242
24. Harman, G. (n.d.) *Net nikakikh prichin ochishchat' Vselennuyu ot lyudey* [There is no reason to clear the Universe of people]. [Online] Available from: <https://syg.ma/en/@ali Aleksandr-14/niet-nikakikh-prichin-ochishchat-vsieliennuiu-ot-liudiei-grem-kharman-o-mirie-obiektov> (Accessed: 6th April 2022).
25. Morton, T. (2019) *Stat' ekologichnym* [Go green]. Translated from English. Moscow: Ad Marginem Press, Garage Museum of Contemporary Art.

Сведения об авторе:

Козолупенко Д.П. – доктор философских наук, профессор кафедры философской антропологии философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия). E-mail: petrovich.tr@gmail.com, kozolupenko.dp@philos.msu.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Kozolupenko D.P. – Dr. Sci. (Philosophy), professor, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: kozolupenko.dp@philos.msu.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 07.04.2022;
одобрена после рецензирования 20.07.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 07.04.2022;
approved after reviewing 20.07.2022; accepted for publication 27.10.2022*

Научная статья

УДК 316.77

doi: 10.17223/1998863X/69/11

ГИБРИДИЗАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ: СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Татьяна Викторовна Лягошина

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия,
lyagoshina.tatiana@gmail.com*

Аннотация. В статье рассматриваются основные причины гибридизации публичного дискурса и его характерные черты в контексте современного медиапространства. Предпринята попытка проанализировать соответствующие явления с коммуникативной и эпистемологической позиций. В связи с рассмотрением теории познания в условиях информационной перегрузки («инфокризиса») сделан вывод о целесообразности введения в воспитательно-образовательные практики таких предметов, как критика источника и интегративный герменевтический подход к толкованию текстов. Вводится понятие «адаптивного социального знания» как способа оптимального приспособления индивидов и общества к изменяющейся в культурном и ценностном отношении среде обитания. Статья завершается подчеркиванием необходимости общефилософского понимания рассмотренных феноменов и разработки междисциплинарных проектов для их всестороннего исследования.

Ключевые слова: публичный дискурс, медиапространство, гибридизация, масс-медиа, СМИ, информация, коммуникация, познание, знание, общество, социальная реальность

Для цитирования: Лягошина Т.В. Гибридизация публичного дискурса в современном медиапространстве: социальные эффекты и исследовательская перспектива // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 94–103. doi: 10.17223/1998863X/69/11

Original article

HYBRIDISATION OF PUBLIC DISCOURSE IN THE MODERN MEDIA SPACE: SOCIAL EFFECTS AND RESEARCH PROSPECTS

Tatiana V. Lyagoshina

*National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation,
lyagoshina.tatiana@gmail.com*

Abstract. The scope of the studies of mass-media and public discourse transformation processes is vast and multi-faceted, and requires some coordinated interdisciplinary approaches. Meanwhile the current stage of scientific comprehension of the above mentioned topic (from the beginning of the 21st century) may be designated as preliminary and a sort of “reconnaissance” within the “territory” of the modern media space and also an observation of all the diverse processes that are found within it. As a result of such observation, the phenomenon of public discourse hybridisation has been identified as comprising a mixture of cultural, genre, style and language features and characterised by blurring of the boundaries between elitist and mass cultures. This phenomenon is, first of all, based on information and technology development of post-industrial societies, namely, the World Wide Web (Internet) and mass computerisation (especially the fact of mass owning of mobile digital gadgets – smartphones, laptops, etc.). Modern media space public discourse,

seen as a hybrid communicative phenomena despite its ultimate openness and flexibility or rather due to them, leads to situations where the risk of losing initial meaning of transferred messages and also recipient's attention is very high. That also may result in failure of certain communication attempts since the cooperative principles of communication are involuntarily violated. Additionally, the growing lack of trust in received information and the rise of social tension and protesting behaviours are observed as a negative reflection of hybrid public discourse. There is already some scientific evidence of these as caused by the destructive influence of information overload ("info-crisis") on human cognition. It is of the main interest under the circumstances to find ways to raise people's tolerance to information overload and, which seems to be even more important, to educate in them a rational and critical attitude towards any information and to make the learning and knowledge-acquiring processes more effective in general. The social significance of mass-media and public discourse is well recognised and foregrounds the task of conceptualisation and comprehensive studies of their influence on human cognition and world outlook of both reciprocating authors and audience, and also of the need of knowledge, beliefs and prejudices demarcation as well as the results of propaganda, ideology and information noise on information consumers. It seems important in the context of cultural and technological specifics of modern society to introduce the concept "adaptive social knowledge" – the type of knowledge that takes into account all the cultural and axiological features of the period of time studied and can provide both individuals and societies with tools for an optimum adaptation to the current environment changes and civilisation progress.

Keywords: public discourse, media space, hybridisation, mass media, information, communication, cognition, knowledge, society, social reality

For citation: Lyagoshina, T.V. (2022) Hybridisation of public discourse in the modern media space: social effects and research prospects. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 94–103. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/11

Для нашего времени характерен растущий интерес исследователей к проблемам языка масс-медиа и трансформации медиапространства. Масс-медиа играют сегодня, пожалуй, одну из самых важных ролей в жизни общества: они не только формируют информационную картину мира, сообщая аудитории о событиях в ближних и дальних «мирах», о планах и намерениях значимых социальных акторов, но и оказывают влияние на речь и речевое поведение людей, видоизменяя старые и внедряя новые нормы и лексику и являясь полем для развертывания публичного дискурса, порождают и транслируют определенные значения и смыслы, тем самым оказывая разностороннее влияние на все аспекты социальной реальности.

Однако отметим, что масс-медиа современности необходимо понимать расширительно, а именно как совокупность не только органов передачи публичной информации в лице государственных или коммерческих СМИ, что имело место в прежние, «доинтернетные», времена, но и неформальных групп, сообществ, а также отдельных индивидов, продуцирующих разного рода сообщения в общем информационном поле, развернутом на базе Всемирной паутины. Если еще в конце XX в. «бразды правления» публичным дискурсом почти всецело находились в руках власть предержащих (политических и/или финансовых элит), то сегодня лидером мнений, задающим тон и направление публичного дискурса (по крайней мере, на некоторое время) может стать любой человек, который обучен грамоте (это 85% учтенного населения Земли, как указано в Докладе о человеческом развитии ЮНЕСКО, и около 60% из них имеют доступ в интернет [1. С. 230–233]. То есть властные механизмы дискурса, понимаемые как «комплексная, систематическая и

регулярная реализация персуазивных (воздействующих убеждающе) стратегий и приемов воздействия, позволяющих в своей совокупности управлять сознанием и поведением индивида и / или социальных групп», потенциально доступны теперь любому гражданину мира. Соответственно и публичный дискурс должен пониматься также расширительно. И медиапространство новых реалий – это пространство публичных коммуникаций «всех со всеми», создаваемое преимущественно электронными средствами с помощью современных информационных технологий.

Сегодня исследователи публичного дискурса единодушно видят в нем социально-исторически обусловленную, т.е. развивающуюся вместе с обществом организацию речевого взаимодействия. При этом, согласно теории дискурсивной борьбы Лакло и Муфф [2], признается, что никогда и никакой дискурс не может считаться завершенным и / или замкнутым. Дискурсы постоянно меняются, «перетекают» один в другой и соперничают между собой за доминирование, задавая и фиксируя в этом процессе определенные языковые значения (здесь следует заметить, что такие характеристики дискурса, как изменчивость и конкурентность, присущи и другим (по сути, любым) социальным феноменам).

В наше время дело обстоит так, что скорость изменений и интенсивность борьбы дискурсов стремительно возросли и продолжают свой рост. Однако этот рост касается в основном не качественных аспектов упомянутых процессов, а количественных. Причиной тому выдающийся прогресс в области информационных технологий, облегчающих и ускоряющих процессы генерации и трансляции сообщений, а также всевозрастающая доступность этих технологий для все большего количества людей по всему миру. Но является ли такая интенсификация в сфере публичного дискурса благом и к чему она, в конечном итоге, может привести? В качестве одного из вариантов ответа на эти вопросы уместна цитата из П. Вирилио [3]: «В информационном обществе технонаука превращается в массовую технокультуру и больше не ускоряет историю, а порождает лишенное всякого правдоподобия, головокружительное «ускорение реальности» – дромосферу (от греч. «дромос» – скорость, бег, состязание), которое ведет к искажению времени и ускорению всех реальностей: вещей, существ, социокультурных явлений. Восприятие информации теперь определяется не содержанием сообщения, а его скоростью (медленная подача информации становится шумом). Информация (лишенная в глобальной сети контекста) в конечном счете перестает отличаться от дезинформации. Последняя осуществляется сейчас не утаиванием, а информационной перегруженностью».

Так как публичный дискурс, согласно признанной дискурсивной теории Лакло–Муфф, формируется за счет фиксации значений вокруг некоторых узловых точек или «привилегированных знаков» (например, таких, как ставшие уже традиционными концепты «свобода», «демократия», «развитие», «власть», «государство», «здоровье», «счастье», «война», «терроризм» и т.д.), в свою очередь, упорядочивающих и раскрывающих другие знаки, то чем больше в качественном и количественном отношении этих узловых точек актуализируется одновременно, тем больше образуется и циркулирует значений или элементов дискурса, претендующих на обладание значением. Обычно знаки сами по себе «пусты» и обретают специфическое значение, будучи

помещенными в определенный дискурс. Однако «наслаивание» дискурсов, их неизбежное взаимопроникновение и смешение (эти процессы мы обозначим термином «гибридизация») приводят либо к «переполнению» знака и, соответственно, утрате им способности нести конкретное, изначально предполагаемое адресантом или привычное для адресата значение, либо к его игнорированию в связи с размытием фокуса внимания аудитории. Слишком много сил / агентов «сражаются» за право наполнять знаки значениями, одновременно пытаясь помешать другим агентам эти значения изменить или удалить из дискурсивного поля.

Таким образом, публичный дискурс в современном медиапространстве, являясь по своему характеру гибридным коммуникативным феноменом, несмотря на предельную открытость и гибкость, а скорее именно благодаря им, приводит к ситуациям, ограничивающим возможность передачи сообщения без риска утраты его первоначального значения, а также внимания адресата и, по большому счету, к провалу отдельных попыток коммуникации, ибо в таких условиях невольно нарушается принцип коммуникативной кооперации (максимы П. Грайса [4]).

Ранее все высказывания, содержательно и / или идеологически не соответствующие доминирующей теме, вытеснялись за пределы публичного дискурса. Сегодня же поле публичного дискурса настолько широко и технические возможности отдельных индивидов и социальных групп настолько велики и разнообразны, что находится место для любой темы / предмета обсуждения, точки зрения или позиции, и любая из них может найти свою аудиторию, своих адептов, поклонников и последователей и, при определенном стечении обстоятельств, выйти на лидирующие / доминирующие позиции.

Разумеется, и сегодня публичный дискурс, в первую очередь, выбирает из «резервуара» потенциальных значений те, которые, с одной стороны, максимально отражают / выражают актуальную повестку дня, а также обслуживают верования / убеждения и интересы доминирующих на данном этапе времени социальных агентов, но дело в том, что «позиция силы» того или иного агента могут приобретаться и / или утрачиваться сегодня очень быстро, во многом стихийно и малопредсказуемо.

Как следствие, «фокус дискурса» не задерживается долго на одном топике, а если некая тема продолжает муссироваться относительно продолжительное время (пример: Ковид-19), глубина общественной дискуссии уменьшается, снижается экспертность оценок, происходит мифологизация предмета обсуждения, и все это, вместе взятое, зачастую приводит к усугублению и массовому распространению иррационального мышления. Это кажется особенно парадоксальным на фоне достижений современной науки и стремительного развития высоких технологий, но при этом является легко фиксируемым фактом (количество «желтых» медиа ежегодно растет, особенно за счет новых социальных сетей типа Инстаграм, Тик-Ток и им подобных).

Упомянутый комплекс факторов и связанных с ними проблем гибридизации публичного дискурса интересно рассмотреть с точки зрения эпистемологии: как в современном медиапространстве осуществляется процесс познания, отделения фактов от вымысла, обнаружение смысла, формирование знаний. В русле критики классической теории познания можно предполо-

жить, что сегодня мы наблюдаем коммуникативно-интерпретативный поворот в рассмотрении проблематики роли и возможностей субъекта в познавательном процессе и вынуждены признать, что рациональных познавательных средств современному человеку недостаточно и что определяющее влияние начинают оказывать ценности и цели познающего субъекта (как индивида и как члена общества). Если речь не идет о сугубо естественнонаучном дискурсе, который при определенных событиях может составлять большую долю публичного дискурса (как в примере с пандемией Ковид-19), в поле социального становится очевидным, что с процессуальной точки зрения познание здесь основывается на культурно-ценностных ориентирах или критериях, и ведущую роль начинает играть способность субъекта к соотносению этих ориентиров с современными общечеловеческими ценностями и целями, а также с «вневременным» внутренним моральным законом Канта. Таким образом, видится целесообразным введение в воспитательно-образовательные практики разных уровней и специфики, помимо таких предметов, как критика источника, занятий, направленных на развитие современного, интегративного герменевтического подхода к толкованию текстов (в широком смысле термина «текст»).

В подтверждение значимости для социогуманитарной сферы культурно-ценностного компонента в процессе познания и формирования знания можно также упомянуть концепцию археологии знания М. Фуко [5], в которой он исходит из представлений о языковом характере мышления и сводит деятельность людей к дискурсивным практикам, представляющим собой «совокупность анонимных, исторических, детерминированных всегда временем и пространством правил, которые в данной эпохе и для данного социального, экономического, географического или языкового окружения определили условия воздействия высказывания». Для каждой исторической эпохи характерен свой уровень «культурного знания», называемый Фуко эпистемой. Анализируя взгляды Фуко, И. Ильин [6. С. 60–62] выделяет следующее определение эпистемы – это мыслительная и языковая базовая структура, по законам которой образуются, «конституируются» и функционируют все остальные социальные структуры, обуславливающая возможность определенных социальных взглядов, концепций («языковой код») в тот или иной исторический период, основанная на формировании определенного доминирующего дискурса, определяющего способ, которым мир представляется или «видится» социальными субъектами как участниками социальных практик. Здесь «видится» практически означает «познается».

Очевидно, что для эпистемы современного мира характерно интенсивное смешение кодов (предписаний, запретов, свобод и т.д.). По-прежнему во многом предопределяя мышление, а следовательно, и языковое и неязыковое поведение индивида, такая эпистема способствует и ценностному смешению, моральной дезориентации и «неприкаянности» людей, и все эти негативные эффекты имеют в том числе и массовый характер («неприкаянная толпа»). Если ранее было принято подчеркивать, что каждый дискурс – это один из возможных «миров», то сегодня мы можем уверенно констатировать, что современный публичный дискурс – это постоянное смешение, гомогенизация или гибридизация миров («монокультура»).

Среди особенностей современного публичного дискурса можно выделить его чрезвычайную «пестроту» («шрапнель информационного взрыва»), из которой очень сложно вычленить конкретное, определенное и целостное знание. Примечательны в этом отношении наблюдения автора статьи «Глобальная песочница на острове дураков» Т. Воеводиной [7]: «Мелькание – возможно, главная характеристика современного дискурса. Как шестилетка не может сосредоточиться ни на чем дольше пяти минут, а дальше он отвлекается и забывает, о чем шла речь, точно так и современный человек ни на чем не сосредоточен, думает одновременно обо всем – и ни о чем... Такое мельтешение лучше всякой цензуры способно скрыть любые уродства, маневры и манипуляции. Не надо ничего намеренно скрывать и замалчивать, сказать можно все, что угодно. Любое разоблачение будет через пять минут прочно погребено под кучей нового информационного мусора... Миллионы испытывают почти физическую потребность в коротких новостях, передаваемых по всем каналам массовой коммуникации...».

Интернет заставляет не только масс-медиа, но и индивидуальных производителей информации придавать ей калейдоскопическую, мозаичную форму. В связи с этим выделяют специфическую культуру восприятия информации – альтернативную (с лат. *alternatio* – чередование). Основными ее чертами являются фрагментарность и разнородность потребляемой информации, а также навык быстрого переключения между логическими фреймами. Как выразился Э. Тоффлер [8], «...на личностном уровне нас осаждают и ослепляют противоречивыми и не относящимися к нам фрагментами образного ряда, которые выбивают почву из-под ног наших старых идей, обстреливают нас разорванными, лишенными смысла „клипами“, мгновенными кадрами».

Также широко рассматривается сегодня проблема риторизации публичного дискурса, связанная с усложнением способов репрезентации, увеличением числа способов получения и обработки информации и, соответственно, направленная на поиск новых форм коммуникации автора и аудитории. В публичном дискурсе, как отмечает в своей работе Е. Панова [9], доминирует авторский ракурс, авторское, индивидуальное сознание, таким образом, публичный дискурс представляет собой сложный конгломерат индивидуальных риторик. Очевидно, что современное медиапространство серьезно трансформируется и устремлено, с одной стороны, к индивидуализации (множество уникальных авторов), а с другой – к кросскультурной глобализующей коммуникации (единое медиапространство).

Многие исследователи отмечают доминирование в поле современного медиапространства симулякров, а также формирование и распространение множества различных стереотипов, которые представляют собой упрощенное и / или формализованное представление о том или ином аспекте действительности. Во многом это происходит по причине роста отчужденности или разобщенности знания и практического опыта человека и результатов его деятельности. Рост объема информации приводит к невозможности сделать осознанный выбор и непредвзято дать оценку событиям или явлениям ввиду разнообразия точек зрения и версий и как следствие затрудненности ориентации в них. Рано или поздно такая ситуация будет приводить к «столкновению с реальностью», порождающему недоверие всех ко всем и протест про-

тив существующего положения дел, каковым бы оно ни было, так как именно ему, а не «инфокризису» многие приписывают свой психоэмоциональный и даже физический дискомфорт.

Давно отмечено, что зависимость как индивидов, так и социальных институтов от масс-медиа может быть потенциально опасной. Одним из первых о такой опасности заговорил П. Бурдьё: «Я действительно считаю, что телевидение с помощью различных механизмов... подвергает большой опасности самые различные сферы культурного производства: искусство, литературу, науку, философию, право, политическую жизнь и демократию...» [10. С. 22]. По его выражению «поле журнализма», все более подчиняющееся коммерческой логике, оказывает всевозрастающее давление «на другие универсумы». Гуманитарное поле, поле историков, философов, даже поле точных наук получают сегодня значимую оценку извне, со стороны эта оценка вдруг оказывается весомее мнения профессионального сообщества. Из вышесказанного российский ученый И. Дзялошинский делает вывод, что власть масс-медиа (медиакратия) представляет собой реальную силу: «Если представительская демократия подменяет собой общество, то СМИ подменяют собой саму представительскую демократию. Кажется, что они делают это „во имя общества“, на самом деле они действуют по автономной программе, связанной с растворением и новым моделированием общества, а не с его отражением. СМИ являются не только последовательно антидемократической, но и антиобщественной силой. Это не случайное обстоятельство в конкретном обществе – как раз в конкретном обществе это может быть и не так очевидно проявлено. Это внутренняя структура самой медиакратии, ее сущность» [11. С. 274].

Сложная, открытая, динамическая система современного медиапространства является одним из наиболее ярких и успешных продуктов научно-технического прогресса и глобализации. Это пространство без границ, изменившее восприятие человеком и времени, и физического пространства, и себя в них. Оно подвергается стремительной трансформации как в технико-технологическом, утилитарном, так и в ценностном отношении. Порождаемый и поддерживаемый в таком «текущем» медиапространстве публичный дискурс также трансформируется, приобретая новые черты – происходит непрерывная гибридизация всех его основных параметров.

Общепринято, что дискурс должен обеспечивать преобразование информации в смыслы – конструирование знания, а также переход знания между уровнями, взаимопроникновение информации различного типа. Однако мы видим, что при сохранении функции влияния гибридный публичный дискурс во многом утрачивает свою упорядочивающую функцию. Медийные продукты сегодня, представляя собой эволюционное продолжение текстов печатных, веками служивших делу упорядочения знания и формирования целостной картины мира, из-за чрезмерного потока разноречивых, а нередко и противоречивых сведений, наоборот, способствуют бессистемности восприятия информации адресатами, «моральной панике», хронической тревоге, что само по себе порождает чувство недоверия и страха перед окружающей реальностью, даже вне каких-либо катаклизмов, кризисов и иных чрезвычайных ситуаций.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что коммуникативно-дискурсивные механизмы не только помогают людям строить их социальную –

внешнюю по отношению к ним – реальность, но и влияют на глубинные процессы в когнитивной сфере индивидов, реципрокно изменяя возможности для «внешнего» конструирования. В настоящее время активно ведутся работы по изучению связи и взаимного влияния когнитивных, коммуникативно-дискурсивных и культурных процессов [12].

Сеть Интернет, которая, собственно, и является сегодня субстратом глобального медиапространства, из информационной площадки все больше превращается в интеракционную, в некое «электронное вече» и даже «информационное поле брани». Коммуникация в сети начинает превалировать над персональной оффлайн-коммуникацией. Сегодня любой актер социальных сетей может выступать в качестве СМИ, внося свой вклад в формирование публичного дискурса. Следовательно, до тех пор, пока функционирует интернет, ни у кого нет монополии на генерацию и интерпретацию сообщений и, соответственно, монополии на оказание влияния на массовую аудиторию.

Так как конструирование социальной реальности происходит во многом в сфере публичного дискурса и его инструментами и именно в нем закладываются основы и зарождаются потенциалы для выбора направленности и «социальных технологий» дальнейшего развития общества, изучение этой сферы представляет не только академический, но и практический, стратегический интерес для как для национального / регионального, так и для глобального уровней планирования и управления.

Заключительные соображения

Современное медиапространство и публичный дискурс – система в системе. Очевидно, что как одно, так и другое чрезвычайно сложны и обладают свойствами спонтанности, текучести, высокой энтропийности и ограниченной управляемости, что бросает серьезный вызов любому, кто берется их исследовать и / или на них влиять. Несмотря на пристальное внимание представителей самых разных научных дисциплин к вопросам массовой коммуникации, связи языка и жизни общества в условиях глобальной «инфосферы», пока нет единой исследовательской программы в отношении публичного дискурса в современном медиапространстве. Проанализировать вышеупомянутые тенденции развития медиапространства и публичного дискурса и обозначить возможный каркас для такой междисциплинарной программы представляется нам новой, интересной и важной задачей.

Критически важное значение современных масс-медиа и публичного дискурса актуализирует задачу всестороннего осмысления их влияния на сознание и мировоззрение авторов и аудиторий, последовательно меняющихся ролями, на процессы познания, на необходимость «демаркации» знаний от верований и предрассудков, а также от результатов воздействия на потребителя информации пропаганды, идеологических конструкций и информационного шума. В контексте культурных и технологических особенностей современного общества представляется необходимым ввести понятие «адаптивного социального знания» – такого, которое, при учете культурно-ценностной специфики рассматриваемого периода времени, обеспечит и индивидам, и обществу в целом условия для оптимального приспособления к текущим особенностям среды обитания и позитивного цивилизационного прогресса. В этой связи можно вполне определенно утверждать, что исследо-

вание роли публичного дискурса в современном медиапространстве выходит за рамки социологии и коммуникативистики и влечет за собой необходимость общефилософского понимания текущего состояния и перспектив развития этих феноменов и разработки масштабных междисциплинарных исследовательских проектов.

Список источников

1. Доклад о человеческом развитии 2016: Человеческое развитие для всех и каждого / пер. с англ. Human Development Report 2016: Human Development for Everyone. М. : Изд-во «Весь Мир», 2017. 284 с.
2. Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics. London : Verso, 1985. 198 p.
3. Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана / пер. с фр. И. Окуневой. М. : ИТДГК «Гнозис», 2002. 191 с.
4. Grice P. Logics and conversation // Syntax and Semantics 3: Speech Acts. New-York : Academic Press, 1975. P. 41–58.
5. Фуко М. Археология знания / пер. с фр. М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой ; вступ. ст. А.С. Колесникова. СПб. : Гуманитарная Академия : Университетская книга, 2004. 416 с.
6. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М. : Интрада, 1996. 256 с.
7. Воеводина Т. Глобальная песочница на острове дураков // Интернет-журнал RELGA № 16 [254] 05.11.2012. URL: <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3353&level1=main&level2=articles>
8. Тоффлер Э. Третья волна. М. : АСТ, 2010. 800 с.
9. Панова Е.Ю. Риторизация современного медиапространства как фактор релевантности проблемы риторического кода в медиадискурсе // Медиалингвистика. 2019. Т. 6, № 4. URL: <https://www.csu.ru>
10. Бурдье П. О телевидении и журналистике / пер. с фр. Т. Анисимовой, Ю. Марковой ; отв. ред., предисл. Н. Шматко. М. : Фонд научных исследований «Прагматика культуры» : Ин-т эксперим. социологии, 2002. 160 с.
11. Дзялошинский И. Современное медиапространство России: учеб. пособие для студентов вузов. М. : Аспект Пресс, 2015. 312 с.
12. McCombs M., Stroud N.J. Psychology of Agenda-Setting Effects. Mapping the Paths of Information Processing // Review of Communication Research. 2014-01-31. Т. 2, вып. 1. С. 68–93.

References

1. UNO. (2017) *Doklad o chelovecheskom razvitii 2016: Chelovecheskoe razvitie dlya vseh i kazhdogo* [Human Development Report 2016: Human Development for Everyone]. Moscow: Ves' Mir.
2. Laclau, E. & Mouffe, C. (1985) *Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.
3. Virilio, P. (2002) *Informatsionnaya bomba. Strategiya obmana* [The Information Bomb. Strategy of Deception]. Translated from French by I. Okuneva. Moscow: Gnosis.
4. Grice, P. (1975) Logics and conversation. In: Cole, P. & Morgan, J.L. (eds) *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*. New-York: Academic Press. pp. 41–58.
5. Foucault, M. (2004) *Archeology of Knowledge*. Translated from French by M. Rakova, A. Serebryannikova. St. Petersburg: Gumanitarnaya Academia.
6. Ilyin, I.P. (1996) *Poststrukturalizm. Dekonstruktivizm. Postmodernizm* [Poststructuralism. Deconstructivism. Postmodernism]. Moscow: Intrada.
7. Voevodina, T. (2012) Global'naya pesochmitsa na ostrove durakov [Global sandbox on the island of fools]. *RELGA*. 16(254). 5th November. [Online] Available from: <http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=3353&level1=main&level2=articles>
8. Toffler, A. (2010) *Tretiya volna* [The Third Wave]. Translated from French. Moscow: AST.
9. Panova, E. (2019) Ritorizatsiya sovremennogo mediaprostranstva kak faktor relevantnosti problemy ritoricheskogo koda v mediadiskurse [Rhetorization of modern media space as a factor of relevance of the problem of rhetorical code in media discourse]. *Medialingvistika*. 6(4). [Online] Available from: <https://www.csu.ru>

10. Bourdieu, P. (2002) *O televidenii i zhurnalistike* [On television and journalism]. Translated from French by T. Anisimova, Yu. Markova. Moscow: Fond nauchnikh issledovaniy Pragmatika kultury, Institut eksperimentalnoy sotsiologii.

11. Dzyaloshinsky, I. (2015) *Sovremennoye mediaprostranstvo Rossii* [Russian Modern Media Space]. Moscow: Aspekt Press.

12. McCombs, M. & Stroud, N.J. (2014) Psychology of Agenda-Setting Effects. Mapping the Paths of Information Processing. *Review of Communication Research*. 2(1). pp. 68–93

Сведения об авторе:

Лягошина Т.В. – аспирант кафедры истории философии и логики философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: lyagoshina.tatiana@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Lyagoshina T.V. – postgraduate student, Department of the History of Philosophy and Logic, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: lyagoshina.tatiana@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 01.09.2022;
одобрена после рецензирования 20.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 01.09.2022;
approved after reviewing 20.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

Научная статья

УДК 248.21

doi: 10.17223/1998863X/69/12

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТЫ В ОПРЕДЕЛЕНИЯХ МИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА

Алина Михайловна Миронова¹, Сергей Николаевич Астапов²

^{1, 2} *Институт философии и социально-политических наук Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия,*

¹ *woinova@yandex.ru*

² *seastapov@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена исследованию подходов к определению эпистемологического значения мистического опыта. На основе анализа аргументов эссенциалистов и конструктивистов в статье рассматриваются антропологический и социокультурный контексты как формирующие содержание мистического опыта. Мистический опыт представлен как результат специфической деятельности, направленной на то, что субъект опыта и традиция, в которую он включен, полагают сверхъестественным бытием.

Ключевые слова: мистический опыт, конструктивизм, эссенциализм

Для цитирования: Миронова А.М., Астапов С.Н. Социокультурный и антропологический контексты в определениях мистического опыта // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 104–112. doi: 10.17223/1998863X/69/12

Original article

SOCIOCULTURAL AND ANTHROPOLOGICAL CONTEXTS IN DEFINITIONS OF MYSTICAL EXPERIENCE

Alina M. Mironova¹, Sergey N. Astapov²

^{1, 2} *Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation,*

¹ *woinova@yandex.ru*

² *seastapov@yandex.ru*

Abstract. The article is dedicated to the study of approaches to the definition of the epistemological meaning of mystical experience. A researcher cannot confidently assert that a mystical experience took place if they do not know whether a mystical experience is the result of interaction with some transcendent reality. Since neither empirical nor logical verification of statements conveying mystical experience is possible, the only means of verification is the “background knowledge” of tradition that legitimized the individual experience of the mystical. The definition of the determinants of this knowledge is the subject of many years of discussions between essentialists and constructivists. The former speak about the essential constants of mystical experience, which in different traditions are transmitted by different symbols, but are an expression of the same thing – superreality. The latter, arguing that the content of discourse about mystical experience cannot be studied separately from the religious and cultural tradition, as well as from language, deny the single essence of mystical experience. Based on the analysis of the arguments of essentialists and constructivists, the article proposes to consider anthropological (associated with

transformations of personality or consciousness) and sociocultural contexts as forming the content of mystical experience. At the same time, mystical experience is presented as the result of a specific activity – aimed at something that is considered a supernatural (transcendent) reality by the subject of experience and the tradition in which this subject is included. The researcher notices changes in the activity of an individual who states about own experiences of the transcendent reality, and has a reason to speak about the acquisition of a specific experience by the individual. Leaving out of the field of research judgments about the supernatural source of mystical experience and other similar statements as subjective explanations of mystical experience on the part of its bearers, the researcher can consider mystical experience as an anthropological phenomenon, i.e., the result of a specific human activity.

Keywords: mystical experience, constructivism, essentialism

For citation: Mironova, A.M. & Astapov, S.N. (2022) Sociocultural and anthropological contexts in definitions of mystical experience Institute of cooperation: evolution and modern perspectives. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 104–112. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/12

Введение

Когда мистический опыт стал предметом исследований антропологов и психологов, перед исследователями возникли трудности в определении и, соответственно, понимании мистического опыта, связанные прежде всего с тем, что исследователь и носитель мистического опыта – это разные субъекты. Носитель мистического опыта, как правило, к исследовательским сообществам не принадлежит. Результаты его рефлексии над собственным опытом выражаются нестрогими средствами естественного языка. Но поскольку эта рефлексия объектно имеет переживания того, что в повседневном опыте не представлено, мистик переходит к аналогиям, образам и метафорам, чтобы этими средствами указать на невыразимое. Исследователь, если он не решает остановиться на уровне дескрипций, вынужден проверять состоятельность высказываний обладателя мистического опыта теми средствами, которыми располагает его отрасль знания. Проблема состоит в том, что ни эмпирическая, ни логическая верификация этих высказываний невозможны. Остается единственное средство проверки – то «фоновое знание» традиции, которое легитимировало индивидуальный опыт мистика.

Другая проблема связана с тем, что субъектом мистического опыта может быть индивид, не включенный ни в какую религиозную традицию. Исследования XX в. содержат значительный материал по таким разновидностям мистического опыта: эзотерического, спиритуального и т.п. К тому же в современном мире религиозные авторитеты, как и все другие, подвергаются сомнению. Поэтому контекстуальная критериология традиции также утрачивает свое значение.

В такой ситуации единственным способом верификации мистического опыта остается соотнесение его содержания с культурными контекстами бытия субъекта этого опыта, даже если это не контексты традиций. Если тот или иной мистический опыт не отторгается культурным контекстом, а тем более воспроизводится в нем, значит, он релевантен ему.

Основных контекста два: социокультурный и антропологический, они хорошо исследованы и описаны, но в основном порознь и противопоставлены друг другу. Определяющую роль социокультурного контекста в формировании мистического опыта утверждают исследователи-конструктивисты

(С. Кац, К. Келлер, Х. Пеннер, Р. Гимелло и др.). Они полагают, что все мистические опыты феноменологически различны, так как каждый из них культурно детерминирован и культурно специфичен. Следовательно, правильнее говорить не о мистическом опыте как таковом, а об отдельных мистических опытах. Конструктивисты полагают, что при изучении мистического опыта его содержание нельзя отделять от религиозной традиции, культурного контекста, социально-исторической ситуации, а также от языка, от интерпретации, т.е. от дискурса. Их оппоненты, эссенциалисты (У. Стейс, Р. Форман, Э. Ньюберг, Ю. д'Акили и др.), утверждают, что дефиниция мистического опыта передает либо сущностные характеристики особого опыта, либо общие эмпирические свойства некоторых специфических переживаний.

Целью нашей статьи является установление роли социокультурного и антропологического контекстов в формировании содержания мистического опыта. Достижение данной цели реализуется посредством сравнительного анализа эссенциалистского и конструктивистского подходов к его определению. В ходе анализа особое внимание уделяется соотношению вербальных и невербальных компонентов мистического опыта, психологических и эпистемологических его характеристик.

Конструктивизм и эссенциализм о природе и контекстах мистического опыта

С точки зрения конструктивистов, рассуждения о природе опыта мало помогают в понимании специфики этого опыта, потому что переживания становятся опытом тогда, когда о них высказываются. Вербализация и интерпретация мистического опыта – опорные пункты в исследованиях контекстуалистов. Так, С. Кац выдвинул допущение: «Не существует никаких чистых (т.е. непосредственных) опытов. Ни потаенный мистический опыт, ни более привычные формы опыта ни дают никаких указаний или оснований для того, чтобы считать их непосредственными. Этим мы хотим сказать, что всякий опыт протекает, организуется и становится доступным для нас в многосоставных эпистемологических состояниях» [1. Р. 26]. Он утверждает, что все человеческие переживания исходят из социолингвистических отношений. Любой опыт, в частности, мистический, предстает как языковая конструкция, и потому определяется социолингвистическим контекстом. Нет никаких чистых (не опосредованных дискурсом) переживаний, а мистические опыты разных религиозных традиций заметно отличаются, так как они детерминированы понятиями, образами, символами и ценностями, формирующими переживания мистика. Иначе говоря, даже схожие описания мистических опытов не являются одинаковыми описаниями и не обозначают один и тот же опыт [Ibid. Р. 46].

Поскольку любой опыт интерпретируется субъектом через призму его верований, ценностей и культуры в целом, постольку у конструктивистов есть основания считать, что опыты, «произросшие» на одной культурной почве, будут родственными, воспроизводимыми и в итоге, согласно принципу «социального консенсуса», легитимными. Соответственно, опыты, проинтерпретированные кодами других традиций, на этой почве не получают легитимации: они будут объявлены неподлинными, иллюзорными, наваждениями, фантазмагориями и т.п.

В противоположность конструктивистам эссенциалисты указывают, что не существует непреодолимых преград для понимания мистического опыта «чужой» религиозной традиции: как понимания того, что это именно мистический, а не какой-либо иной опыт, так и его содержания. Отсутствие такого понимания делало бы невозможным не только исследования мистического опыта разных традиций, но даже переводы текстов мистиков, потому что любой перевод есть осуществление смыслов одной культуры в другой. Тем более относительный характер эти «преграды» носят для мистиков, как последние сами о том говорят. Например, С. Наср заявляет, что настоящий мистик способен «прорваться» через различия в символах, образах и учениях великих религиозных традиций и познать единую истину, являющуюся источником этих религий и по-разному воплощенную в них [2. Р. 79].

Положение о детерминированности ожиданий мистика социокультурной средой эссенциалисты опровергают случаями мистических переживаний, неожиданных для субъекта, или переживаний, объявляемых религиозной традицией, к которой принадлежит субъект, «неподлинным», «ложным опытом», «соблазном» и т.п. На заявление конструктивистов о том, что это можно интерпретировать как случаи неадекватной вербализации переживаний, эссенциалисты отвечают тем, что даже авторитетные для той или иной традиции мистики отмечали невыразимость мистических переживаний, т.е. неадекватность их выражения при вербализации, а некоторые из этих мистиков подвергались критике за то, что содержание их опыта не соответствует вероучению и нормам религиозной традиции. С точки зрения эссенциалистов, логично допустить, что так же, как в познании есть не только познающий, но и познаваемое, в ситуации мистического опыта есть не только получивший переживания, но и содержащееся в мистических переживаниях нечто, если и зависящее в самом акте переживания от каких-либо условий, то скорее от особенностей переживающего, а не от социокультурных контекстов.

Согласно У. Стейсу, истинный мистический опыт – опыт Единого – внутреннее, субъективное или, в его терминологии, «приватное», а не «публичное» переживание. «Единого» можно постичь только «в глубине „я“, в глубине человеческой личности», посредством интроверсии. Стейс описывает религиозный опыт как «внутреннее субъективное состояние сознания религиозного человека», а мистический опыт представляется для него состоянием «мистического сознания», доступным для интроспективного наблюдения. Основными характеристиками мистического опыта являются «единое сознание», «унифицированное видение», ощущение блаженства [3. Р. 130–132].

Таким образом, эссенциалисты описывают религиозный опыт как психофизиологический феномен, измененное состояние сознания, «единое сознание», «унифицированное видение», а в дискурсе о контекстах делают акцент на контексте антропологическом.

Антропологический и социокультурный контексты мистического опыта с позиции деятельностного подхода

Утверждения конструктивистов о несводимости мистических опытов субъектов, принадлежащих к разным религиозным традициям, в единый род и в то же время очевидная для исследователей религии необходимость отличать мистический опыт от других разновидностей опыта ставят проблему

определения мистического опыта. В то же время эссенциалистские суждения не принимаются религиоведами по причине неverifiedируемости их содержания о реальности, вызывающей мистические чувства, о невыразимости мистического опыта, наличии «чистого опыта», вербализация которого делает его не тождественным чистому сознанию.

Как отмечает Т.В. Малевич, недостатки и эссенциализма, и конструктивизма пытается преодолеть недавно появившийся атрибуционный подход. Его сторонники предлагают использовать «номинальные» определения мистического опыта, которые описывают понимание выраженного в языке концепта «мистический опыт», а не реального опыта: «Такие „номинальные“ дефиниции превращают понятие „мистический опыт“ в градуированную категорию, т.е. категорию, не имеющую фиксированных границ и объединенную по принципу „семейного сходства“, предложенному Л. Витгенштейном... что допускает искусственное расширение или ограничение категории „мистического“ в зависимости от цели исследования» [4. С. 23].

Как представляется, такой подход не решает проблему определения мистического опыта, а лишь методологически более точно ставит ее, заставляя задуматься не только о том, чем обусловлено убеждение субъекта мистического опыта считать свой опыт именно мистическим, но и о том, что вынуждает исследователя соглашаться с этими убеждениями. Вместе с тем он является попыткой соединить сильные аргументы конструктивизма и эссенциализма: учесть и социокультурный, и антропологический контексты мистического опыта, обратить внимание исследователя не только на среду, в которой манифестируется мистический опыт, но и на психологические и когнитивные факторы формирования этого опыта.

Однако возможен еще один подход, который можно назвать деятельностным, поскольку он рассматривает мистический опыт как результат специфической деятельности. Он, в целом, может быть отнесен к тому деятельностному подходу, разработанному в советской философии и психологии (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Э.Г. Юдин, В.С. Швырев), который утверждает, что смысл понятий и представлений у человека порождается характером его деятельности. Если же поставить акцент на специфике понимания отношений со сверхъестественным, определяющим деятельность мистика, то можно апеллировать к высказываниям имевшего мистические переживания В.С. Соловьёва, который отмечал, что мистицизм имеет человеческую природу и представляет собой духовно-личностную деятельность – «творческое отношение человеческого чувства к трансцендентному миру» [5. С. 178]. Несмотря на утверждения эссенциалистов о пассивности индивида в процессе мистических переживаний, изучение различных религиозных традиций дает обширный материал по религиозно-мистическим практикам, что заставляет сомневаться в исключительно пассивной роли субъекта в мистических переживаниях, или, по крайней мере, вынуждает говорить о том, что это тщательно подготовленная пассивность – пассивность, для которой активно создавались необходимые условия.

Действительно, опыт, относясь по преимуществу к чувственной сфере, не ограничивается ею, потому что он, в отличие от переживания, имеет когнитивное значение. Положение о единстве чувственного и рационального познания в опыте, высказанное И. Кантом, наибольшее развитие получило в

советской философии: «У человека познание посредством чувств не выступает в чистом виде, хотя бы по форме оно является мышлением, потому что результаты познания посредством чувств человек выражает в форме суждений (суждения восприятия). Каково бы ни было человеческое познание, оно опосредовано предшествующей практикой, результатами мышления предшествующих поколений, закрепленными в словах. ...Познание, на какой бы ступени оно ни находилось, всегда содержит в себе в той или иной степени моменты рациональной обработки данных чувств...» [6. С. 166]. Поэтому если вести речь о мистическом опыте, именно как опыте, а не об эмоциональном потрясении, служащем лишь фоном или стимулом для когнитивной активности, то следует признать наличие в нем элементов, связанных с деятельностью разума. Поскольку опыт подобного рода очень значим для субъекта (а его значимость никем не оспаривается), постольку субъект будет стремиться сохранить и передать его. И сохранение, и передача с необходимостью предполагают вербализацию и тематизацию опыта, т.е. его рационализацию.

Таким образом, мистический опыт не сводится к пассивному созерцанию или переживанию, а является результатом определенного рода деятельности. Сторонники контекстуализма в отношении данного утверждения могут заявить, что здесь мы попадаем в ловушку лингвокультурной обусловленности понятий: наше понимание опыта и наше возражение против отождествления его с переживаниями имеют смысл только в определенной культуре и только на определенном этапе ее развития – европейской (или западной в противоположность восточным) культуре современной эпохи. С этим заявлением нельзя не согласиться, но им нельзя руководствоваться, если мы желаем остаться в границах научного дискурса. Ведь и язык науки – это язык, сформированный в европейской культуре той эпохи, которая начинается с Нового времени. Смыслы, содержащиеся в концептах разных религиозных традиций разных народов и разных исторических эпох, какими бы уникальными они ни были, неизбежно придется переводить на язык научных описаний.

Более того, даже если свести мистический опыт к чувственности, то нельзя не признать, что так называемая «спонтанность» мистических переживаний возникает не у любого индивида, а у того, кто подготовил себя к таким переживаниям. Разумеется, эта подготовка должна была проходить в какой-то религиозной традиции или хотя бы в какой-то социальной группе, имеющей интерес к мистике. Данная группа будет тем малым «экспертным» сообществом, которому индивид сообщит о своих мистических переживаниях, в котором это сообщение будет определенным образом оценено и интерпретировано. Здесь следует согласиться с С. Кацем в том, что индус, ожидающий опыт Брахмана, получит именно индуистский опыт Брахмана, а не опыт какого-то *x*, который он опишет в привычных для него символах индуизма [1. Р. 26]. Но нужно учесть (а мистики на это особо обращают внимание), что ни сам этот индус, ни кто-либо другой не может быть уверенным в том, что он этот опыт непременно получит. В том, что мистический опыт не может быть «запрограммирован» (т.е. мистические переживания нельзя сознательно вызвать и нельзя получить в этих переживаниях желаемое содержание), заключается одна из особенностей этого опыта.

Последнему заявлению, на первый взгляд, противоречит шаманская практика – шаманы получают мистический опыт «по заказу», т.е. когда нуж-

но и в связи с тем, что содержательно нужно. Однако есть основания считать, что «шаманский опыт» существенно отличается от мистического опыта. Первое и самое главное отличие состоит в том, что не всякое измененное состояние сознания продуцирует мистический опыт. Шаман эксплуатирует свою психофизиологическую предрасположенность и делает это публично, в отличие от мистиков, получающих свой опыт в уединении. Второе отличие состоит в том, что опыт, переживаемый шаманом, является индуцированным посредством психотехник и употребления энтеогенов трансовым состоянием. Так, Г. Кюнг отмечает, что мистический опыт однозначно следует разграничивать с психоделическими феноменами [7. С. 174]. «Подлинный» мистицизм предполагает трансформацию личности, в отличие от состояний, внешне сходных с мистическими, но связанных с приемом энтеогенов, стрессом, стимуляцией определенных зон мозга. Вместе с тем следует отметить наличие широкого понимания мистического опыта, когда он не связывается ни с какой религиозной традицией, а определяется как «опыт измененных состояний сознания, предполагающий разотождествление с физическим телом, а в ряде случаев – с индивидуальным эго, опыт выхода за пределы наличных социальных условий и условностей, а также за пределы обыденных пространственно-временных характеристик» [8. С. 27]. Такое понимание делает и противостояние эссенциалистской и конструктивистской позиций, и исследуемые нами контексты весьма условными, а связь мистического опыта с религиозным весьма неоднозначной, в связи с чем возникает вопрос о специфике содержания мистического опыта.

Заключение

Ни один исследователь мистического опыта, не обладая знанием о том, является ли мистический опыт результатом взаимодействия с какой-то трансцендентной реальностью, не может уверенно утверждать, что имел место именно мистический опыт. Но замечая изменения в деятельности индивида, пережившего, по мнению последнего, мистическую встречу с трансцендентной реальностью, исследователь имеет основания говорить о приобретении тем некоего специфического опыта. Заклучив в кавычки суждения о сверхъестественном источнике мистического опыта и прочие подобные высказывания – как субъективные объяснения мистического опыта со стороны его носителей – исследователь оставляет тезис о человеческой природе мистических переживаний, т.е. о том, что мистический опыт – это феномен антропологический, и он имеет деятельностную, субъективную, психофизиологическую природу.

Деятельная природа мистического опыта не очевидна с первого взгляда. Кажется, что мистическое переживание – нечто такое, что внезапно «снизошло» на мистика. Однако при лучшем знакомстве с мистической и мистиковедческой литературой можно заметить, что мистическому опыту предшествует подчас длительная и упорная подготовка: и соматическая, и психологическая, и идейная. Мистический акт спонтанен, но мистик подготовлен к проявлению этой спонтанности: он готов к самому акту, примерно представляет его содержание и способен вербально выразить его в дискурсе определенного сообщества. Мистический акт – это «ожидаемое неожиданное». Несмотря на всю готовность субъекта, сами переживания оказываются

внезапными, приводящими его в состояние когнитивной депривации: неспособности в ситуации переживания осмыслить, что происходит, потери пространственно-временной ориентации, бездеятельности воли. Они вызывают сильное эмоциональное потрясение, часто сопровождающееся испугом, но затем сменяющееся позитивными эмоциями: восторгом, радостью, умилением, чувством благодати или избранности и т.п. Приятные эмоции служат основой закрепления мистического опыта – благодаря им переживания переходят в опыт: они оказывают эффективное воздействие на личность, остаются в памяти, а их содержание обретает вид сообщений.

Таким образом, социокультурный и антропологический контексты следует рассматривать как взаимодействующие и взаимодополняющие. Мистический опыт нельзя назвать полностью социально и культурно обусловленным, он скорее социокультурно ангажирован. Представления мистика и его мировоззрение в целом формируются в определенной социальной среде с особенностями, обусловленными религиозной традицией, культурой, языком, социально-исторической ситуацией. Но все это преломляется в личности субъекта мистического опыта: то, какие переживания станут опытом, т.е. будут осмыслены как значимые, каким образом мистик выразит содержание своих переживаний, какие коды изберет для этого и кого сделает адресатом своих сообщений – это зависит от его человеческой субъективности.

Список источников

1. Katz S.T. Language, Epistemology, and Mysticism / Ed. by S.T. Katz. *Mysticism and Philosophical Analysis*. Oxford : Oxford University Press, 1978. P. 22–74.
2. Nasr S.H. *Knowledge and the Sacred*. Albany: State University of New York Press, New York, 1989.
3. Stace W.T. *Mysticism and Philosophy*. Macmillan and CO LTD, London, 1961.
4. Малевич Т.В. Теории мистического опыта: историография и перспективы. М. : ИФРАН, 2014.
5. Соловьёв В.С. Философские начала цельного знания : соч. в 2 т. Т. 2. М. : Мысль, 1988.
6. Копнин П.В. Дialeктика как логика. Киев : Изд-во Киевского ун-та, 1961.
7. Кюнз Г. Во что я верю. М. : Изд-во ББИ, 2013.
8. Золотухина-Аболина Е.В. Мистический опыт человека современной культуры: способы описания // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 1 (87). С. 25–36.

References

1. Katz, S.T. (1978) Language, Epistemology, and Mysticism. In: Katz, S.T. (ed.) *Mysticism and Philosophical Analysis*. Oxford: Oxford University Press. pp. 22–48.
2. Nasr, S.H. (1989) *Knowledge and the Sacred*. Albany: State University of New York Press, New York.
3. Stace, W.T. (1961) *Mysticism and Philosophy*. London: Macmillan and CO LTD.
4. Malevich, T.V. (2014) *Teorii misticheskogo opyta: istoriografiya i perspektivy* [Theory of Mystical Experience: Historiography and Prospects]. Moscow: RAS.
5. Soloviev, V.S. (1988) *Filosofskie nachala tsel'nogo znaniya: soch. v 2 t.* [Philosophical Principles of Integral Knowledge. Essays in 2 vols]. Vol. 2. Moscow: Mysl'.
6. Kopnin, P.V. (1961) *Dialektika kak logika* [Dialectics as Logic]. Kyiv: Kyiv University.
7. Kyung, H. (2013) *Vo chto ya veryu* [What I believe in]. Translated from English. Moscow: BBI.
8. Zolotukhina-Abolina, E.V. (2019) *Misticheskii opyt cheloveka sovremennoy kul'tury: sposoby opisaniya* [The mystical experience of a man of modern culture: methods of description]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv – Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts*. 1(87). pp. 25–36.

Сведения об авторах:

Миронова А.М. – специалист по учебно-методической работе Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия). E-mail: woinova@yandex.ru

Астапов С.Н. – доктор философских наук, профессор кафедры философии религии и религиоведения Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия). E-mail: seastapov@yandex.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Mironova A.M. – specialist in educational and methodological work of the Institute of Philosophy and Socio-Political Sciences, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russian Federation). E-mail: woinova@yandex.ru

Astapov S.N. – Dr. Sci. (Philosophy), professor of the Department of Philosophy of Religion and Religious Studies, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russian Federation). E-mail: seastapov@yandex.ru

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 27.02.2022;
одобрена после рецензирования 20.09.2022; принята к публикации 27.10.2022*

*The article was submitted 27.02.2022;
approved after reviewing 20.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

СОЦИОЛОГИЯ

Научная статья
УДК. 316.35.
doi: 10.17223/1998863X/69/13

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП БУРЯТИИ

Елена Викторовна Петрова¹, Аюна Владимировна Бильтрикова²

^{1,2} *Институт монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук, Улан-Удэ, Россия*

¹ *elenapet_05@mail.ru*

² *biltr@mail.ru*

Аннотация. В статье проанализированы представления жителей Бурятии о социальной справедливости, являющейся важной ценностью для подавляющего большинства опрошенных. Сделан вывод о необходимости уменьшения социального расслоения, преодоления межрегионального неравенства, повышения уровня и качества жизни населения республики с целью укрепления основ социальной справедливости, консолидации общества и сохранения его стабильности.

Ключевые слова: Республика Бурятия, социальная справедливость, доходные группы, социальные группы, социальное неравенство

Благодарности: статья подготовлена в рамках государственного задания «Россия и Внутренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного взаимодействия (XVII–XXI вв.)», № 121031000243-5.

Для цитирования: Петрова Е.В., Бильтрикова А.В. Социальная справедливость в представлениях социальных групп Бурятии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 113–125. doi: 10.17223/1998863X/69/13

SOCIOLOGY

Original article

SOCIAL JUSTICE IN THE VIEWS OF SOCIAL GROUPS IN BURYATIA

Elena V. Petrova¹, Ayuna V. Biltrikova²

^{1,2} *Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences (IMBTS SB RAS), Ulan-Ude, Russian Federation*

¹ *elenapet_05@mail.ru*

² *biltr@mail.ru*

Abstract. Based on the data of a sociological survey conducted in 2020–2021, the article analyzes the ideas of the residents of Buryatia about social justice. The authors have established that the problem of social justice is important for the vast majority of the

respondents, who often face its reverse side – injustice. Rural residents with a low financial level and with debts often suffer from social injustice. The respondents consider income inequality and the system of distribution of property to be the most unfair in modern Russia. The authors have revealed that the content of the concept of social justice is connected, first of all, with equality before the law, equality of opportunities and leveling equality, and only secondarily with inequality – distributive and responsible. The analysis of empirical data has shown that the majority of the respondents demonstrate conservative views, associating social justice with a strong state, order and national interests, while the minority appeal to liberal values – democracy, solidarity, freedom. Moreover, the ideas of social justice differ somewhat among different income groups. The higher the income level, the more confident the representatives of this group are in choosing their estimates (as a rule, conservative ones), and vice versa: the lower the income, the more often respondents from low-income income groups find it difficult to answer and almost equally choose conservative and liberal values. The article concludes that social justice in the views of the respondents is not limited to financial issues: also important for them is inter-regional inequality associated with limited areas of residence and life opportunities for residents of the regions, benefits on the periphery of our country, which gives rise to their mass migration to other more prosperous regions of the Russian Federation. Therefore, serious state measures are needed to overcome inter-regional inequality and to ensure a balanced spatial and socioeconomic development of all regions of the country, which will help improve the level and quality of life of the population, improve their social well-being, and strengthen the foundations of social justice.

Keywords: Republic of Buryatia, social justice, income groups, social groups, social inequality

Acknowledgments: The research was carried out within the state assignment (Project “Russia and Inner Asia: Dynamics of Geopolitical, Socioeconomic and Intercultural Interaction (17th–21st Centuries)”, No. 121031000243-5).

For citation: Petrova, E.V. & Biltrikova, A.V. (2022) Social justice in the views of social groups in Buryatia. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 113–125. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/13

Введение

В истории философского знания всегда была актуальна проблема социальной справедливости. Еще со времен античности различные теории государственного и общественного устройства касались справедливого (или несправедливого) распределения ресурсов, богатств, возможностей и привилегий между социальными группами и отдельными личностями, обосновывали морально-правовые модели взаимоотношений человека и общества с соблюдением принципов социальной справедливости.

Социологический аспект феномена социальной справедливости чаще всего связан с тем, что эта категория рассматривается в качестве ценности, способной консолидировать общество и поддерживать его стабильность, а также характеризующей отношение населения к существующим неравенствам. Запрос на социальную справедливость наиболее востребован в условиях общественных трансформаций и изменений социальной структуры. При этом представления о социальной справедливости у социальных групп могут меняться в зависимости от декларируемых в обществе идеологических и политических принципов.

Российскими социологами накоплен значительный опыт изучения темы социальной справедливости в различных сферах общественной жизни [1–7]. Крупнейшие социологические центры страны (ВЦИОМ, ФОМ, ФНИСЦ РАН) десятки лет проводят исследования представлений россиян о справед-

ливых и несправедливых явлениях в российском обществе, обозначая на основе анализа полученных результатов наиболее проблемные вопросы и предлагая меры по их решению.

Востребованность и актуальность подобных исследований в последнее время обусловлена процессами снижения уровня и качества жизни россиян, связанных с мировым экономическим кризисом, международными санкциями и пандемией COVID-19, которые не только привели к сбоям и дисбалансам в социально-экономической сфере по всему миру, включая Россию, но и способствовали углублению социального расслоения, серьезно ухудшив социальное самочувствие населения, а также обострив и без того актуальные проблемы справедливости некоторых явлений и существующих неравенств.

Методология исследования

В 2020–2021 гг. социологи отдела истории, этнологии и социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН) провели инициативное социологическое исследование по проблемам социального неравенства и социальной справедливости в республике. Методом анкетирования (самозаполнение) было опрошено 646 человек (356 человек – в г. Улан-Удэ и 290 человек – в Еравнинском, Прибайкальском, Иволгинском, Тарбагатайском, Кяхтинском и Хоринском сельских районах республики). Выборка многоступенчатая, на последней ступени отбора квотная (пол, возраст, образование, этническая принадлежность), которая репрезентирует взрослое население республики по заданным признакам. В итоге было опрошено 52,63% женщин и 47,37% мужчин; 37,31% респондентов со средним общим образованием, 35,6% – со средним профессиональным и 27,09% – с высшим; 66% русских, 30% бурят и 4% представителей других национальностей; 31,89% респондентов в возрасте 18–29 лет; 18,89% – в возрасте 30–39 лет; 16,72% – 40–49 лет; 17,34% – 50–59 лет; 15,16% – 60 и старше. При определении генеральной совокупности и разработке выборки исследователи опирались на итоги Всероссийской переписи 2010 г. Генеральная совокупность (N) составила 310 722 человека (население в возрасте 18 лет и старше).

В республике специальных исследований проблем социальной справедливости прежде не проводилось, поэтому нам важно было выяснить, существуют ли региональные особенности представлений о социальной справедливости, в чем они выражаются и как связаны с неравенством. При разработке инструментария опирались на методические наработки ИС ФНИСЦ РАН, ВЦИОМ для того, чтобы была возможность сделать сравнительный анализ полученных результатов с общероссийскими.

Результаты исследования

Бурятия по многим показателям социально-экономического развития, характеризующим уровень и качество жизни, находится в последней десятке среди субъектов РФ, занимая в 2016, 2017, 2019 гг. – 76-е, в 2018 – 77-е, в 2020 г. – 81-е, 2021 – 78-е места [8–10], стабильно лидируя в антирейтингах по уровню преступности, загрязненности воздуха, росту онкологических заболеваний, закредитованности населения и др. [11–16]. Все это, несомненно, влияет на

распространение миграционных настроений среди населения, поэтому на протяжении многих лет в регионе ежегодно растет отрицательное сальдо миграции (с 828 человек в 1990 г. до 4 577 в 2018 г.) [17]. В основном уезжают молодые образованные люди в трудоспособном возрасте, нередко с семьями, или выпускники школ для получения высшего образования. Как правило, выбирают крупные города, где выше уровень жизни – Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, а также более теплый по климату Краснодарский край [18–21]. Миграционный отток населения, а также рост смертности и невысокая рождаемость создают предпосылки для уменьшения численности населения республики. Если с 1987 по 2000 г. численность населения республики стабильно была чуть более одного миллиона, то начиная с 2001 г. держится на уровне меньше миллиона (от 960 742 человека в 2009 г. до 981 487 человек в 2022 г.) [22].

Уезжающие из республики уже не задаются вопросом, почему в одной стране уровни жизни в разных регионах серьезно и несправедливо отличаются. Они точно знают, что лучше и комфортнее жить в крупных мегаполисах, расположенных в центральной части России, где проще найти высокооплачиваемую работу, дать хорошее образование детям и не испытывать проблем с инфраструктурными недоразумениями, характерными для отдаленных субъектов нашей страны. Мигранты едут целенаправленно в те места, где значительно выше качество жизни, существуют более благоприятные условия для проживания семьи.

В последние годы новым руководством республики при поддержке федерального центра предпринимаются серьезные усилия и реализуются масштабные проекты для улучшения социально-экономического развития региона, сокращения безработицы, создания рабочих мест, повышения заработной платы и сдерживания постоянно растущего миграционного оттока населения, однако даже их все еще недостаточно – слишком много накопилось серьезных проблем в последние десятилетия постперестроечного периода.

В этой ситуации важно было выяснить, как на фоне существующих проблем в социально-экономическом развитии республики респондентами воспринимается социальная справедливость и как оцениваются социальные явления и процессы, характеризующие современное российское общество с точки зрения их справедливости или несправедливости.

Рассмотрим некоторые результаты проведенного исследования. Как оказалось, каждый второй респондент (41,3%) «часто» испытывал чувство несправедливости от происходящего вокруг, почти половина (48,1%) – «иногда», 8,8% – «практически никогда», «затруднились ответить» 1,7%. То есть мы видим, что проблема социальной справедливости серьезно волнует опрошенных и многие явления и события повседневной жизни они оценивают через ее призму. Причем полученные нами результаты коррелируют с данными общероссийских исследований, проведенных ИС РАН в 2001, 2006, 2013 гг. [4. С. 8–24; 23. С. 7–18; 24. С. 149–171].

Если посмотреть на восприятие происходящего отдельными социальными группами, то видно, что респонденты, которые оценивают материальное положение своей семьи как «плохое» и «очень плохое», чаще сталкиваются с социальной несправедливостью (соответственно 63 и 57,1%), чем те, кто оценивают его как «очень хорошее», «хорошее» и «среднее» (42,9; 33; 36,3%).

Респонденты, имеющие долги (45,3%), также более «часто» испытывали чувство несправедливости в жизни по сравнению с теми, у которых долгов нет (37,4%). Среди проживающих в сельской местности 45,9% респондентов «часто» ощущают несправедливость, в то время как среди горожан таких 37,6%. По мнению 52,4% представителей других национальностей, 42,8% русских и 37% бурят, они «часто» оценивали происходящее вокруг как несправедливое, «иногда» – соответственно 42,9; 46,1; 53,7%.

В исследовании ставилась задача выяснить, что респонденты понимают под социальной справедливостью. В порядке предпочтительности половина опрошенных (50,3%) поставила на первое место *«равенство всех перед законом»*, на второе (42,3%) – равенство возможностей (*«чтобы каждый мог достичь того, на что способен»*), на третье (35,9%) – уравнительное равенство (*«уровень жизни всех должен быть примерно одинаковым, чтобы не было ни богатых, ни бедных»*), на четвертое (34,7%) – распределительное неравенство (*«чтобы положение каждого члена общества определялось его трудовыми усилиями»*) и на последнее (16,9%) – ответственное неравенство (*«гарантии для социально незащищенных, социальную ответственность богатых»*). Каждый восьмой (13,8%) уверен, что *«никакой социальной справедливости в обществе не было и никогда не будет»*. То есть, характеризуя социальную справедливость, подавляющее большинство считает, что она возможна (как в формате равенства, так и неравенства), и только 13,8% – что недостижима.

Если сравнить с результатами общероссийских исследований (ВЦИОМ, 2013 г.), то обнаруживаются общие тенденции выбора респондентами вариантов ответа, поменялись местами только второе и третье. Аналогично нашим результатам лидирует равенство перед законом (36%), далее идет уравнительное равенство (20%), на третьем месте – равенство возможностей (13%), на четвертом – распределительное неравенство (12%), на пятом – ответственное неравенство (11%), уверены, что социальной справедливости не существует, 6% опрошенных [25].

Существуют определенные отличия во взглядах представителей разных этнических групп республики на этот вопрос. Чаще всего совпадают оценки бурят и представителей других национальностей. Так, буряты больше всего делали выбор равенства возможностей (49%) и распределительного неравенства (43,8%), как и представители других национальностей (по 47,6%). В то время как русским ближе идеи уравнительного равенства (40,1%), равенства возможностей (39,1%) и распределительного неравенства (30,1%). Вместе с тем объединяет представления русских и бурят то, что у них в приоритете равенство перед законом (соответственно, 47,9 и 57,3%) в отличие от оценок представителей других национальностей (38,1%), которые ставят этот вариант на второе место. Ответственное неравенство набирает не слишком большое число выборов как у русских (16,4%), так и у бурят (19,3%), но меньше всего у представителей других национальностей (4,7%) (таблица).

Представления о социальной справедливости у городских и сельских жителей соответствуют средним значениям по выборке, однако число выборов сельчан по трем вариантам – равенство возможностей (45,5%), уравнительное равенство (39,7%), распределительное неравенство (38,6%) – превышает ана-

логичные ответы у горожан (соответственно, 39,8; 33,1; 31,4%), в то время как равенство перед законом отметило равное число респондентов как в городе (50%), так и в селе (50,7%).

Распределение ответов на вопрос «В чем, на Ваш взгляд, состоит социальная справедливость?», % опрошенных

Вариант ответа	Русские	Буряты	Другая национальность	Город	Село	Все население
Уровень жизни всех должен быть примерно одинаковым, чтобы не было ни богатых, ни бедных	40,05	27,6	28,57	33,05	39,66	35,97
Положение каждого члена общества должно определяться его трудовыми усилиями	30,09	43,75	47,62	31,36	38,62	34,73
Каждый мог бы достичь того, на что способен	39,12	48,98	47,62	39,83	45,52	42,33
Равенство всех перед законом	47,92	57,29	38,1	50	50,69	50,39
Гарантии для социально незащищенных, социальная ответственность богатых	16,44	19,27	4,76	17,8	15,52	16,9
Никакой социальной справедливости в обществе не было и никогда не будет	14,12	12,5	19,05	14,69	12,76	13,8
Ни с чем из этого не согласен	2,55	0,52	9,52	2,82	1,38	2,17
Затрудняюсь ответить	15,04	9,89	19,05	17,8	8,62	13,65

Примечание. Можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому сумма не равна 100%.
Источник: составлено автором по результатам исследования.

Следующий вопрос позволил охарактеризовать представления респондентов о том, какие явления в современной России можно считать справедливыми, а какие несправедливыми. Респондентам был предложен перечень утверждений, которые они могли бы оценить. Наиболее болезненно опрошенные воспринимают доходное неравенство, считая его абсолютно несправедливым – подавляющее большинство респондентов не готовы мириться с существующей «дифференциацией доходов» (86%) и «системой распределения собственности» (77,1%), а также с тем, что «в некоторых регионах России (включая Бурятию) VIP-пенсионерам доплачивают огромные надбавки к существующим немаленьким пенсиям» (85,6%), «бедные и богатые платят одинаковый подоходный налог в 13%» (82,4%), «руководители государственных предприятий получают заработную во много раз выше, чем их рядовые работники» (71,4%), «люди со средствами могут пользоваться медицинскими услугами более высокого качества» (70,3%). Только одно утверждение из десяти предложенных в вопросе сочли справедливым чуть больше половины респондентов (51,9%) – «что люди со средствами могут покупать себе лучшее жилье», в то время как все другие варианты большинство посчитало несправедливыми.

Вполне очевидно, что наиболее остро воспринимается респондентами именно доходное неравенство, которое во многом регламентирует степень доступности других возможностей и социальных благ. Поэтому, чтобы наше общество стало более справедливым, по мнению респондентов, необходимо бороться с коррупцией (61,2%), осуществлять контроль реализации принципа «равенство всех перед законом» (48%), контролировать распределительное неравенство («чтобы народные богатства не становились собственностью

мошенников») 38%, «повышать зарплаты и пенсии» (37,2%), «сокращать безработицу» (24,5%).

Для того чтобы определить представления респондентов о понимании социальной справедливости, связанной с основополагающими понятиями идеологий консерватизма или либерализма, им был задан дихотомический вопрос. Значительная часть сделала свой выбор в пользу консервативного понимания социальной справедливости – «*социальная справедливость, сильное государство, порядок, национальные интересы*» (39,8%), меньшая предпочла либеральную трактовку – «*социальная справедливость, демократия, солидарность, свобода*» (25,2%), каждому десятому «*не нравится ни то, ни другое*» (11%), и почти четверть респондентов (24%) «*затруднилась ответить*». Как видим, больше половины опрошенных (65%) определились с одним из альтернативных вариантов, в то время как треть респондентов (35%) не смогла выразить свое мнение.

Ответы на аналогичный вопрос, заданный жителям РФ в 2013 г. (ВЦИОМ), показали, что большинство (58%) также выбрало вариант, связанный с сильным государством и национальными интересами, меньшинство (27%) – демократию и свободу [25]. То есть сохраняется общая тенденция, и жителями республики воспроизводится ценность социальной справедливости в связке с сильным государством. Однако, в отличие от общероссийского опроса, данный выбор не получил абсолютного большинства у опрошенных в республике.

Проанализируем представления о социальной справедливости у разных доходных групп. В соответствии с тем, как респонденты сами оценивали свое материальное положение, ориентируясь на типологию ВЦИОМ, условно выделили шесть доходных групп среди участников исследования [26, 27]:

1-я группа – бедные, нуждающиеся («*едва сводим концы с концами, денег не хватает даже на питание*»), 3,9%.

2-я группа – околобедные, уязвимые («*денег хватает только на питание, даже покупка одежды вызывает затруднения*»), 21,3%.

3-я группа – среднедоходные («*доходов хватает на питание и одежду, на покупку вещей длительного пользования приходится копить или брать кредит*»), 51,2%.

4-я группа – обеспеченные («*можем без труда покупать вещи длительного пользования, но затруднительна покупка дорогих вещей*»), 18%.

5-я группа – зажиточные, состоятельные («*можем купить автомобиль, но затруднительна покупка недвижимости*»), 4,5%.

6-я группа – богатые («*ни в чем себе не отказываем*»), 1,1%.

Социальную справедливость в достаточно традиционном для нашего общества понимании, основанном на государственном патернализме, внутри доходных групп поддерживает большинство. Исключения составляют **1-я группа** (бедных, нуждающихся), в которой лишь 16% поддерживает, и **5-я группа** (зажиточных, состоятельных) – 34,5%.

Несмотря на схожесть позиций **1-й** и **5-й** доходных групп, причины поддержки, на наш взгляд, у них, разные. Более подробно рассматривая ответы **группы 5** (зажиточных, состоятельных), мы вновь отмечаем, что 34,5% из них выбирают «*социальную справедливость, сильное государство, порядок, национальные интересы*», а 51,7% – «*социальную справедливость, демокра-*

тию, солидарность, свободу», и только 3,5% ответили, что их «не устраивает ни то, ни другое», «затрудились с ответом» 10,3% из этой группы. То есть значительная часть данной группы, а именно 86,2%, имеет четкую позицию в понимании социальной справедливости и делает выбор в пользу традиционного, или либерального, понимания. Но каков бы ни был выбор этих респондентов, они вполне уверены в своих убеждениях.

В ответах **группы 1** (бедных, нуждающихся) прослеживается отсутствие подобной четкости – 16% выбрали «социальную справедливость, сильное государство, порядок, национальные интересы», 24% выбрали «социальную справедливость, демократию, солидарность, свободу». В то время как значительная часть группы затруднилась с ответом (44%) и 16% респондентов «не нравится ни то, ни другое». То есть большинство (60%) из группы не имеют представления о том, какой должна быть социальная справедливость. Озабоченность проблемами выживания, поиском работы, дополнительных заработков, часто маргинальный образ жизни, обусловленные им узкие интересы и возможности не позволяют данной части населения занять определенную позицию в понимании справедливости. Хотя, казалось бы, эта группа является самой обделенной, незащищенной, чаще всего сталкивается с любыми видами несправедливости, однако общий уровень знаний и образования не позволяют сформулировать собственное мнение и сделать однозначный выбор.

Так, больше половины опрошенных (64%) из **группы 1** (бедные) «часто» испытывали чувство несправедливости от происходящего вокруг, и это самый большой процент среди всех доходных групп. Меньше всего испытывали чувство несправедливости респонденты из **группы 5** (зажиточные, состоятельные) – 27,6%. Ответы остальных групп колеблются в пределах и немного выше 40%, причем из **группы 6** (богатых) в том числе.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в **группе 6** (богатые) больше всего выборов было сделано в пользу «*социальной справедливости, сильного государства, порядка, национальных интересов*» (57,1%), только 14,3% выбрали «*социальную справедливость, демократию, солидарность, свободу*», «затрудились с ответом» также 14,3%. Этот, на наш взгляд, парадоксальный результат может быть обусловлен неоднородным составом данной группы.

В вопросе о том, в чем же состоит социальная справедливость, наиболее популярными во всех шести группах оказались ответы «*в том, чтобы уровень жизни всех был примерно одинаковым, не было ни богатых, ни бедных*» (уравнительное равенство), «*в том, чтобы положение каждого члена общества определялось его трудовыми усилиями*» (распределительное неравенство), «*в том, чтобы каждый мог достичь того, на что способен*» (равенство возможностей), но большинство выбрали «*равенство всех перед законом*», что соответствует средним значениям по выборке.

В каждой из пяти доходных групп равенство перед законом получило наибольшее число выборов респондентов, кроме **группы 2** (околобедные, уязвимые), которые предпочли уравнительное равенство, поставив равенство перед законом на второе место. Наибольший процент тех, кто выбрал равенство перед законом, приходится на **группу 6** (богатых) – 85,7%, **группу 5** (зажиточных, состоятельных) – 67%, в то время как менее обеспеченные группы этот ответ выбирали несколько реже и доля выбора у них варьирует от 40% в **группе 1** до 52% в **группе 3**. То есть наиболее благополучные в ма-

териальном отношении группы, по сравнению с менее состоятельными, демонстрируют в целом четкую, осознанную позицию и сложившиеся взгляды, которые достаточно консервативны, причем затрудняется с ответом в этих группах небольшое число респондентов.

Наблюдается довольно интересный разброс мнений по варианту *«в том, чтобы уровень жизни всех был примерно одинаковым, не было ни богатых, ни бедных»* (уравнилельное равенство). Такие полярные группы, как **группа 2** (околобедные, уязвимые) и **группа 6** (богатые), выбирали данный вариант чаще других – 44,2 и 57,1% соответственно. Выбор других колеблется в пределах 30%. Как видим, **группа 6** довольно часто в некоторых своих выборах выражает симпатию традиционным, консервативным взглядам, их ответы демонстрируют схожесть представлений с группами менее обеспеченных респондентов. Разумеется, группы богатых, так же как и все другие группы, неоднородны, путь к материальному благосостоянию складывался у всех по-разному, однако многие из них родились и выросли в советское и постсоветское время, очевидно, успев впитать в себя представления о социальной справедливости, близкие консервативным взглядам.

Социальная справедливость *«в том, чтобы положение каждого члена общества определялось его трудовыми усилиями»* (распределительное неравенство) предпочтительна для 55,2% из **группы 5** (зажиточных, состоятельных) и 57,1% из **группы 6** (богатых). Выбор остальных колеблется в пределах 30%, и это достаточно высокий процент, который означает, что средние по доходам и малообеспеченные группы в целом поддерживают разные формы социальной справедливости, а не только те, которые стремятся ко всеобщему равенству. Но ни один респондент из **групп 1** (бедные, нуждающиеся) и **6** (богатые) не выбрал ответственное неравенство (*«гарантии для социально незащищенных, социальная ответственность богатых»*), в то время как в других доходных группах этот вариант набрал от 16 до 20%.

Выводы

Результаты проведенного нами социологического исследования свидетельствуют о том, что представления респондентов о социальной справедливости при схожести с общероссийскими тенденциями отличаются и некоторые региональные особенности.

Проблема социальной справедливости является важной для подавляющего большинства жителей Бурятии, которые нередко сталкиваются с ее обратной стороной – несправедливостью, от которой чаще страдают жители сельской местности с невысоким уровнем материального положения и долгами. Самым несправедливым в современной России респонденты считают доходное неравенство и систему распределения собственности.

Однако социальная справедливость не сводится только к материальным моментам, важное значение имеет и межрегиональное неравенство, которое создает условия с ограниченными пространственными возможностями и жизненными шансами для жителей регионов, расположенных на периферии нашей страны, что порождает их массовую миграцию в другие более благополучные субъекты РФ.

Содержательно понятие социальной справедливости для опрошенных связано, прежде всего, с равенством – равенством перед законом, равенством

возможностей и уравнительным равенством и только во вторую очередь – с неравенством – распределительным и ответственным.

Большинство респондентов демонстрирует консервативные взгляды, ассоциируя социальную справедливость с сильным государством, порядком и национальными интересами, в то время как меньшинство выбирает либеральные ценности – демократию, солидарность, свободу. Несколько отличаются представления о социальной справедливости разных доходных групп. Чем выше уровень дохода, тем более уверены представители этой группы в выборе своих оценок (как правило, консервативных) и наоборот – чем ниже доход, тем чаще респонденты малообеспеченных доходных групп затрудняются с ответом или чуть больше выбирают либеральные ценности.

Как показало наше исследование, запрос со стороны населения на социальную справедливость колоссален. Не в последнюю очередь это связано с тем, что в Конституции РФ закреплено положение о социальном государстве, которое «создает условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека» и гарантирует соблюдение социальной справедливости [28]. Соответственно, реализация принципа социальной справедливости способствует сохранению стабильности государства и консолидации общества, снижению рисков социальной напряженности. Достичь абсолютной социальной справедливости, скорее всего, невозможно, но повышать ее уровень в современном российском обществе необходимо. Причем, на наш взгляд, в большей мере это должно касаться удаленных от «центра» РФ регионов в связи с существующим территориально-поселенческим неравенством страны, которое детерминирует различия в уровне жизни, шансах и возможностях, степени доступности к социальным благам не в пользу последних и формирует не всегда позитивные социальные настроения населения. В то время как повышение уровня и качества жизни населения, связанное с преодолением межрегионального неравенства и сбалансированным пространственным и социально-экономическим развитием всех регионов страны, будет способствовать уменьшению социального расслоения, улучшению социального самочувствия, укреплению основ социальной справедливости, консолидации общества и сохранению его стабильности.

Список источников

1. «Идеальное общество» в мечтах людей в России и в Китае / М.К. Горшков и др. ; отв. ред. М.К. Горшков, П.М. Козырева, Ли Пэйлинь, Н.Е. Тихонова. М. : Новый хронограф, 2016. 424 с.
2. Гофман А.Б. Справедливость как социологическая идея от классики к современности // Личность. Культура. Общество. Международный журнал социальных и гуманитарных наук. 2017. Т. 19, вып. 1–2 (93–94). С. 65–79.
3. Данилова Е.Н. Периоды изменений в социальной политике и представлениях о социальной справедливости в России // Социологическая наука и социальная практика, 2015. № 2. С. 18–50.
4. Проблемы социального равенства и справедливости в России и Китае / М.К. Горшков [и др.] ; отв. ред. М.К. Горшков, П.М. Козырева, Ли Пэйлинь, М.Ф. Черныш. М. : Новый Хронограф, 2021. 584 с.
5. Римский В.Д. Справедливость в современной России: мечты и использование в социальных практиках // Общественные науки и современность. 2013. № 5. С 27–36.
6. Руденкин В.Н. Проблема справедливости в современном российском обществе // Вопросы управления. 2014. № 1(7). С. 117–126.
7. Фадеев П.В. Социальная справедливость в региональном измерении // Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость (Екатеринбург, 19–21 октября

2016 года): материалы V Всероссийского социологического конгресса / отв. ред. В.А. Мансуров. 2016. С. 4282–4292.

8. Названы лучшие по качеству жизни регионы России. URL: <https://ria.ru/20200217/1564852684.html> (дата обращения: 15.03.2022).

9. Названы регионы России с самым высоким качеством жизни. URL: https://ria.ru/20210215/zhizn-1597464812.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1613349793000 (дата обращения: 05.03.2022).

10. Названы лидеры по качеству жизни среди регионов России. URL: <https://ria.ru/20220214/zhizn-1772617188.html> (дата обращения: 05.03.2022).

11. Бурятию покидают семьями из-за плохой экологии и в поисках лучшей жизни. URL: <https://ulanude.bezformata.com/listnews/buryatiyu-pokidayut-semyami-iz-za-plohoj/82290034/> (дата обращения: 24.02.2022).

12. Бурятия в топе антирейтинга по качеству работы транспорта. URL: <https://www.baikal-media.ru/news/society/364635/> (дата обращения: 24.03.2022).

13. Бурятия вторая в России по числу случаев загрязнений воздуха. URL: <https://www.baikal-daily.ru/news/16/402813/> (дата обращения: 15.02.2022).

14. Бурятия оказалась на дне рейтинга задолженности по кредитам. URL: <https://www.baikal-daily.ru/news/15/304020/> (дата обращения: 15.03.2022).

15. Бурятия остается аутсайдером в рейтинге регионов по качеству жизни. URL: <https://www.baikal-daily.ru/news/15/384548/> (дата обращения: 24.03.2022).

16. В Улан-Удэ отравленный воздух вызвал всплеск заболеваний у детей. URL: <https://gazeta-n1.ru/news/71016/> (дата обращения: 15.03.2022).

17. Общие итоги миграции населения Бурятии. URL: <https://burstat.gks.ru/demo> (дата обращения: 15.05.2022).

18. Жители Бурятии массово уезжают на юг. URL: <https://www.baikal-daily.ru/news/15/189781/> (дата обращения: 24.03.2022).

19. Жители Бурятии продолжают бегство на запад России. URL: <https://www.infpol.ru/197089-zhiteli-buryatii-prodolzhayut-begstvo-na-zapad-rossii/> (дата обращения: 24.02.2022).

20. Жители Бурятии чаще всего «убегают» в Иркутск и к морю. URL: <https://www.baikal-daily.ru/news/15/402815/> (дата обращения: 15.03.2022).

21. Отток населения из Бурятии вырос почти на 50 процентов. URL: <https://gazeta-n1.ru/news/69349/> (дата обращения: 15.02.2022).

22. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2019.pdf (дата обращения: 20.03.2022).

23. Социальное неравенство в социологическом измерении. Аналитический доклад. М.: ИС РАН, 2006. С. 8. URL: https://www.isras.ru/analytical_report_Social_inequality.html (дата обращения: 25.02.2022).

24. Бедность и бедные в современной России / под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2014. 320 с. <https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/b3f2gwwyvhv-direct/175314588> (дата обращения: 10.03.2022).

25. Социальная справедливость: как мы ее понимаем // ВЦИОМ. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/sotsialnaya-spravedlivost-kak-my-eyo-ponimaem> (дата обращения: 25.02.2022).

26. Бедность отступает, но средний класс по-прежнему в дефиците // ВЦИОМ. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/bednost-otstupayet-no-srednij-klass-po-prezhnemu-v-deficite> (дата обращения: 10.03.2022).

27. Материальное положение россиян в 2005–2015 гг. // ВЦИОМ. URL: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/materialnoe-polozhenie-rossiyan-2005-2015> (дата обращения: 10.03.2022).

28. Конституция Российской Федерации. URL: <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm> (дата обращения: 10.03.2022).

References

1. Gorshkov, M.K., Kozyreva, P.M., Peylin, L. & Tikhonova, N.E. (eds) (2016) *“Ideal'noe obshchestvo” v mechtakh lyudey v Rossii i v Kitae* [“Ideal society” in the dreams of people in Russia and China]. Moscow: Novyy khronograf.

2. Hoffman, A.B. (2017) *Spravedlivost' kak sotsiologicheskaya ideya ot klassiki k sovremennosti* [Justice as a sociological idea from the classics to the present]. *Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo – Personality. Culture. Society*. 19(1–2). (93–94). pp. 65–79.

3. Danilova, E.N. (2015) Periods of Changes in Social Policy and Concepts of Social Justice in Russia. *Sotsiologicheskaya nauka i sotsial'naya praktika – Sociological Science and Social Practice*. 2. pp. 18–50. (In Russian).
4. Gorshkov, M.K. et al. (2021) *Problemy sotsial'nogo ravenstva i spravedlivosti v Rossii i Kitae* [Problems of social equality and justice in Russia and China]. Moscow: Novyy Khronograf.
5. Rimskiy, V.D. (2013) Spravedlivost' v sovremennoy Rossii: mechty i ispol'zovanie v sotsial'nykh praktikakh [Justice in contemporary Russia: dreams and use in social practices]. *Obshchestvennyye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World*. 5. pp. 27–36.
6. Rudenkin, V.N. (2014) Problema spravedlivosti v sovremennom rossiyskom obshchestve [The problem of justice in contemporary Russian society]. *Voprosy upravleniya*. 1(7). pp. 117–126.
7. Fadeev, P.V. (2016) Sotsial'naya spravedlivost' v regional'nom izmerenii [Social Justice in the Regional Dimension]. *Sotsiologiya i obshchestvo: sotsial'noe neravenstvo i sotsial'naya spravedlivost'* [Sociology and Society: Social Inequality and Social Justice]. Proc. of the 5th Sociological Congress. Yekaterinburg, October 19–21, 2016. pp. 4282–4292.
8. RIA. (n.d.) *Nazvany luchshie po kachestvu zhizni regiony Rossii* [The best regions of Russia in terms of quality of life]. [Online] Available from: <https://ria.ru/20200217/1564852684.html> (Accessed: 15th March 2022).
9. RIA. (n.d.) *Nazvany regiony Rossii s samym vysokim kachestvom zhizni* [The regions of Russia with the highest quality of life]. [Online] Available from: https://ria.ru/20210215/zhizn-1597464812.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1613349793000 (Accessed: 5th March 2022).
10. RIA. (n.d.) *Nazvany lidery po kachestvu zhizni sredi regionov Rossii* [The leaders in terms of quality of life among the regions of Russia]. [Online] Available from: <https://ria.ru/20220214/zhizn-1772617188.html> (Accessed: 5th March 2022).
11. Shevchenko, A. (2020) *Buryatiyu pokidayut sem'yami iz-za plokhoy ekologii i v poiskakh luchshey zhizni* [Families leave Buryatia due to poor ecology and in search of a better life]. [Online] Available from: <https://ulanude.bezformata.com/listnews/buryatiyu-pokidayut-semyami-iz-zaplohoj/82290034/> (Accessed: 24th February 2022).
12. BMK. (2020) *Buryatiya v tope antireytinga po kachestvu raboty transporta* [Buryatia is in the top of the anti-rating in terms of the quality of transport]. [Online] Available from: <https://www.baikal-media.ru/news/society/364635/> (Accessed: 24th March 2022).
13. Baikal-daily.ru. (2020a) *Buryatiya vtoraya v Rossii po chislu sluchaev zagryazneniy vozdukh* [Buryatia is the second in Russia in terms of the number of cases of air pollution]. [Online] Available from: <https://www.baikal-daily.ru/news/16/402813/> (Accessed: 15th February 2022).
14. Baikal-daily.ru. (2018) *Buryatiya okazalas' na dne reytinga zadolzhennosti po kreditam* [Buryatia was at the bottom of the credit debt rating]. [Online] Available from: <https://www.baikal-daily.ru/news/15/304020/> (Accessed: 15th March 2022).
15. Baikal-daily.ru. (2020b) *Buryatiya ostaetsya autsayderom v reytinge regionov po kachestvu zhizni* [Buryatia remains an outsider in the ranking of regions in terms of quality of life]. [Online] Available from: <https://www.baikal-daily.ru/news/15/384548/> (Accessed: 24th March 2022).
16. Gazeta-n1.ru. (2019) *V Ulan-Ude otravlenный воздух вызвал всплеск заболеваний у детей* [In Ulan-Ude, polluted air caused a surge in diseases in children]. [Online] Available from: <https://gazeta-n1.ru/news/71016/> (Accessed: 15th March 2022).
17. Burstat. (n.d.) *Obshchie itogi migratsii naseleniya Buryatii* [General results of the migration of the population of Buryatia]. [Online] Available from: <https://burstat.gks.ru/demo> (Accessed: 15th May 2022).
18. Baikal-daily.ru. (2016) *Zhiteli Buryatii massovo uezzhayut na yuga* [Residents of Buryatia are leaving en masse for the south]. [Online] Available from: <https://www.baikal-daily.ru/news/15/189781/> (Accessed: 24th March 2022).
19. Ivanov, A. (2019) *Zhiteli Buryatii prodolzhayut begstvo na zapad Rossii* [Residents of Buryatia continue to flee to the west of Russia]. [Online] Available from: <https://www.infpol.ru/197089-zhiteli-buryatii-prodolzhayut-begstvo-na-zapad-rossii/> (Accessed: 24th February 2022).
20. Baikal-daily.ru. (2020c) *Zhiteli Buryatii chashche vsego "ubegayut" v Irkutsk i k moryu* [Residents of Buryatia most often "run away" to Irkutsk and to the sea]. [Online] Available from: <https://www.baikal-daily.ru/news/15/402815/> (Accessed: 15th March 2022).
21. Subbotin, A. (2018) *Ottok naseleniya iz Buryatii vyros pochni na 50 protsentov* [The outflow of the population from Buryatia has increased by almost 50 percent]. [Online] Available from: <https://gazeta-n1.ru/news/69349/> (Accessed: 15th February 2022).

22. Russia. (2019) *Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli. 2020* [Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2020]. [Online] Available from: https://www.gks.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2019.pdf (Accessed: 20th March 2022).

23. Institute of Sociology, RAS. (2006) *Sotsial'noe neravenstvo v sotsiologicheskom izmerenii. Analiticheskiy doklad* [Social inequality in the sociological dimension. An analytical report]. Moscow: IS RAS. p. 8. [Online] Available from: https://www.isras.ru/analytical_report_Social_inequality.html (Accessed: 25th February 2022).

24. Gorshkov, M.K. & Tikhonova, N.E. (eds) (2014) *Bednost' i bednye v sovremennoy Rossii* [Poverty and the poor in contemporary Russia]. Moscow: Ves' Mir. [Online] Available from: <https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/b3f2gwyhv/direct/175314588> (Accessed: 10th March 2022).

25. VTsIOM. (2013) *Sotsial'naya spravedlivost': kak my ee ponimaem* [Social justice: how we understand it]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/sotsialnaya-spravedlivost-kak-my-eyo-ponimaem> (Accessed: 25th February 2022).

26. VTsIOM. (2008) *Bednost' otstupayet, no sredniy klass po-prezhnemu v defitsite* [Poverty is receding, but the middle class is still in short supply]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/bednost-otstupayet-no-srednij-klass-po-prezhnemu-v-defitsite> (Accessed: 10th March 2022).

27. VTsIOM. (2005) *Material'noe polozhenie rossiyan v 2005 – 2015 gg.* [The financial situation of Russians in 2005–2015]. [Online] Available from: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/materialnoe-polozhenie-rossiyan-2005-2015> (Accessed: 10th March 2022).

28. Russia. (n.d.) *Konstitutsiya Rossiyskoy Federatsii* [The Constitution of the Russian Federation]. [Online] Available from: <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm> (Accessed: 10th March 2022).

Сведения об авторах:

Петрова Е.В. – доктор социологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ, Россия). E-mail: elenapet_05@mail.ru

Бильтрикова А.В. – кандидат социологических наук, научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ, Россия). E-mail: biltr@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Petrova E.V. – Dr. Sci. (Sociology), Docent, leading researcher, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IMBTS SB RAS) (Ulan-Ude, Russian Federation). E-mail: elenapet_05@mail.ru

Bilrikova A.V. – Cand. Sci. (Sociology), researcher, Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IMBTS SB RAS) (Ulan-Ude, Russian Federation). E-mail: biltr@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.03.2022;
одобрена после рецензирования 17.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 25.03.2022;
approved after reviewing 17.09.2022; accepted for publication 27.10.2022

Научная статья

УДК 303.425.2

doi: 10.17223/1998863X/69/14

ОПЫТ ИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО И ИВЕНТ-ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИОЛОГИИ ИСКУССТВА

Евгений Александрович Попов

Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия, popov.eug@yandex.ru

Аннотация. В статье дается обзор исследований проблематики искусства с применением методов ивент-анализа и интенционального анализа. Акцент сделан на опыте современных исследований искусства в западной отраслевой социологии. Установлено, что указанные методы позволяют расширить эмпирическое поле искусства, сделать искусство более привлекательным объектом для изучения социологами.

Ключевые слова: социология искусства, ивент-исследования, интенциональный анализ

Для цитирования: Попов Е.А. Опыт интенционального и ивент-исследования в современной зарубежной социологии искусства // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 126–141. doi: 10.17223/1998863X/69/14

Original article

THE EXPERIENCE OF INTENTIONAL AND EVENT ANALYSIS IN MODERN FOREIGN SOCIOLOGY OF ART

Evgenij A. Popov

Altai State University, Barnaul, Russian Federation, popov.eug@yandex.ru

Abstract. The article evaluates the experience of using two relatively new methods for modern sociology of art. The need for such a perspective can be explained by the increasing competition between the sociology of art and empirical aesthetics. In such a situation, the review of new strategies in modern art research opens up prospects for their widespread use at the sectoral and interdisciplinary levels. The article discusses event analysis and intentional analysis. The first method allows us to consider art as a set of events (event analysis): it is not the traditional approach to the study of art that is taken into account (for example, the identification of the ideological and artistic or stylistic originality of a work of art), but the demand among recipients, involvement in megaprojects, exhibitions, the creation of sociopolitical connotations, etc. At the same time, events related to art unfold in museums, galleries, on the streets in public places, during other events. The second method is adopted from philosophical phenomenology (Husserl, Brentano) and is a measurement of the moods of society that arise and change from contact with art. At the same time, the key point is the evaluation of the role of art in achieving certain goals – social, political, economic. Compared with traditional methods used in the relevant branch of sociology, these research directions allow us to consider art and its forms as an “empirical field” in which a special role is assigned to the researcher and recipients (informants), and art is regarded as a “standard” object for research along with others. This is how the so-called context is formed – the “new” sociology of art, which is forced to compete with empirical aesthetics, the subject field of which is not the beautiful as the most important criterion for the existence of art, but society, which is able to form the status of the beautiful in art itself due to ideological, religious and other mechanisms.

Keywords: sociology of art, event research, intentional analysis

For citation: Popov, E.A. (2022) The experience of intentional and event analysis in modern foreign sociology of art. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 126–141. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/14

Введение

При всей деликатности и многозначности ключевого объекта для исследования – искусства – соответствующая отраслевая социология продолжает активно развиваться и формировать новые научные направления. В западной социогуманитарной мысли намечился и последовательно воплощается в жизнь тренд *новой* социологии искусства, в которой на первое место выдвигается «глобальная перспектива»: искусство оценивается не в совокупности произведений, не с точки зрения их идейно-художественного своеобразия, стиля, жанра и т.д., а с позиции его масштабного «обезграничивания» и вымещения за пределы каких-либо социальных полей. Например, в концепции испанских социологов A.R. Morató и Á.S. Asuña *новая* социология искусства представлена как глобальный проект, ставящий своей основной целью отказ от «транслирования» мирового искусства и создание, по сути, его современной альтернативы – эмпирического поля искусства (*campo empírico del arte*)¹. Исследователи делают ставку на то обстоятельство, что необходимость личностного отношения к произведению искусства, в целом к искусству уже не является столь значимой, но, с другой стороны, эмпирическое поле искусства позволяет вывести на первый план гносеологического субъекта, познающего искусство на уровне исследовательской рецепции [2]. Иными словами, по подобию Р. Барта с его концептом «смерти автора» [3] испанские ученые моделируют ситуации, когда приоритет личностного восприятия искусства заменяется более определенным и эвристически ценным «эмпирическим восприятием», базирующимся не на личных эмоциях и переживаниях отдельно взятого субъекта, а на обоснованных эмпирикой «выкладках», раскрывающих характер социальной рефлексии. Вероятно, *новая* социология искусства в таком случае переосмысливает роль самого социолога в изучении искусства, отдавая ему первенство и акцентируя внимание на необходимости тщательных эмпирических изысканий в указанной сфере. Но также следует обратить внимание и на обстоятельство, что *новая* социология меняет расстановку сил в рецепции главного для нее объекта исследования: искусство в «эмпирическом поле»² переходит из разряда деликатных (и даже интимных) феноменов в разряд сугубо эмпирических, а к ним, следовательно, уже применимы и допустимы определенные мерные значения.

Идею «глобальной перспективы» западной социологии искусства, ориентирующейся на тотальную эмпирическую детерминацию в современных

¹ Очевидно, что в данном случае авторы уходят от принятого в социологии искусства понятия «социальное поле», введенного П. Бурдьё и обладающего «наличием институциональной инфраструктуры, преобразующей прямые воздействия извне в ряд операций, определяемых внутренними механизмами функционирования данного поля» [1], и дополняют его собственным уточняющим понятием «эмпирическое поле искусства», хотя сам термин «поле» все же предполагает строго предзаданные ему рамки, например институциональные или этические, эстетические и др.

² «Эмпирическое поле» отчасти предполагает аналогию с «литературным полем» П. Бурдьё, генезис и структура которого определялись «борьбой за символы», допускающей множественность интерпретаций, но всегда выводившей на первое место не самого художника или его реципиента, а того, кто научился смыслы истолковывать, т.е. исследователя (эмпирика) [4].

исследованиях феномена искусства, разделяет ряд других авторов, подчеркивающих особое значение «не-рефлексивного» прикладного оценивания различных аспектов бытования искусства или конкретных его видов и форм. В этой связи, например, группа бразильских социологов M.L. Bueno, S.P. Sant'anna и L. Dabul, обращая внимание на избыточность теоретических подходов в социологии искусства, констатирует, что роль эмпирических исследований должна заметно возрасти и «таким образом представить искусство как явление исключительно социального порядка» [5. Р. 280]. Подобное дистанцирование искусства от многообразных личностных и предельно субъективных интерпретаций как фактор «сублимации», т.е. возвращения искусства в систему общественных отношений, рассматривается в работах D. Crane [6], J. Rothenberg [7], A.W. Foster и J.R. Blau [8] и др. Объяснить «глобальную перспективу» в развитии социологии искусства можно повышенным вниманием к новейшим формам искусства и их репрезентациям – реди-мейду, энвайронменту, хэппенингу и т.д. Для осмысления именно таких форм, близких к провокационным, требуется отличная от традиционной парадигма, однако дело даже не в ней, а в том, что шансы на понимание сути таких форм возрастают в «эмпирическом поле искусства», ориентированном на коллективное мнение. Так, к примеру, V.L. Zolberg в книге «Построения социологии искусств» утверждает, что в искусстве конца XX в. установка на глобализацию была связана с тем, что художники перестали представлять то или иное течение в искусстве, ту или иную национальную школу, отказались от рамок жанра и стиля, утратили связь с какой-либо традицией вообще и, таким образом, приобрели статус независимых и в трактовке «глобальной перспективы» в социологии искусства – «эмпирических субъектов», к характеристике которых стали не применимы известные стандартные подходы, ориентированные на художественность, нарративность, эстетизм, персонафикацию [9. Р. 128].

Поводом к написанию настоящей статьи стала не только сложившаяся в западной социологии искусства установка на смену «теоретизирующего» субъекта на эмпирического и не столько новые повороты в оценках бытования феномена искусства, сколько обозначившаяся проблема методологического свойства. «Эмпирическое поле искусства» требует соответствующих методик исследования и дифференциации теоретико-методологических подходов, обеспечивающих изучение различных аспектов бытования искусства. К слову сказать, при всей акцентированности поисков нового в социологии искусства она по-прежнему в подавляющем большинстве случаев берет за основу, например, положения теории и методологии Пьера Бурдьё; об этом, по крайней мере, свидетельствует большое число ссылок на его работы, посвященные социальному анализу различных форм искусства¹. Конечно, использование понятия «эмпирическое поле искусства» вполне созвучно известному понятию «социального поля» Бурдьё, но все же, если апеллировать

¹ Подсчет, в частности, был произведен W. Griswold, которая указывает на тот факт, что, как и в 1980–1990-х гг., методология П. Бурдьё характерна для социологии искусства в последующее время, поскольку в ней ориентации на социальные аспекты осмысления феномена искусства не просто закономерно обрели свое место в границах научного познания, но и поспособствовали укреплению позиций социального субъекта, познающего искусство; исследователь обнаружила в среднем более шести ссылок на труды Бурдьё в расчете на одну исследовательскую работу по социологии искусства, опубликованную в виде статьи, сборника трудов или монографии за период с 1991 по 2011 г. [10. Р. 66].

к позиции некоторых исследователей, они признают, что оно не в полной мере отвечает потребностям социологии искусства, вышедшей за границы изучения мнений, оценок и эмоционально-чувственной сферы, характерных для индивидуального реципиента. Такое суждение было высказано, в частности, D. Inglis и J. Hughson [11]. Как представляется, если и вести речь о столь выраженной эмпирической «объективации» искусства и его форм, то в таком случае нужно обобщить основные компетенции социологов в этом вопросе. Наконец, стоит убедиться и в том, что они в действительности ушли или далеко вперед по сравнению с «традиционной» социологией искусства, или же просто-напросто решили некоторым образом скорректировать свой исследовательский тренд.

В настоящей статье я не стану касаться вопроса о следовании *новой* социологии искусства за известным подходом Бурдьё¹, но в то же время будет дана оценка тому, какими конкретно возможностями эмпирической идентификации искусства обладают современные исследователи-социологи в рамках соответствующей отрасли социологической науки. Между тем целесообразность предлагаемого ракурса обосновывается демонстрацией новых поворотов в исследовании искусства с акцентом на эмпирические исследования и согласно концептуальному переосмыслению позиции субъекта, познающего искусство (реципиента). В конечном итоге предстоит показать, насколько значимым для развития современной социологии искусства становится опыт эмпирической детерминации исследований. При этом необходимо помнить о том, что социология искусства длительное время ставила во главу угла индивидуального реципиента, апеллировала к его мнению и отношению к искусству и происходящим рядом с ним и вокруг него процессам, но такой исследовательский опыт был довольно противоречивым, так как зачастую реципиент руководствовался в своем восприятии искусства простой формулой «нравится – не нравится». Социологам же такая формула не давала оснований продвинуться достаточно далеко в понимании роли искусства в социальном бытии, в поведении коллективного субъекта: «мы все время испытывали чувство неудовлетворенности по той причине, что не могли понять, насколько справедливо распространять мнение конкретного человека по поводу искусства на социум, тем более мы прекрасно осознавали слабые перспективы понравившегося или не понравившегося отношения для итоговых результатов исследований» [12. Р. 163]. Кроме того, многие исследователи социальных проблем искусства понимали, что традиционными способами или методами социологии, как-то опросами, тем более массовыми (например, по случаю восприятия картин Ван Гога), добиться эвристического знаменателя не представляется возможным: «было бы парадоксально спрашивать тысячу человек, пришедших в галерею на выставку полотна Ван Гога, о том, кто для них великий мастер и как они относятся к его картине, – я примерно знаю уже ответы; но ведь многое зависит также и от того, какой конкретно результат в ходе исследования я намереваюсь получить...» [13. Р. 68]. Методической неопределенностью социологии (или даже «недостаточностью», по выражению D. Danko) в вопросах всестороннего исследования искусства называют инертность в использовании количественных методов, не способ-

¹ Тем не менее в некоторых любопытных случаях, особенно тех, когда *новая* социология искусства остается в «социальном поле», комментарий на этот счет будет необходим.

ных отразить истинное положение дел в оценках искусства со стороны индивидуальных субъектов (реципиентов) [14. Р. 84]. В то же время интересную мысль по этому поводу высказывает А. Quémén, полагающий, что «количество пришедших на выставку современного искусства, возможно, свидетельствует лишь об их инертности – они могли по пути в кафе или в магазин зайти на выставку, но не для составления мнения о ней, а просто для „высокодуховного“ времяпрепровождения; и в таком случае нам будут бесполезны их суждения...» [15. Р. 171]. Нужно сказать, что сомнения в количественном подходе к интерпретациям искусства возникали и раньше [16], но именно в границах *новой* социологии искусства в их «инертности» практически сомнений для исследователей не осталось.

Таким образом, в оценке современного состояния западной социологии искусства, обобщая ее методические приобретения, я буду исходить из двух основных положений, отмеченных выше: 1) искусство оценивается как феномен «для социологии и для социологов» – именно они обретают способности к постижению данного феномена, в то же время личностное восприятие искусства уходит на второй план и уступает место социальной рецепции; 2) «эмпирическое поле искусства» предполагает соответствующий пул исследований, в которых выявляется роль искусства в жизни общества и определяется его функциональность.

Ивент-исследования

Использование ивент-анализа в социологии искусства долгое время признавалось не оправданным с точки зрения противоречивости применения понятия событийности в отношении исследуемого феномена. На этот счет высказывались опасения в том, что ивент-подход способен «оповседневнить» искусство, привязать его к конкретному событию, затруднить в связи с этим его постижение, предельно обобщить его роль в социальном бытии [17. Р. 201–217]. Некоторые авторы заметили, что ивент-анализ упрощает произведение искусства до некой формы, остающейся понятной только для «обывателей, не искушенных тонкой материей» [18. Р. 102]; в то же время исследователи до конца не могли определиться с содержанием понятия «событийность», когда речь заходила об искусстве: в частности, обсуждался, например, вопрос о том, нужно ли в таком случае рассматривать акт творчества как событие, художественное произведение как событие, появление новых современных форм искусства или даже квази-искусства как событие и т.д. [10. Р. 23–26]. При всем этом, как известно, традиция использования ивент-анализа в социологии восходит к работам Ч. Маклеланда, Ч. Тили и др. и датирована еще 60-ми годами прошлого столетия. Правда, в основном ивент-анализу подвергались политические события, которые захватывали интересы различных социальных групп, международного сообщества и даже человечества в целом. Опыт применения такого типа анализа в социологии был, в частности, обобщен J. Barranco и D. Wisler [19]. Но нужно иметь в виду, что в социологических исследованиях, основанных на ивент-анализе, значение имеет не само по себе конкретное событие, а сообщение о нем, например, в СМИ и каких-либо других источниках. Социолог имеет дело как раз с такими сообщениями. В случае же с социологией искусства задача анализа сообщений серьезным образом усложняется – как таковые сообщения об «актах искусства» не

всегда могут иметь социально выраженную окраску, предназначаются для узкой общности, не всегда интересны широкой публике и т.д. Именно поэтому в социологии искусства примерно с конца XX в. шел поиск уточняющих направлений ивент-анализа для столь сложного феномена, каким является искусство.

«Оправдание» ивент-анализа в исследовании искусства произошло не сразу, однако можно сказать, что это случилось благодаря обращению к идее П. Бурдьё об амбивалентности символизации мира: за каждым символом стоит событие, но и любое событие, по сути, символично [20. Р. 322]. Данный тезис рассматривается рядом исследователей как основание для возможностей использования ивент-анализа в целях выявления «событийности» искусства [21. Р. 22]. Именно событийность определяется как методологический инструмент, определяющий направленность анализа, при этом сообщение о событии, являющееся отправной точкой социологических измерений, в данном случае не несет ценной смысловой нагрузки, так как искусство «выходит далеко за рамки таких сообщений, оно распространяется по иным каналам, к примеру, по тем, которые имеют отношение к обществам любителей и ценителей искусства, группам, которые выражают свое профессиональное мнение по поводу бытования искусства, а возможно, случайным посетителям выставок, галерей и т.д.» [22. Р. 301]. Под событийностью, таким образом, понимается совокупность «событийных актов», непосредственно связанных с искусством и реализуемых в различных форматах выставок, вернисажей, творческих сессий, клубов, мастерских и др.; круг таких «событийных актов» может быть как широким (всемирно известная выставка в центральной галерее Нью-Йорка или Лондона, «городские мегапроекты искусства»), так и достаточно узким (закрытый клуб любителей древности в Париже) [23]. На самом деле это не единственная сложность, возникающая с применением ивент-анализа в социологии искусства. Пожалуй, один из основных вопросов связан с тем, какие дополнительные преимущества дает при анализе искусства и его бытования ивент-анализ и в чем заключается соответствующий эвристический потенциал данного метода (к тому же, если учитывать, что он относится к количественным методам, которые в рамках *новой* социологии искусства не являются достаточно востребованными). Приведем далее результаты некоторых исследований, которые, как я полагаю, способны раскрыть некоторые преимущества ивент-анализа.

В 2018 г. на базе Байройтского университета (Германия) группой исследователей с применением методики ивент-анализа был выполнен проект «Искусство, кино и общество». Общие результаты были продемонстрированы J. Do Nascimento [24]. Предметом для изучения в этом случае выступал игровой кинематограф, представленный германскими фильмами, вышедшими на большой экран в период 2000–2018 гг. Исследователи поставили цель понять два основных момента: 1) сколько зрителей полагают, что просмотренные фильмы содержат выраженный социальный контекст и, таким образом, способны оказать воздействие на их социальную жизнь, принятие ответственных социально значимых решений; 2) изменяется ли восприятие социальной проблемы, затронутой в фильме, в течение близкого (1 мес) и отдаленного времени (6 мес). Следует подчеркнуть, что за основу данного исследования были взяты положения теории Бурдьё о том, что социальная

критика искусства или художественных произведений отражает не только вкусы индивидуальные и коллективные, но и формирует социальную символику пространства [20. Р. 201]. Выборка для применения ивент-анализа почти всегда является наиболее сложным местом в исследовании – в данном случае она была обусловлена тем фактом, что событийность кино определялась выходом в свет фильмов, имеющих высокие рейтинги по оценкам различных экспертов и кинокритиков (не менее 7,0 по индикатору «социальная проблема», без учета индикаторов зрелищности, популярности авторов фильма, занятых актеров и т.д.). Таким образом, социологи сначала анализировали предварительные оценки экспертного сообщества, выстраивали рейтинг фильмов, затем предлагали посетителям кинозалов дать свои оценки. Как мне кажется, привязка конкретного вида искусства (например, кино) к «эмпирическому полю», конечно же, меняет не само искусство и даже не отношение к нему в тех или иных временных условиях или рамках зрительских предпочтений, а изменяет «взгляд сверху» – взгляд исследователя. Социолог, устанавливая границы событийности в искусстве, акцент делает на том, что через событие искусство становится более востребованным феноменом человеческого бытия для повышения своего статуса («знаток искусства»), интеллектуальной культуры, экономического благосостояния и т.д. Что же касается глубины постижения искусства, то она в данном случае не является исследовательской задачей *новой* социологии искусства. Главное преимущество ивент-анализа видится в том, что он раскрывает «эмпирическое поле искусства», демонстрирует возможности влияния событийности в искусстве на социальные притязания индивидов. Допускаю, что указанное преимущество может оказаться относительным, если иметь в виду, например, сосредоточенность ивент-анализа скорее на «медиаторах» искусства (событийности, презентативности, «галерейности») и уход от классических приемов исследования данного феномена (выразительности, художественности, ценностности и т.д.). Ивент-анализ в таком случае не просто не гарантирует глубины постижения искусства, но в общем-то выступает как своего рода альтернатива такого подхода: оценки искусства регистрируются через событийность, а не через обособленные мнения реципиентов, все же некоторые из них к искусству могут оказаться попросту равнодушными.

Важнейшими «медиаторами» искусства являются музеи, театр, кинозал, концертный зал и т.д. Рост числа таких учреждений, а вместе с ним и увеличение посещаемости нередко идентифицируется как событийность и формирует соответствующий заказ на ивент-исследования. В данном случае может, к примеру, использоваться так называемый «индекс посещаемости и близости к искусству», который носит расчетный характер и прямо связан с числом учреждений культуры и искусства, их доступностью [25]. Событийность при этом трактуется как «открытие новых возможностей для человека стать ближе к самому искусству и его пониманию – в мире открываются новые большие и малые музеи, театры, творческие площадки, выставочные залы, растет их популярность среди людей разных возрастов и занятий, а значит, искусство, таким образом, становится еще ближе социуму» [26. Р. 169]. Социологи в таком случае, применяя «индекс посещаемости и близости к искусству», оценивают, как ведут себя посетители учреждений культуры и искусства, как долго они задерживаются в том или ином зале, у той или иной

картины, покидают ли они концертный зал во время исполнения музыкальной классики или произведения в современном стиле и жанре и т.д.

Событийность «разворачивается» сразу в трех направлениях: появление новых «площадок» искусства, увеличение их посещаемости, степень заинтересованности и близости искусству. На этот счет Sara Strandvad полагает, что «через разные возможности искусство на самом деле стремится ближе к обществу¹, а вовсе не отдаляется от него; например, в новых современных направлениях и стилях мы видим, каким образом откликаются ожидания различных социальных групп, их надежды, вкусы, желания; таким образом, искусство как бы материализуется не через артефакты, а через события...» [26. Р. 172]. Трудно не заметить ситуацию, что социологи вынуждены искать новые возможности для исследования искусства с целью «адаптировать» его к социуму, сделать более понятным, отчасти снять элитарность, замкнутость в своем мире и т.д. Допускаю, что в таких случаях возрастает риск утилитарного и прагматичного подходов к искусству, однако желание социологов сделать его ближе обществу вполне заслуживает внимания.

В 2015 г. в Бернском университете в Швейцарии исследователи подвели итоги многолетнего ивент-анализа, ставившего целью выявить, насколько эффективным является открытие новых музеев в Европе за последние пять лет с точки зрения близости социума к искусству. В поле зрения социологов попали 17 музеев в разных странах, велись опросы посетителей на входе и выходе, а также внутри самих музеев; ивент-анализ опирался на оценку событийности «появление нового музея – близость к искусству». Ученым предстояло ответить на один из главных вопросов: объясняется ли в действительности посещаемость музея интересом к искусству, близостью к искусству или скорее расценивается как свободное времяпрепровождение, желание утвердиться в статусе знатока и ценителя искусства. Ивент-анализ как раз позволял «привязать» искусство к конкретному событию, и при этом с использованием «индекса посещаемости и близости к искусству» устанавливались приоритеты тех или иных социальных групп. Как оказалось, например, студенческая молодежь в 20% всех случаев расценивает открытие нового музея как необходимость социальной коммуникации, в 15% – как обмен новой интересной информацией, еще 12% – как возможность пополнить свой образовательный уровень, и только 9% признали, что музей обеспечивает диалог с искусством («близость к искусству»). Как оказалось, кроме того, чиновники почти не посещают новые музеи (11%), а из тех, кто все же приходит в данное учреждение, только 2% рассматривают такую возможность для «близости». По другим группам результаты колеблются, но все же не являются выдающимися. Ученые полагают, таким образом, что открытие нового музея сегодня – это «акт социальной воли», а вовсе не дополнительный фактор, обеспечивающий «близость к искусству» разных социальных групп [25. Р. 99–101].

¹ Мнение ученого лишний раз подтверждает, что в рамках новой западной социологии искусства усилия исследователей концентрируются вокруг идеи «приближения» искусства к обществу, социуму; между тем вопрос о «близости искусству» со стороны индивида социологами и другими современными исследователями как будто признается само собой разумеющимся (см., например, [5. Р. 282; 23. Р. 318] и др.).

В другом исследовании, авторами которого являются представители университетов Лондона и Барранквилы (Колумбия), событийность в искусстве оценивается сквозь призму междисциплинарного подхода («эмпирическая эстетика», социология и психология искусства) и на основе различных методов, включая ивент-анализ [27]. На этот раз исследование посвящалось танцу, причем в сравнении традиций Великобритании и Японии. В течение 2018–2019 гг. исследователи оценивали программы различных национальных танцевальных фестивалей, например, легендарного Блэкпульского фестиваля танца, танцевальных площадок Эдинбургского фестиваля, фестиваля традиционного танца Китаками Мичиноку и др. Данные события определялись как значимые для развития искусства традиционного танца, его популяризации, формирования групп поклонников и знатоков искусства. В то же время авторы обратили внимание на то, что в разных странах по-разному формируется отношение к танцевальному искусству – довольно любопытным стал результат, свидетельствующий о том, что в Японии оно носит предпочтительно коллективный характер («близость к танцу» способствовала формированию различных субкультур, которые активно вовлекались в занятия традиционным японским танцем, а также распространяли информацию о нем), а в Великобритании – выраженный индивидуальный. Как оказалось, в этой стране важное значение имеет эмоционально-чувственное отношение к танцу как к явлению психосоциального порядка [27. Р. 11].

Примеры использования ивент-анализа применительно к искусству демонстрируют возможности соответствующей отраслевой социологии для подтверждения широкой «включенности» искусства в социальное бытие. Это обстоятельство лишний раз подтверждает, что социологи, находясь в «эмпирическом поле искусства», в большей степени обращают внимание не на личностное переживание искусства, а на его «близость» общественным настроениям и потребностям.

Интенциональные исследования

При всей кажущейся «непрофильности» интенционального анализа в социологической науке¹, он тем не менее используется в ней, особенно в тех случаях, когда необходимо установить цель или целеполагание для «близости к искусству». Цель определяется через ценности и ценностные ориентации, целеполагание связано с потребностями, которые трудно или же невозможно исключить из повседневной жизни. Как отмечает Gianluca Lorenzini, «если речь идет об искусстве, совсем непросто определить цели и целеполагания общества или отдельной группы, допускаем, что и к искусству может быть потребительское отношение, причем в такой степени, что в ряду других потребностей современного общества оно может вовсе утратить свое истинное предназначение...» [29. Р. 189]. Имея в виду тот факт, что неоднозначное использование интенционального анализа в социологии объясняется, по-видимому, его восхождением к довольно сложной философской системе феноменологии (Э. Гуссерль, Ф. Brentano), я тем не менее нахожу его достаточно примечательным методом в случаях с социологическими исследовани-

¹ К слову сказать, в отечественной социологии применение интенционального анализа нередко связывают с семиосоциопсихологической парадигмой Т.З. Адамьянц (см., например, [28]).

ями искусства. Отмечу, что в рамках так называемый «эмпирической эстетики» конца XX – начала XXI в. интенциональный анализ приобрел заметную популярность в силу его возможностей понять, как меняется искусство и различные его формы под влиянием настроений социума. Иными словами, интенциональные исследования в «эмпирической эстетике» показывают, насколько искусство зависимо от интересов публики и вынуждено в поиске новых стилей и жанров «подстраиваться» под эти потребности [30. Р. 35–37]. Данную точку зрения разделяют, например, Т. Siler¹ [31], Н. Leder и М. Pelowski [32], Р. Livingston [33] и др.

В социологии искусства интенциональность позиционируется как сочетание активности в «кругу искусства» и способов достижения цели, направленной на то, чтобы искусство могло так же, как и другие социальные феномены (массовая культура, массовая коммуникация и др.), «управлять общественным мнением, влиять на массы, отвечать запросам социальных общностей», как полагает Н. Маес [34. Р. 91]. При этом исследователь подчеркивает, что более обстоятельно интенциональность в вопросах исследования искусства проявляется в философии и эстетике – «тогда, когда нужно понять, как глубоко искусство „вошло“ в ткань человеческой индивидуальной и коллективной жизни», но в то же время социология в большей степени нацелена на конкретный результат, который «довольно часто в философии искусства или эстетике недостижим» [34. Р. 91, 93]. Между тем Isabel Hungerland в одной из своих работ, выпущенной еще в 1955 г., обратила внимание на то, что социальным исследованиям искусства явно недостает интенционального ракурса, который как раз «приближает» «данный феномен к общественным процессам не своими стилями и средствами подачи материала и не своей атрибутивностью, а четкой целью: быть *услышанным* в социуме» (курсив автора цитаты. – Е.П.) [35. Р. 740]. Соглашусь с мнением ученого: интенциональный анализ при всей его выраженной акцентированности на феноменологию и экзистенциализм действительно позволяет «приблизить» искусство к социуму; это выражается прежде всего в том, насколько цели искусства совпадают с целями общественного развития, социальной динамики.

Таким образом, интенциональный анализ предполагает выявление по крайней мере двух основных «состояний» «эмпирического поля искусства»: 1) определение масштабов активности в сфере искусства (активность может быть совершенно любой – от рекламирования ближайшей выставки произведений искусства до появления новых стилей и направлений; «активность никогда не рассматривалась в качестве одного из ключевых инструментов „диагностики искусства“, однако ее оценка дает нам четкие представления о том, насколько вообще востребован данный феномен в современном обществе – интенциональный подход дает нам возможность оценить любые детали, которые, возможно, мы ранее не замечали или не считали их значимыми...» [34. Р. 91, 93]; 2) выявление цели любой деятельности, так или иначе связанной с искусством, как отмечает К. Stock в книге «Только представьте: вымысел, ин-

¹ В этом случае используется перспективный подход, основанный на сочетании нейробиологии и «эмпирической эстетики» и затрагивающий «преднамеренные действия в искусстве»; к таким действиям в том числе относятся и потребительские стратегии: оценка искусства на предмет того, как оно может украсить комнату, изменить антураж кабинета, повлиять на элитаризацию социального статуса и т.д.

терпретация и воображение», для полноты картины современного отношения людей к искусству явно «недостает важных деталей, которые ранее были нами не замечены – мы концентрировались на вымысле, воображении и т.д., но забывали про цель – есть ли то, к чему идет искусство, насколько опережающими темпами это движение происходит и, наконец, каков результат?» [36. Р. 133]. Из сказанного можно сделать вывод о том, что смысл интенционального анализа в случаях, когда в его объектив попадает искусство, заключается в выявлении деталей до такой степени («сплошная детализация»), чтобы не оставалось сомнений в «активности искусства»: за счет детализации оно становится более динамичным с точки зрения социальной рецепции, а значит, возрастает его роль в системе социальных связей. Возможно, правда, что излишняя детализация снимает сакральность искусства, однако детали – это не метафизический уровень поиска смысла, а скорее всего физический: искусство идентифицируется как эмпирический объект.

Интенциональные исследования, проводимые в рамках философии искусства, во главу угла ставят определение статуса воображаемого, переживаемого, оцениваемого в искусстве с учетом индивидуальных целей субъекта (в таком качестве исследования сближаются с «эмпирической эстетикой»). В социологии искусства обнаруживается иной подход – динамика и активность в сфере искусства оцениваются на уровне не индивидуальных предпочтений, а групповых. Так, например, в 2010 г. исследователями из университета в Антверпене были подведены итоги реализации междисциплинарного проекта «Визуальная социология», который предполагал фиксацию в течение шести лет активности в сфере искусства на территории стран Бенилюкса. Инструментарий активности определялся как «систематические изменения, влияющие на увеличение позиций искусства в ключевых повседневных и перспективных потребностях индивидов (общностей) или в рейтинге ценностей (ценностных ориентаций)» [37. Р. 556].

В основе применения такого подхода лежит анализ целей представителей разных социальных общностей, связанных с их «вовлеченностью» в сферу искусства. Интенциональный анализ в этом случае способен продемонстрировать активность разных общностей, одновременно с этим выявить их цели, а также установить позиции искусства в системах ценностей и потребностей. В привычных обстоятельствах социологи вынуждены были бы осуществлять исследование по каждому из указанных направлений в отдельности. Проведенное исследование показало, к примеру, что в течение 6 лет возростала активность в сфере искусства для «свободных художников» в возрастном диапазоне 16–26 лет, для «искусствоведов и аналитиков», для студенческой молодежи, в то же время активность заметно снижалась в группах политиков и чиновников, школьников, людей старшей возрастной группы и т.д. Эти данные были получены в ходе наблюдений, интервью, опросов с репрезентативными выборками и коррелировали во всех случаях с целевыми установками представителей указанных общностей («искусствоведы и аналитики» формулировали ранги целевых установок: от профессионального интереса до погружения в прекрасное), но расходились тем не менее по позициям в системах ценностей и потребностей. В среде студенческой молодежи, к примеру, искусство поднялось в рейтинге ценностей на место 1,43 при возросшей активности, но при наблюдаемом отсутствии значимых целевых установок

(которые могли быть связаны с повышением уровня образования, будущим карьерным ростом, даже обыденным интересом и т.д.). В группе «свободных художников», как оказалось, искусство возросло в рейтинге ценностей на существенные 5,16 пункта, однако целевые установки в данной группе можно назвать неопределенными (в индикаторах от «привычного занятия» до «возможности подзаработать») и т.д. [37. Р. 557–558].

Активность в сфере искусства стала предметом другого исследования, авторы которого в течение 2015 г. в крупных городах Азии (Шанхай, Сингапур), отталкиваясь от гедонистических оценок искусства, выявляли частоту обращения к феноменам искусства и, таким образом, делали выводы об активности представителей различных социальных групп. Активность складывалась из частотности, систематичности и содержательной оценки при контактах со сферой искусства [38]. В основе методологии исследования лежит связка «гедонистической шкалы», известной в психологии и нейробиологии (в ней искусству отводится довольно высокий индекс 3,12 [39]), замеров посещения городских центральных галерей с отсечками общего времени, затраченного на посещение, а также времени переходов из одного зала в другой, большего и меньшего времени просмотра конкретных произведений искусства и т.д., экспресс-опроса для выявления принадлежности к той или иной социальной группе и регистрации частоты посещения и итогового интенционального анализа. Как определили исследователи, именно данный формат анализа «обеспечил возможность оценки активности с учетом сложности основного объекта исследования, который сам по себе не предполагает повышенной активизации индивидов и общностей, но тем не менее подтверждал тот факт, что активность не является перманентной, она стабильна и поэтому оправдывает позиции искусства в индексах потребностей и удовольствий...» [38. Р. 15]. Как видим, преобладающей целью проведенного исследования явилось подтверждение мысли о том, что искусство практически во все времена сохраняет высокий показатель гедонизма, по этой причине может рассматриваться как «высокоинтегральный феномен», способствующий консолидации индивидов по принципу удовлетворения потребностей. Примечательно, что у авторов проведенного исследования первоначальная гипотеза состояла в том, что искусство в современных условиях цивилизации при сохранении высокой степени проявления гедонистической функции тем не менее не способствует заметному возрастанию интереса к нему. Недостатком данного исследования, пожалуй, можно признать отсутствие результатов анализа по социальным группам – было бы любопытно увидеть, как распределяется активность по представителям социальных групп и какое значение этот факт может иметь для гедонистической оценки искусства.

В журнале «Empirical Studies of the Arts»¹, специализирующемся на «эмпирической эстетике», междисциплинарных исследованиях и социологии искусства, нередко публикуются работы, выполненные с использованием интенционального анализа, например, в 2020 г. таких публикаций было 15, в 2021 г. – 19. Возрастание интереса к нему, вероятно, объясняется вариативностью самой методики, смысл которой состоит прежде всего в сопряжении

¹ Empirical Studies of the Arts. URL: <<https://us.sagepub.com/en-us/nam/journal/empirical-studies-arts>> (accessed: 25.05.2022).

различных показателей и расширении возможностей интерпретации результатов.

Заключение

Опыт социологических исследований свидетельствует о заметных подвижках в идентификации «эмпирического поля искусства»: исследования, проводимые в рамках западной социологии искусства, меняют представления об одномерности данного феномена, когда на первый план выходят эстетические или идейно-художественные аспекты его бытования. Для современной социологии искусства характерен поворот в сторону комплексного анализа и выход за пределы указанных аспектов. В действительности «эмпирическое поле искусства» позволяет исходить не только из предпочтений и рецепции индивидов, постигающих искусство или рассматривающих его с эстетической и гедонистической сторон, но и учитывать его роль в социальном бытии. Примеры использования ивент-анализа и интенционального анализа в социологических исследованиях искусства демонстрируют широту подхода, вариативность методик, множественность интерпретаций – в конечном счете меняется отношение к искусству с позиций исследователя: он уходит от сакральности, художественности, выразительности и прибегает к иным регистрам в понимании искусства – событийности, активности, целеполаганию и т.д. Таким образом, расширяется пространство отраслевой социологии, меняются приоритеты в исследовании сферы искусства, наконец, возрастает ранг самого исследователя, поскольку он не индивидуализирует искусство, как это зачастую делают представители эстетики или искусствоведения, а, напротив, раскрывает его социальные смыслы.

В настоящей статье я остановился только на двух методах, активно действовавших в западной социологии искусства; этот выбор можно объяснить не просто востребованностью новых подходов, но скорее даже необходимостью их распространения в силу того, что искусство как предмет исследования нередко ускользает от исследователя – он при этом ограничивается констатацией фактов на уровне «нравится – не нравится». В значительной степени расстановка сил в социологии искусства связана с определением границ «эмпирического поля искусства», что дает дополнительные возможности для выявления различных аспектов социального бытования искусства.

Список источников

1. *Правила любви к искусству*: Людмила Воропай о социологии Пьера Бурдьё. URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/10046-pierre-bourdieu> (дата обращения: 18.04.2022).
2. Morató A.R., Acuña Á.S. La nueva sociología de las artes. Una perspectiva hispanohablante y global. Barcelona : Gedisa Editorial, 2017. 368 p.
3. Барт П. Смерть автора // Барт П. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М. : Прогресс, 1994. С. 384–391.
4. Bourdieu P. The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford, CA : Stanford University Press, 1996 [1993]. 408 p.
5. Bueno M.L., Sant'anna S.P., Dabul L. Sociologia da Arte: notas sobre a construção de uma disciplina // Revista Brasileira de Sociologia – RBS, São Paulo. 2018. Vol. 6, № 12. P. 267–289.
6. Crane D. Culture and Globalization: Theoretical Models and Emerging Trends // Global Culture: Media, Arts, Policy and Globalization / eds. D. Crane, N. Kawashima, K. Kawasaki. New York : Routledge, 2012.
7. Rothenberg J. Sociology Looks at the Arts. New York, NY : Routledge, 2014. 296 p.

8. *Foster A.W., Blau J.R.* Art and Society: Readings in the Sociology of Arts. Albany, NY : State University of New York Press, 1989. 513 p.
9. *Zolberg V.L.* Constructing a Sociology of the Arts. New York, NY : Cambridge University Press, 1990. 252 p.
10. *Griswold W.* Cultures and Societies in a Changing World. Thousand Oaks, CA : Sage, 2012. 204 p.
11. *Inglis D., Hughson J.* The Sociology of Art. Basingstoke : Palgrave, 2002. 240 p.
12. *Alexander V.D.* Sociology of the Arts: Exploring Fine and Popular Forms. Alden : Blackwell, 2003. 388 p.
13. *Heinich N.* La sociologie de l'art. Paris : La découverte, 2001. 122 p.
14. *Danko D.* Kunstsoziologie // Österreichische Zeitschrift für Soziologie. 2014. № 39 (1). P. 83–86. DOI:10.1007/s11614-014-0117-7
15. *Quemin A.* International Contemporary Art Fairs in a “Globalized” Art Market // European Societies. 2013. 15 (2). P. 162–177.
16. *Grice E.* Sociology of Art in the New Reality: Empirical status and formal approach. Washington, D.C. : Globe Publishing House, 2017. 203 p.
17. *Bôas G.V., Quemin A.* Art et société: Recherches récentes et regards croisés. Brésil/France : Ouvrage en ligne, 2016. 456 p.
18. *Tanner J.* The Sociology of Art: A Reader. New York, NY : Routledge, 2003. 280 p.
19. *Barranco J., Wisler D.* Validity and Systematicity of Newspaper Data in Event Analysis // European Sociological Review. 1999. Vol. 15, № 3. P. 301–322.
20. *Bourdieu P.* Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. London : Routledge and Kegan Paul, 1984 [1979]. 613 p.
21. *Wanner F., Stoffel A., Jäckle D.* State-of-the-Art Report of Visual Analysis for Event Detection in Text Data Streams // Conference: Eurographics Conference on Visualization (EuroVis). 2014. Vol. 16. P. 17–48. DOI:10.2312/eurovisstar.20141176
22. *Simons H., McCormack B.* Integrating arts-based inquiry in evaluation methodology: opportunities and challenges // Qualitative Inquiry. 2007. № 13 (2). P. 292–311. DOI:10.1177/1077800406295622
23. *Halle D., Tiso E.* New York's New Edge: Contemporary Art, the High Line and Urban Mega-projects on the Far West Side. Chicago, IL : Chicago University Press, 2014. 432 c.
24. *Do Nascimento J.* Art, Cinema and Society: Sociological Perspectives // Global Journal of human-social science: Sociology & Culture. 2019. Vol. 19, is. 5. P. 18–28. DOI:10.34257/GJHSS
25. *Tröndle M., Tschacher W.* Art Affinity Influences Art Reception // Empirical Studies of the Arts. 2018. № 34 (1). P. 74–102. DOI:10.1177/0276237415621187
26. *Strandvad S.* Attached by the Product: A Socio-Material Direction in the Sociology of Art // Cultural Sociology. 2020. Vol. 6, № 2. P. 163–176. DOI: 10.1177/1749975512440227
27. *Monroy E., Imada T., Sagiv N., Orgs G.* Dance Across Cultures: Joint Action Aesthetics in Japan and the UK // Empirical Studies of the Arts. 2021. № 0 (0). P. 1–19. DOI: 10.1177/02762374211001800
28. *Адамьянц Т.З.* Семиосоциопсихологическая концепция социальной коммуникации как обучающая и развивающая дисциплина // Социальная коммуникация: универсум профессиональной деятельности / под ред. В.В. Козловского. СПб. : Скифия-Принт ; Интерсоцис, 2011. 420 с.
29. *Lorenzini G.* The Problem of Intentionality in the Contemporary Visual Arts // Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, LVI/XII. 2019. № 2. P. 186–205. DOI:10.33134/eeja.188
30. *Belluigi D.* Intentionality in a Creative Art Curriculum // The Journal of Aesthetik Education. 2011. V. 45, № 1. P. 18–36. DOI: 10.1353/jae.2011.0005
31. *Siler T.* Neuroart: Picturing the Neuroscience of Intentional Actions in Art & Science // Frontiers in Human Neuroscience. 2018. № 9. P. 1–8. DOI:10.3389/fnhum.2015.00410
32. *Leder H., Pelowski M.* Empirical Aesthetics: Context, Extra Information, and Framing // The Oxford Handbook of Empirical Aesthetics / Ed. by M. Nadal and O. Vartanian. Oxford: Oxford University Press, 2021. P. 120–134. DOI:10.1093/oxfordhb/9780198824350.013.43
33. *Livingston P.* Art and Intention: A Philosophical Study. Oxford: Clarendon Press, 2005. 251 p.
34. *Maes H.* Challenging Partial Intentionalism // Journal of Visual Arts Practice. 2018. № 7. P. 85–94.
35. *Hungerland I.* The Concept of Intention in Art Criticism // Journal of Philosophy. 1955. № 52 (24). P. 733–742.

36. Stock K. Only Imagine: Fiction, Interpretation and Imagination. Oxford : Oxford University Press, 2017. 222 p.
37. Pauwels L. Visual Sociology Reframed: An Analytical Synthesis and Discussion of Visual Methods in Social and Cultural Research // Sociological Methods & Research. 2019. Vol. 38, № 4. P. 545–581. DOI:10.1177/0049124110366233
38. Gangadharbatla H. The Role of AI Attribution Knowledge in the Evaluation of Artwork // Empirical Studies of the Arts. 2021. № 0 (0). P. 1–19. DOI:10.1177/0276237421994697
39. Hoppers J. Pragmatic theories of art. URL: <https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-art/Pragmatic-theories-of-art> (accessed: 24.05.2022).

References

1. Voropay, L. (n.d.) *Pravila lyubvi k iskusstvu: Lyudmila Voropay o sotsiologii P'era Burd'e* [Rules of love for art: Lyudmila Voropay on the sociology of Pierre Bourdieu]. [Online] Available from: <https://theoryandpractice.ru/posts/10046-pierre-bourdieu> (Accessed: 18th April 2022).
2. Morató, A.R. & Acuña, Á.S. (2017) *La nueva sociología de las artes. Una perspectiva hispanohablante y global*. Barcelona: Gedisa Editorial.
3. Barthes, R. (1994) *Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika* [Selected Works: Semiotics]. Moscow: Progress. pp. 384–391.
4. Bourdieu, P. (1996) *The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field*. Stanford, CA: Stanford University Press.
5. Bueno, M.L., Sant'anna, S.P. & Dabul, L. (2018) Sociologia da Arte: notas sobre a construção de uma disciplina. *Revista Brasileira de Sociologia – RBS*. 6(12). pp. 267–289.
6. Crane, D. (2012) Culture and Globalization: Theoretical Models and Emerging Trends. In: Crane, D., Kawashima, N. & Kawasaki, K. (eds) *Global Culture: Media, Arts, Policy and Globalization*. New York: Routledge.
7. Rothenberg, J. (2014) *Sociology Looks at the Arts*. New York, NY: Routledge.
8. Foster, A.W. & Blau, J.R. (1989) *Art and Society: Readings in the Sociology of Arts*. Albany, NY: State University of New York Press.
9. Zolberg, V.L. (1990) *Constructing a Sociology of the Arts*. New York, NY: Cambridge University Press.
10. Griswold, W. (2012) *Cultures and Societies in a Changing World*. Thousand Oaks, CA: Sage. DOI: 10.4135/9781452240534
11. Inglis, D. & Hughson, J. (2002) *The Sociology of Art*. Basingstoke: Palgrave.
12. Alexander, V.D. (2003) *Sociology of the Arts: Exploring Fine and Popular Forms*. Alden: Blackwell.
13. Heinich, N. (2001) *La sociologie de l'art*. Paris: La découverte.
14. Danko, D. (2014) Kunstsoziologie. *Österreichische Zeitschrift für Soziologie*. 39(1). pp. 83–86. DOI: 10.1007/s11614-014-0117-7
15. Quemin, A. (2013) International Contemporary Art Fairs in a “Globalized” Art Market. *European Societies*. 15(2). pp. 162–177.
16. Grice, E. (2017) *Sociology of Art in the New Reality: Empirical Status and Formal Approach*. Washington, D.C.: Globe Publishing House.
17. Bôas, G.V. & Quemin, A. (2016) *Art et société: Recherches récentes et regards croisés*. Brésil/France: Ouvrage en ligne.
18. Tanner, J. (2003) *The Sociology of Art: A Reader*. New York, NY: Routledge.
19. Barranco, J. & Wisler, D. (1999) Validity and Systematicity of Newspaper Data in Event Analysis. *European Sociological Review*. 15(3). pp. 301–322.
20. Bourdieu, P. (1984) *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. London: Routledge and Kegan Paul.
21. Wanner, F., Stoffel, A. & Jäckle, D. (2014) State-of-the-Art Report of Visual Analysis for Event Detection in Text Data Streams. *Conference: Eurographics Conference on Visualization (EuroVis)*. 16. pp. 17–48. DOI:10.2312/eurovisstar.20141176
22. Simons, H. & McCormack, B. (2007) Integrating arts-based inquiry in evaluation methodology: opportunities and challenges. *Qualitative Inquiry*. 13(2). pp. 292–311. DOI: 10.1177/1077800406295622
23. Halle, D. & Tiso, E. (2014) *New York's New Edge: Contemporary Art, the High Line and Urban Megaprojects on the Far West Side*. Chicago, IL: Chicago University Press.
24. Do Nascimento, J. (2019) Art, Cinema and Society: Sociological Perspectives. *Global Journal of Human Social Science: Sociology & Culture*. 19(5). pp. 18–28. DOI: 10.34257/GJHSS

25. Tröndle, M. & Tschacher, W. (2018) Art Affinity Influences Art Reception. *Empirical Studies of the Arts*. 34(1). pp. 74–102. DOI: 10.1177/0276237415621187
26. Strandvad, S. (2020) Attached by the Product: A Socio-Material Direction in the Sociology of Art. *Cultural Sociology*. 6(2). pp. 163–176. DOI: 10.1177/1749975512440227
27. Monroy, E., Imada, T., Sagiv, N. & Orgs, G. (2021) Dance Across Cultures: Joint Action Aesthetics in Japan and the UK. *Empirical Studies of the Arts*. 0(0). pp. 1–19. DOI: 10.1177/02762374211001800
28. Adamyants, T.Z. (2011) Semiosotsiopsikhologicheskaya kontseptsiya sotsial'noy kommunikatsii kak obuchayushchaya i razvivayushchaya distsiplina [Semiosocio-psychological concept of social communication as a teaching and developing discipline]. In: Kozlovsky, V.V. (ed.) *Sotsial'naya kommunikatsiya: universum professional'noy deyatel'nosti* [Social Communication: The Universe of Professional Activity]. St. Petersburg: Skifiya-Print; Intersotsis.
29. Lorenzini, G. (2019) The Problem of Intentionality in the Contemporary Visual Arts. *Estetika: The Central European Journal of Aesthetics*. 2. pp. 186–205. DOI: 10.33134/eeja.188
30. Belluigi, D. (2011) Intentionality in a Creative Art Curriculum. *The Journal of Aesthetic Education*. 45(1). pp. 18–36. DOI: 10.1353/jae.2011.0005
31. Siler, T. (2018) Neuroart: Picturing the Neuroscience of Intentional Actions in Art & Science. *Frontiers in Human Neuroscience*. 9. pp. 1–8. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00410
32. Leder, N. & Pelowski, M. (2021) Empirical Aesthetics: Context, Extra Information, and Framing. In: Nadal, M. & Vartanian, O. (2021) *The Oxford Handbook of Empirical Aesthetic*. Oxford: Oxford University Press. pp. 120–134. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198824350.013.43
33. Livingston, P. (2005) *Art and Intention: A Philosophical Study*. Oxford: Clarendon Press.
34. Maes, H. (2018) Challenging Partial Intentionalism. *Journal of Visual Arts Practice*. 7. pp. 85–94.
35. Hungerland, I. (1955) The Concept of Intention in Art Criticism. *Journal of Philosophy*. 52(24). pp. 733–742.
36. Stock, K. (2017) *Only Imagine: Fiction, Interpretation and Imagination*. Oxford: Oxford University Press.
37. Pauwels, L. (2019) Visual Sociology Reframed: An Analytical Synthesis and Discussion of Visual Methods in Social and Cultural Research. *Sociological Methods & Research*. 38(4). pp. 545–581. DOI: 10.1177/0049124110366233
38. Gangadharbatla, H. (2021) The Role of AI Attribution Knowledge in the Evaluation of Art-work. *Empirical Studies of the Arts*. 0(0). pp. 1–19. DOI: 10.1177/0276237421994697
39. Hospers, J. (n.d.) *Pragmatic Theories of Art*. [Online] Available from: <https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-art/Pragmatic-theories-of-art> (Accessed: 24th May 2022).

Сведения об авторе:

Попов Е.А. – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры социологии и конфликтологии Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия). E-mail: popov.eug@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Popov E.A. – Dr. Sci. (Philosophy), Docent, professor of the Department of Sociology and Conflictology, Altai State University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: popov.eug@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 15.08.2022;
одобрена после рецензирования 17.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 15.08.2022;
approved after reviewing 17.09.2022; accepted for publication 27.10.2022

Научная статья
УДК 316.346.32
doi: 10.17223/1998863X/69/15

ДЕТСКИЕ СТРАХИ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНСТРУКТ: ОБРАЩЕНИЕ К ЦЕЛИТЕЛЯМ В АРМЕНИИ

Амалия Арменовна Пртавян

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
adf2@yandex.ru*

Аннотация. Данная статья посвящена изучению детского страха в армянском обществе. Наше исследование основывается на нарративном анализе интервью. Проанализировав интервью, мы пришли к выводу, что фокус на детском страхе в армянском обществе сконструирован традицией, а сами клиенты целителей, вспоминая свой детский опыт, противопоставляют себя этой традиции.

Ключевые слова: ценности выживания, народная медицина, нарративная идентичность

Для цитирования: Пртавян А.А. Детские страхи как социокультурный конструкт: обращение к целителям в Армении // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 142–151. doi: 10.17223/1998863X/69/15

Original article

CHILDREN'S FEARS AS A SOCIOCULTURAL CONSTRUCT: AN APPEAL TO HEALERS IN ARMENIA

Amaliia A. Prtvian

*National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russian Federation,
adf2@yandex.ru*

Abstract. This article explores the importance given to children's fear and the rules and customs around it in Armenian society. The study is based on a narrative analysis of interviews which allowed identifying the reasons why parents make a decision about the need for a healing practice to relieve fear. Also, based on interview analysis, the reactions of the informants who recalled their experience of visiting a healer in their childhood have been collected. Recalling their childhood experience, the informants re-construct their identity and oppose themselves to the cultural tradition that is accepted in Armenia and that made it possible to conduct a healing ritual. One of the forms of healing practices in Armenia is the practice of "removing fear", which is often mentioned by the informants. The research literature states that the significance of fear is constantly shaped by cultural and historical factors. There is some cultural "prescription" indicating how to act in the face of danger. The cultural script adopted in Armenia encourages parents to turn to healers with a request to remove fear. So, fear is a social construct of society and tradition. Culture and tradition in society indicate us what we should fear. Based on the interviews, the author highlights the main motives for parents to decide to work with children's fears by healing. However, it can be seen from the interviews that quite often children do not have a request to be taken to remove their fear(s) or they are too small and cannot articulate the request by themselves. Parents interpret the child's behavior themselves as the presence of a fear and decide that this fear needs to be "removed" because otherwise it can cause serious problems with health. "Problems" means both psychological and physiological diseases, because it is believed that

fear destroys the body. Thus, parents try to prevent more serious consequences. This study suggests that the significance given to childhood fear is constructed by tradition. The social construction of fear is influenced by survival values and traditional values, as well as the belief that fear puts the child at risk for a dangerous disease.

Keywords: survival values, traditional medicine, narrative identity

For citation: Prtavian, A.A. (2022) Children's fears as a sociocultural construct: an appeal to healers in Armenia. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 142–151. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/15

Введение

В 1991 г. после распада Советского Союза Армения объявила о независимости, начался ее путь к демократии и свободной рыночной экономике. На момент распада Советского Союза и по настоящее время Армения находится на шкале ценностей выживания¹, при которых в приоритете – безопасность и экономическая стабильность, семейные ценности, религия, традиция и подчинение власти. Ценности выживания, а не самовыражения, характерны в целом для постсоветского пространства [1. Р. 215]. Для Армении как для страны с переходной экономикой характерны такие проблемы с доступностью медицины, как сосредоточенность хороших профессионалов в столице и их нехватка на периферии, скудное финансирование, недостаток врачей общей практики, отсутствие медико-экономических стандартов и трудности с повышением классификации [2. С. 42–43]. Недоступность формальной медицины может спровоцировать спрос на народную медицину [3. Р. 2]. Спрос на целительские практики может быть связан не только с недоступностью официальной медицины, но и с ослаблением государственной цензуры [4. Т. 9. С. 164] и неудовлетворенностью пациентами характером общения с медиками в государственных поликлиниках и больницах [5]. Традиционное целительство предлагает холистический подход [6. Р. 47; 7. Р. 153]. Если один аспект жизни человека выходит из равновесия, это может привести к физическим, психологическим, духовным или поведенческим проблемам [7. Р. 161]. Магия и целительство – это альтернативная целостная форма познания, к которой невозможно подступиться с помощью логики и анализа [6. Р. 49], т.е. значительный акцент делается не на рациональном познании механизмов работы практик, а на вере.

Одной из форм целительства в Армении является практика снятия страха, которая часто упоминается информантами. Считается, что значимость страха постоянно формируется культурными и историческими факторами [8. Р. 234]. Есть некоторый культурный сценарий, указывающий на то, как действовать в условиях угрозы безопасности [Ibid. Р. 232]. Культурный сценарий, принятый в Армении, побуждает родителей обращаться к целителям с просьбой снять страх. Сегодня многие рассматривают сам акт страха как угрозу саму по себе [Ibid. Р. 234]. Страх является социальным конструктом общества и традиции. На то, чего именно бояться, указывают культурные факторы, принятые в той или иной традиции.

¹ Данные по WVS Wave 6 (World Values Survey Wave 6). Armenia, 2011. URL: <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp>

Данная статья посвящена изучению значения, придаваемого страху и правилам и обычаям вокруг него. Наше исследование основывается на нарративном анализе интервью, по результатам которого были выделены причины, по которым родители принимают решение о необходимости целительской практики снятия страха, а также выделены реакции информантов, вспоминая о своем опыте посещения целителя в детстве. Вспоминая свой детский опыт, информанты заново конструируют свою идентичность, противопоставляя себя той культурной традиции, которая принята в Армении и сделала возможным проведение целительского ритуала.

Гипотеза данного исследования состоит в том, что внимание к детскому страху в Армении обусловлено культурной традицией этой страны. Страх социально сконструирован и поощряется традицией. При этом выросшие информанты противопоставляют себя этой традиции.

Страх перед страхом

Информантами считается, что страх нельзя игнорировать, его нужно снимать, потому что «он оставляет след внутри человека, делает его слабым, разрушает тело». В практиках, связанных со снятием страха, обычно, хотя и не всегда, участвуют дети. Родители, почувствовав, что их ребенок испытывает страх, стараются пресечь более серьезное развитие событий. Нарративный анализ позволил выделить основные причины, по которым родители или старшие родственники считают, что необходимо отвести ребенка снимать страх.

Первой является объективная причина. Так, информантка рассказала о том, как ее маленький племянник стал свидетелем ограбления:

Это был 1981 г. Значит, страх в чем заключался. Он жил в Пятигорске у бабушки. Вот ночью к ним залезли бандиты, воры и просили выложить сразу, дать все драгоценности, какие есть. Бабушка, естественно, отказывалась, у них нет ничего такого, богатства. И они ребенка на руки и приложили вот так нож к горлу и сказали: «Не дашь – убьем ребенка». Ну, естественно, ребенок испугался, он стал от страха это было или от чего, я не знаю, вполне здоровый ребенок, у него, стоило температуре немножко подниматься, как начинал он глотать язык. И было два-три случая, не будь вот, скажем, кого-то рядом, ребенок мог бы умереть [Интервью 1].

Травматичное событие нанесло вред ребенку, с которым врачи справиться не смогли, и целительская практика стала последней надеждой:

[мать ребенка] чтобы избавить ребенка от этой напасти, пошла бы на все. Лечили его, не проходило. Мы никогда с такими вещами не сталкивались, не ходили. Я даже, честно говоря, не верила. Водитель моего брата, отца ребенка, сказал, что в Ошакане¹ живет женщина, которая снимает страх [Интервью 1].

Интервью 2 так же демонстрирует роль объективной причины в появлении страха:

Насчет страха – дочь была маленькая, собака напугала, понятно, что стресс. Чтобы ничего дальше не произошло, не было других проявлений, было сделано [Интервью 2].

¹ Село, Арагатцонская область, Армения.

В данных случаях дети не просили родителей отводить их снимать страх и не говорили о том, что им было страшно. Но травматичное событие, такое как ограбление или нападение большой собаки, не может не напугать ребенка.

Вторая причина, по которой родители отводят детей снимать страх, – это интерпретация детского поведения как того, что ребенок чего-то испугался. Наличие страха родителями замечается в поведенческих проблемах – «ребенок нервничал, тревожился, был непослушным»:

Он [сын-подросток после ограбления] был... стал нервным каким-то, я чувствовала, что он опять еще чего-то боится.... Он вообще был нервный, дерганный. Он понимал, что по его вине мы потеряли деньги, все такое. Но на все это было нам наплевать, главное, что он жив остался [Интервью 2].

Непослушное поведение детей или подростковая раздражительность заставляют родителей считать, что что-то не так по причине страха; страх – это когда ребенок становится капризным и непослушным:

– ...что такое страх, который снимают? Что, если не снять страх?

– говорят, что, если у ребенка не снять страх... ну вот часто бывает, что ребенок становится капризным, тревожным, плаксивым, непослушным. И то одно болит, то другое. И говорят, может он чего-то испугался. Испуг может быть у него от звука, от громкого взрыва, салюта, сна. Ребенок маленький, он не может рассказать [Интервью 3].

На наличие страха также может указывать болезнь ребенка:

Ну, так получилось, что дети, когда были маленькие, в один период начали болеть. Мне сказали, посоветовали, что, наверное, от страха... вот, ну, действительно, ходили за мной хвостиком, напуганы были [Интервью 3].

Болезнь ребенка интерпретируется родителями как наличие страха. При этом, как правило, на это родителям указывает кто-то другой (целитель или соседи).

Четвертая причина, по которой родители решают, что нужно избавить ребенка от страха, состоит в том, что ритуал во всяком случае не навредит. Это не сознательный выбор, а то, к чему вынуждают окружение и сложившаяся культура. Так, информантка водила старшего сына снимать страх. Она считает, что он испугался врачей в больнице:

Ему, когда было 2 года [2017 год], должны были сделать операцию на пальчике, было что-то с сухожилием. Больница старая, советская, врачи такие же [г. Ереван]. Меня не пустили в операционную, сын кричал от страха, а вокруг него только врачи в белых халатах. Я стояла, слышала, как он кричит от страха, и ничего не могла сделать. Какие-то бесчувственные врачи, как в советское время [Интервью 4].

Информантка демонстрирует недовольство врачами потому, что они не пустили ее в операционную, напугали сына, а больница была старой и советской. Информантка сделала вывод, что врачи напугали ребенка, тем не менее, вести сына к целителю работать со страхом было не ее решением, а решением матери. Снять страх было решено «на всякий случай», информантка отмечает, что она сама не особо верит в целителей, и на посещении настояла ее мама, с которой она не стала спорить:

Я не особо верю, но мама настаивала, что надо. Так традиционно укрепились, что если ребенок чего-то испугался, его надо отвести к целителю снимать страх [Интервью 4].

Саму информантку тоже водили снимать страх «на всякий случай», после стрессового события. Точно так же ее родители «решили, что надо отвести нас с сестрой снять страх».

Скептически относившаяся к целительству, информантка прокомментировала реакцию ребенка на ритуал как положительную, в отличие от посещения врача:

– *Как ребенок себя чувствовал, когда снимали страх?*

– *Спокойно. Это же не какие-то врачи в белых халатах* [Интервью 4].

Посещение целителя в данном случае – это, скорее, дань традиции, потому что «все так делают», но главным образом еще и потому, что «от этого точно не станет хуже».

В исследовательской литературе страх понимается как универсальное человеческое чувство, связанное с мыслью о возможном риске [9. Р. 10]. Риск представляет собой возможность неприятностей или травм, чего-то неприятного или нежелательного, что может произойти; он подразумевает ситуацию, связанную с подверганием опасности [Ibid.]. Мэри Дуглас была первой, кто исследовал риск как социальную или культурную конструкцию и восприятие риска как социального процесса [Ibid. Р. 11]. При этом, утверждение о том, что риски социально сконструированы, не означает, что рисков не существует. Риски действительно существуют, но их восприятие социально сконструировано, и человек будет реагировать на это сконструированное восприятие риска [Ibid. Р. 12]. Каждая группа выбирает, на каком типе риска сосредоточиться, а какой опустить, каждая группа имеет свой собственный набор рисков, которые необходимо учитывать [Ibid. Р. 13]. Система ценностей заставляет людей сосредотачиваться на определенных рисках или, наоборот, игнорировать их. В свою очередь, страх приводит к поиску безопасности любыми средствами [Ibid.]. Риск, о котором говорят наши информанты, отводящие детей снимать страх, заключается в том, что детский страх может вызвать более серьезные проблемы. Пристальное внимание к детскому страху и необходимость от него избавиться любыми способами объясняется информантами тем, что «страх оставляет след»:

Страх делает человека слабым. Я помню, мама мало ела, худела, ей было плохо, ее отвели снять страх и все прошло [Интервью 5].

Ослабив человека, страх может стать причиной болезни:

Если не помочь душе избавиться от страха, то он начнет вредить телу, появятся болезни. Снятие страха помогает вылечить тело через душу [Интервью 6].

Снятие страха воспринимается как ритуал, который если не поможет, то во всяком случае не навредит. Информанты отмечают традиционность решения обращения к целителю – «В Армении нет ни одной семьи, в которой не обращались бы к целителям. Панацея от всех бед». Проанализировав интервью, мы выделили четыре причины, по которым родители считают необходимым избавить ребенка от страха:

Объективная причина (травмирующее событие).

Поведенческая проблема (ребенок раздражительный и непослушный).

Физическая слабость («часто болел»).

Дань традиции («я в это не верю, но всех водили, и я отвела ребенка, хуже не станет»).

Страх, таким образом, является чем-то, от чего человек не всегда может избавиться самостоятельно. Страх может повлиять на дальнейшую жизнь; страх – это аспект человеческой жизни, который выводит его из равновесия, что, в свою очередь, может привести к физическим, психологическим, духовным или поведенческим проблемам [7. Р. 158]. Кроме того, сам уровень внимания к детскому страху говорит о некоторой культурно-сконструированной традиции, указывающей, чего именно опасаться и как избавляться от риска. «Культурный сценарий» [8. Р. 232] указывает на риск серьезного заболевания и необходимость отвести ребенка вылечить страх.

Ответом на вопрос о пристальном внимании к страху в армянском обществе могут быть ценности выживания. Армения находится на шкале выживания с момента распада Советского Союза и по настоящее время. Информанты рассказывают об общей тревожности в стране:

– ...в каком году вы детей водили, и что тогда происходило в стране?
 – я сейчас скажу... это был 93 год. Младшей не было года, старшей было полтора-два. Осень девяносто третьего. В стране война началась, шла война в Арцахе. У нас не было света, не было газа, ну темные, темные годы. С девяносто первого года все началось. А в девяносто третьем, не помню летом или осенью, тепло было, мы пошли, начало осени. Это и тогда было популярно и сейчас, мы тогда жили в Харберде, я тогда никого не знала. Я не связывала все с ситуацией в стране, в Армении было тихо там, где мы были. Тревожность общая была [Интервью 3].

Реакция детей и нарративная идентичность

Дети автоматически являются уязвимой группой [Ibid. Р. 234]. Они не могут принимать решений сами, за них решают родители, в том числе, родители решают, как избавить ребенка от страха. Вероятно, можно говорить об идентичности уязвимости [Ibid. Р. 235]. Проанализировав интервью с теми, кого водили снимать страх, можно выделить реакции информантов на ритуал и последующее конструирование своей идентичности, которая строится на противопоставлении себя традиции, принятой в обществе. Довольно характерным является то, что клиенту целителя кто-то другой указывает на страх:

Я была мелкая. И меня укусила собака. И я не знаю, почему все решили. Ну, я не помню, чтобы я испугалась собаки, мне наоборот, было ее жалко. Ну, короче, все решили, что я испугалась и водили меня снимать страх [Интервью 7].

Те, кто решил, что информантке нужно снимать страх это, – «бабушка, родители и еще куча народу». Решение было принято по объективной причине – большая собака не могла не напугать ребенка. Вспоминая об опыте ритуала, информантка отмечает свое негативное отношение:

Ну, я помню, что мне не понравилось, что мы поднимались туда, в эти горы. Мне вообще показалось, что мне это было не очень нужно, и вся эта история со страхом мне тоже не очень нравилась. Я не думала, что у меня этот страх уведут унесут, короче. Ничего хорошего я не чувствовала [Интервью 7].

При этом отмечается, что после ритуала «бабушка точно успокоилась», но сама информантка «ничего хорошего не чувствовала». Если данная ин-

формантка не помнит, чтобы ей было страшно, другая отмечает перманентное ощущение страха:

Честно говоря, тогда я была очень маленьким ребенком и у меня всегда были какие-то страхи, у моей сестры, у моего брата в том числе. Не знаю, за счет чего, но они всегда шагали вместе с нами, и я помню одного человека, скажем так, и в каком-то смысле, наверное, она была неким авторитетом в этом селе, потому что ее все знали, и я помню даже ее имя. И я помню, что как-то мне было страшно спать, и меня привезли к ней, и она, я помню, держала меня очень, и я помню, что я как-то попыталась руки обратно к себе тянуть, и она не давала мне это делать, и от этого мне стало все страшнее и страшнее. Это не то что она помогла мне избавиться от каких-то страхов, а наоборот, это очень давило на меня. Она так прямо смотрела мне в глаза и, наверное, что-то хотела прочитать или что-то там другое, но все-таки я была маленьким ребенком и на самом деле это было очень репрессивно что ли. Я не чувствовала себя от этого очень хорошо [Интервью 8].

Информантка говорила о том, что во время целительства ей было еще страшнее, ее напугали целительница и ее методы. Вспоминая о своем опыте, она отмечает его репрессивность, а детский страх, который, по ее словам, ее преследовал, рассматривает как что-то естественное:

Я думаю, что это естественно. Я точно помню, что мы не то что говорили, что нам страшно, нас просто брали и везли туда [Интервью 8].

Решающую роль в принятии решения о том, отводить ли детей к народным целителям, играют родители и старшие родственники, в частности, бабушка. Рассказывая о своей бабушке, информантка противопоставляет себя ей и традиции и называет народное целительство суеверием:

Но прикольно то, что бабушка всегда верила этому и бабушка, мы это воспринимаем это как суеверие. Она очень верующий человек и в своей комнате у нее всегда было маленькое место, где она всегда клала свечи и т.д., даже если не ходить в церковь, у нее с собой была такая маленькая церковь. Но она очень долго время и до сих пор верит этому [целительству]. Но в связи с тем, что она сейчас находится в Голландии, мы таких процедур больше не испытываем на себе [Интервью 8].

Говоря о целительстве, информантка отмечает, что «естественно, никакого прогресса не было». Она противопоставляет себя старшим родственникам в семье и показывает свое отношение к практике, через которую, по словам информантов, проходит практически каждый ребенок в Армении, так как это своего рода традиция, как резко негативное.

Информант, которого подростком водили снимать страх, также отвечает, что в проведении ритуала не было смысла:

...ну, мне было шестнадцать, когда нас ограбили [1977 год]. Потом моя мама решила, что надо с меня снять страх. Как всегда, не спросила, хочу я, не хочу. Сосед взял за шкурку и повел к какой-то женщине. Естественно, я был очень недоволен. Этого страха не было. Я не чувствовал, что меня что-то напугало. Я был категорически против этого [Интервью 3].

Даже если информанты транслируют перманентное состояние страха – «страх шагал с нами» – впоследствии отмечается, что на самом деле он был против того, чтобы его подвергали процедуре снятия страха. Те, кого отводят снимать страх, всегда пассивны. Они или соглашаются, так как это традиция,

или слишком маленькие, чтобы протестовать. Но впоследствии, вспоминая об опыте снятия страха, они говорят о том, что «не верили в это», «это было неприятно», «мне это не было нужно». Здесь можно говорить о том, что нарративная идентичность противопоставления себя традиции конструируется через дискомфорт.

Другой вид отношения к ритуалу, который мы выделили из интервью, демонстрирует принятие традиции и веру в то, что практика снятия страха поможет:

– ...да, у меня удаляли страх. Свечой, да. Я так боялась... я не знаю, чего я боялась, но я очень-очень боялась, не могла спать. Паническое состояние было. И меня взяли к одной пожилой даме. У нее там был тазик с холодной водой, влила туда воск, я не помню, но помню, что она взяла в рот воду и плюнула мне в лицо. Я тогда испугалась, точнее, она застала меня врасплох. Но. После этого мой страх полностью прошел. Я уже могла оставаться одна, уже спала, больше не было проблем. Вообще уже не боялась. Не знаю, плацебо это или что, но могу сказать, что прошло после этого.

– Я правильно понимаю, что это первое же, что Вы сделали, и сразу помогло?

– Да. Ну я сейчас думаю, я не могу найти объяснение этому, но получилось, что помогло. Многим помогло. Но сейчас есть и другие методы. Я думаю, что когда нет объяснения, то может и поможет. Когда мы понимаем структуру и знаем, как она работает, мы можем сомневаться, поможет или нет. А тут какая-то магия, она более... подходит более к бессознательному [Интервью 9].

Залогом успеха здесь считается вера в то, что ритуал поможет, а само решение родителей отвести информантку снимать страх она принимает как правильное, даже несмотря на то, что в какой-то момент во время ритуала ей было страшно. Таким образом, мы наблюдаем реакцию, которая описывается через дискомфорт и неприятие ритуала, а также реакцию принятия и одобрения решения родителей отвести к целителю. Основываясь на своих ценностях и вере в то, что целитель поможет, родители информантки сразу отвели ее к целительнице, которая смогла помочь с первого же сеанса.

Выводы

Основываясь на интервью, можно выделить основные мотивы, по которым родители принимают решение работать с детским страхом с помощью целительства, однако из интервью видно, что довольно часто у детей нет запроса на то, чтобы их отвели снять страх, либо они слишком маленькие и не могут сами его артикулировать. Родители сами интерпретируют поведение ребенка как наличие страха, который нужно снять, чтобы не начались более серьезные проблемы. Под проблемами подразумеваются как психологические, так и физиологические заболевания, так как считают, что страх уничтожает тело, и пытаются превентивно преодолеть более серьезные последствия.

Наше исследование позволяет предположить, что значение, придаваемое детскому страху, сконструированно традицией. На социальное конструирование страха влияют ценности выживания и традиционные ценности, также вера в то, что страх вызывает риск возникновения у ребенка опасной болезни.

Список информантов

- Интервью 1. Д., жен., 80 лет, г. Москва.
Интервью 2. М., жен., ок. 60 лет, г. Москва.
Интервью 3. А, муж., 61 год.; С. жен., 57 лет, г. Ереван.
Интервью 4. Н, жен., 37 лет, г. Ереван.
Интервью 5. Э. жен., 67 лет, г. Ереван.
Интервью 6. Л, жен., 57 лет, г. Ереван.
Интервью 7. А, жен., 30 лет, г. Амстердам.
Интервью 8. Д.О., жен., 25 лет, г. Аштарак.
Интервью 9. Х, жен., 40 лет, г. Гётеборг.

Список источников

1. Inglehart R. Globalization and postmodern values // *The Washington Quarterly*. 2000. 23:1. P. 215–228.
2. Авакян М.Н. и др. К вопросу о развитии телемедицины в Республике Армения // *Медицинское образование и профессиональное развитие*. 2013. № 4 (14).
3. Stickley A., Koyanagi A., Richardson E., Roberts B., Balabanova D., McKee M. Prevalence and factors associated with the use of alternative (folk) medicine practitioners in 8 countries of the former Soviet Union // *BMC Complementary and Alternative Medicine*. 2013. 13(1). P. 1–9.
4. Григорьева О., Ярская-Смирнова Е. «Мы – часть природы...»: социальная идентификация народных целителей // *Журнал социальной антропологии*, 2006. Т. 9, № 1 (34).
5. Романов П., Ярская-Смирнова Е. Социальное как иррациональное? (Диагнозы 1990 года) // *Новое литературное обозрение*. 2007. № 83.
6. Greenwood S. 'Wake the Flame Inside Us': Magic, Healing and the Enterprise Culture in Contemporary Britain // *Etnofoor*. 1995. № 1. P. 47–62.
7. Moodley R., Sutherland P., Oulanova O. Traditional healing, the body and mind in psychotherapy // *Counselling Psychology Quarterly*. 2008. Vol. 21, № 2. P. 153–165.
8. Furedi F. The only thing we have to fear is the 'culture of fear' itself // *American journal of sociology*. 2007. Vol. 32, №. 2. P. 231–234.
9. Boscoboinik A., Horakova H. (ed.). *The anthropology of fear: Cultures beyond emotions*. Lit, 2014.

References

1. Inglehart, R. (2000) Globalization and postmodern values. *The Washington Quarterly*. 23(1). pp. 215–228.
2. Avakyan, M.N. et al. (2013) K voprosu o razvitii telemeditsiny v Respublike Armeniya [On the development of telemedicine in the Republic of Armenia]. *Meditinskoe obrazovanie i professional'noe razvitie*. 4(14).
3. Stickley, A., Koyanagi, A., Richardson, E., Roberts, B., Balabanova, D. & McKee, M. (2013) Prevalence and factors associated with the use of alternative (folk) medicine practitioners in 8 countries of the former Soviet Union. *BMC Complementary and Alternative Medicine*. 13(1). pp. 1–9.
4. Grigorieva, O. & Yarskaya-Smirnova, E. (2006) "My – chast' prirody...": sotsial'naya identifikatsiya narodnykh tseliteley ["We are part of nature...": social identification of traditional healers]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – The Journal of Sociology and Social Anthropology*. 1(34).
5. Romanov, P. & Yarskaya-Smirnova, E. (2007) Sotsial'noe kak irratsional'noe? (Diagnozy 1990 goda) [Social as irrational? (Diagnosis 1990)]. *Novoe literaturnoe obozrenie*. 83.
6. Greenwood, S. (1995) 'Wake the Flame Inside Us': Magic, Healing and the Enterprise Culture in Contemporary Britain. *Etnofoor*. 1. pp. 47–62.
7. Moodley, R., Sutherland, P. & Oulanova, O. (2008) Traditional healing, the body and mind in psychotherapy. *Counselling Psychology Quarterly*. 21(2). pp. 153–165.
9. Furedi, F. (2007) The only thing we have to fear is the 'culture of fear' itself. *American Journal of Sociology*. 32(2). pp. 231–234.
10. Boscoboinik, A. & Horakova, H. (eds) (2014) *The Anthropology of Fear: Cultures Beyond Emotions*. LIT Verlag.

Сведения об авторе:

Пртавян А.А. – аспирантка первого года в аспирантской школе по социологическим наукам Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Стажер-исследователь в Международной лаборатории исследований социальной интеграции Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). E-mail: adf2@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Prtavian A.A. – 1st year postgraduate student, research assistant at the International Laboratory for Social Integration Research, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: adf2@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 21.06.2022;
одобрена после рецензирования 10.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 21.06.2022;
approved after reviewing 10.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

Original article

УДК 311.2

doi: 10.17223/1998863X/69/16

SELECTION OF FACTOR EXTRACTION METHODS IN COMPLICATED RESEARCH CONTEXTS: PRACTICE RECOMMENDATIONS

Anna N. Suleymanova¹, Irina K. Zangieva²

^{1,2} *National Research University Higher School of Economics, Moscow,
Russian Federation*

¹ *asuleymanova@hse.ru*

² *izangieva@hse.ru*

Abstract. It is a common practice among social scientists to use “factor analysis” and “principal components analysis” interchangeably, even though PCA is not a factor extraction method, but a dimension reduction technique. Most of the recent studies with factor analysis rely solely on PCA or fail to specify which factor extraction method was used. Supposedly, it is caused by the lack of structured and comprehensive guidance on the selection of factor extraction methods. The aim of this study is to develop a theoretically and empirically justified algorithm of factor extraction method selection, depending on a combination of research context features, such as (a) sample size, (b) number of indicators specifying each factor, (c) size, (d) range of communalities, (e) presence of model error and (f) distribution of indicators. Seven factor extraction methods were studied: principal component analysis, weighted and generalized least squares method, maximum likelihood method, principal axis analysis, alpha-factor analysis, and image factoring. Theoretically justified algorithm was created and tested via statistical experiment with Monte Carlo simulation. Following the general outline of previous works’ experimental designs, we specified factor loadings matrices for each research context with nonzero loadings, derived correlation matrices and produced 500 Monte Carlo simulated samples (3000 samples in total) per research context. Every factor extraction method was applied to every sample and the resulting factor loadings matrices and communalities were recorded and summarized. Four criteria of factor analysis extraction adequacy were applied: squared mean errors of factor loadings, squared mean errors and absolute mean errors of communalities, and number of Heywood cases. As a result we formulated four main recommendations: it is advised to use (1) principal axis analysis or alpha-factor analysis, if a model error is suspected, (2) maximum likelihood method or generalized least squares method, if the sample is large enough and indicators are normally distributed, or vice versa, if the sample is not large enough and distribution of indicators differs from normal, (3) maximum likelihood method, if the sample is large enough, but the indicators are not normally distributed, or if the indicators are normally distributed, but the sample size is not large enough and the communalities are small, (4) generalized least squares method, if the indicators are normally distributed and the communalities are large, but the sample size is not large enough.

Keywords: factor analysis, Monte Carlo simulation, factor extraction, principal component analysis

For citation: Suleymanova, A.N. & Zangieva, I.K. (2022) Selection of factor extraction methods in complicated research contexts: practice recommendations. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 152–160. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/16

ВЫБОР МЕТОДА ФАКТОРИЗАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СИТУАЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Анна Наильевна Сулейманова¹, Ирина Казбековна Зангиева²

^{1,2} Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия

¹ asuleymanova@hse.ru

² izangieva@hse.ru

Аннотация. Исследование посвящено сравнению применимости семи основных методов факторизации в зависимости от количества индикаторов, их распределения, модельной ошибки, объема выборки, структуры общностей. По итогам статистического эксперимента составлены следующие рекомендации: а) в случае наличия модельной ошибки использовать метод главных осей или альфа-факторный анализ; б) при отсутствии модельной ошибки выбирать между методом максимального правдоподобия и обобщенным методом наименьших квадратов.

Ключевые слова: факторный анализ, симуляция Монте-Карло, извлечение факторов, метод главных компонент

Для цитирования: Suleymanova A.N., Zangieva I.K. Selection of factor extraction methods in complicated research contexts: practice recommendations // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 152–160. doi: 10.17223/1998863X/69/16

Introduction

Despite the longstanding and widespread usage of factor analysis and large number of factor extraction methods, in social sciences the statement “factor analysis was applied” often means that it was, in fact, dimension reduction with principal component analysis. According to publications in the field of social sciences, indexed in the Scopus database in 2017, principal component analysis is used at least twice as often as actual factor extraction methods altogether: among 1574 articles with “factor analysis” in keywords, abstract, or title, only 133 mention principal axis, maximum likelihood or least squares methods; alpha-factor analysis and image factoring were not mentioned once; 110 articles mention principal component analysis. The rest of the articles do not specify, which method of factor extraction was applied.

At the same time, textbooks and manuals on quantitative data analysis often limit themselves to discussion of the factor extraction process (factorization), but rarely elaborate on the benefits of each method regarding the properties of data input and on how the results might differ [1; 2]. The reason for the neglect of all other factorization methods might be the lack of a comprehensive set of best practices for their selection.

These methods were repeatedly compared in different research circumstances, but, generally, the comparison usually covers two or three of them applied to a very specific type of data [3–7]. In this article we compare six factor extraction methods (unweighted least squares, or ULS; generalized least squares or GLS, maximum likelihood method, or LM; principal axis method or PAX; alpha-factor or AF; Image

Factor analysis or IF) and one dimension reduction method (Principal Component Analysis or PCA) in regard to a broad spectrum of possible, real world data types. We intend to organize existing recommendations and build a theoretically and empirically confirmed algorithm of factor extraction method selection depending on a pool of input data characteristics that were determined based on existing research and known properties of methods: (1) sample size; (2) indicators to factors ratio; (3) communalities size; (4) communalities range; (5) whether there is a significant chance of model error and (6) distribution of indicators. We call a certain combination of these characteristics a *research context*.

The main goal of the research is to develop an algorithm for the selection of factor extraction method depending on the research context. We compare methods based on their *contextual performance*, assessed by the occurrence of Heywood cases, and mean squared errors of both factor loadings and communalities produced by each method.

Related work

Factorization methods are, in their sense, mathematical instruments with a certain algorithm, which means that, in every research context, the choice of the method should be supported by theoretically justified and empirically tested recommendations. Yet the best practice for these kinds of methods so far is a segmental set of insights on the performance of each separate method.

Acito and Anderson [3. P. 228–230] compared Alpha-factor (AF), Image Factor (IF) analyses, and PCA with Monte Carlo simulations in situations, when the quality of PCA results declined: a) sample size is small, b) there are less than 6 indicators for one factor and c) communalities size differs significantly. In these situations, AF and IF were more effective, than PCA. Mislevy determined that ML is preferable, when a small number of factors is extracted on the large number of indicators. GLS, on the contrary, is preferable, when many factors are extracted on a small number of indicators. Both methods are applicable, if the numbers of both indicators and factors are small [7. P. 20–21]. Generalized least squares (GLS) is more appropriate in situations, when the sample size and communalities sizes are small, compared to unweighted least squares (ULS) and maximum likelihood (ML) [8. P. 292]. According to Fabrigar [9. P. 272–275], ML is the most appropriate method in cases when the distribution of indicators is close to normal; otherwise, they advise to analysts to use PAX. By MacCallum [10. P. 84–86] it is determined that the sample size and ratio indicators – to-factors have little effect on ML results if communalities are high. In this case, factor loadings always recovered almost perfectly. However, if some communalities are small, indicators to factors ratio and sample size start to influence the quality of recovery of factor loadings.

The findings about the properties of factor extraction methods can be schematized as follows (table 1):

Theoretically justified advice for the best selection of factor extraction methods, which we are going to verify empirically on the base of statistical experiment, are as follows:

- use PCA if the data follows every prerequisite for factor analysis,
- use ULS If (1) indicators distribution differs from normal, (2) sample size is small, (3) communalities are small, (4) there is model error and (5) there are few indicators and a lot of factors

Table 1. Factor extraction methods features

Factor extraction method	Is the method sensitive to the aspect of research context?					
	Distribution of indicators	Sample size	Communalities size	Communalities range	Number of indicators	Model error
Principal component analysis	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Principal axis method	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Unweighted least squares	No	No	No	No	No	No
Generalized least squares	No	Yes	Yes	No	No	Yes
Maximum likelihood	Yes	Yes	Yes, but large and consistent communalities lower the sensitivity to sample size and number of indicators		Yes	Yes
Image factoring	Yes	No	Yes	No	No	Yes
Alpha-factor analysis	Yes	No	Yes	No	No	Yes

• use GLS if (1) indicators distribution differs from normal, (2) the range of communalities is wide and (3) there are few indicators and a lot of factors.

• use PAX if the only deviation from ideal data properties is non-normal distribution of indicators.

• use AF or IF if the only deviation from the ideal data properties is small sample size.

• use ML if the only deviations from ideal data properties are small sample size and there are few indicators and a lot of factors.

This hypothesis can be summarized and visualized in the following scheme of theoretically substantiated selection algorithm for factor extraction methods depending on research context.

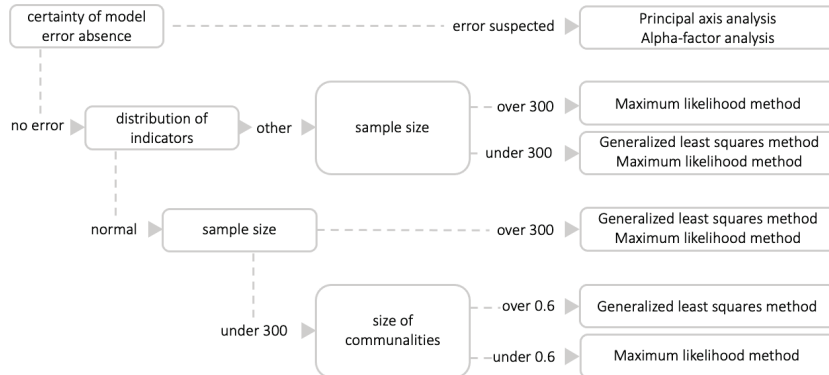


Fig. 1. Theoretically substantiated selection algorithm for factor extraction methods depending on research context

Design of experiment

We determined six aspects of research context that might affect the contextual performance of factor extraction methods: (a) presence of model error, (b) indicators to factors ratio, (c) distribution of indicators, (d) sample size, (e) size of communalities, and (f) range of communalities.

According to best practices the threshold parameters for the chosen aspects of research context are: no less than 200 cases in a sample [9, 11], communalities no smaller than 0.6, communalities range no wider than 0.3, 6 indicators per factor and normal distribution of indicators is assumed [12]. We also consider model

errors in the form of mild cross-loadings. Below- and above threshold parameters of the models were specified as follows (table 2):

Table 2. Specification of research context hypothetically best for use of each factorization method

	PCA	ULS	PAX	GLS	AF & IF	ML
Indicators to factors ratio	6/1	3/1	6/1	3/1	3/1	3/1
Communalities size	>0.6	<0.6	>0.6	>0.6	>0.6	>0.6
Communalities range	<0.3	>0.3	<0.3	>0.3	>0.3	<0.3
Model error	No	Yes	No	No	No	No
Sample size	N = 5000	N = 50	N = 5000	N = 5000	N = 50	N = 50
Distribution of indicators	N (5; 1.73)	Bi (10; 0.3)	Bi (10; 0.3)	Bi (10; 0.3)	N (5; 1.73)	N (5; 1.73)

Following De Winter [12] general outline, we specified factor loadings matrices for each research context with nonzero loadings, derived correlation matrices and produced 500 Monte Carlo simulated samples (3000 samples in total) for each research context, according to the summary in *table 2*. Simulations were conducted via R library.

Deciding on form and parameters of distributions, we considered the data from 8th wave of European Social Survey that could be factorized: pseudo-interval attitudinal variables with 11 gradations that address the topics of trust to social institutions, satisfaction with social institutions and life, attitudes towards minorities. Distributions were analyzed across countries. For every variable by every country Kolmogorov-Smirnov normality test was conducted, proving that none of the variables were normally distributed. Consequently, variables were divided into two groups: those with distribution close to normal and those with distribution significantly unlike normal. For the former sample means and standard deviations were computed and averaged. These values ($\mu = 5$ и $\sigma = 1.73$) were used as parameters of normal distribution for respective research contexts. For the latter, the most resembling to real variables distribution was picked from the available in Simulation module, which turned out to be binomial distribution with parameters $p = 0.3$ and $n = 11$.

To pick out a seed for every simulated sample we used a true random sets generator, based on atmospheric noise, and recorded every seed for the experiment to be repeatable.

Every factor extraction method was applied to every sample and the resulting factor loadings matrices and communalities were recorded and summarized. The following criteria for comparison of factor extraction methods adequacy, common for similar research, were applied:

- Squared mean errors of factor loadings [10. P. 92–93; 12; 13. P. 35]. This criterion shows how much sample factor loadings differ from model ones and varies from 0 to 100%. If the error is 0%, it means that the sample matrix is identical to the model. These estimations were averaged for every method in every research context. According to this criterion, the most contextually appropriate method is the one that produced the smallest average squared mean error in the given research context.

- Squared mean errors [8. P. 287] and absolute mean errors of communalities. The former is analogous to squared mean error of factor loadings, the latter, however, serves the purpose of assessing the inclination of the methods to over- or underestimate the communalities.

• Number of occurred Heywood cases, when the communality is greater than 1 [8, 12].

We compared the contextual performance of methods by the following rule: in each research context the best method is the one with the least mean square error for both factor loadings and communalities. We consider the difference in errors significant if the remainder is greater than 5%. If two or more methods have similar performance in given research situation, we consider the one without inclination to over- or underestimate the communalities the best.

Experimental results

Based on the experimental results we specified the theoretically justified algorithm to four basic rules (Fig. 2).

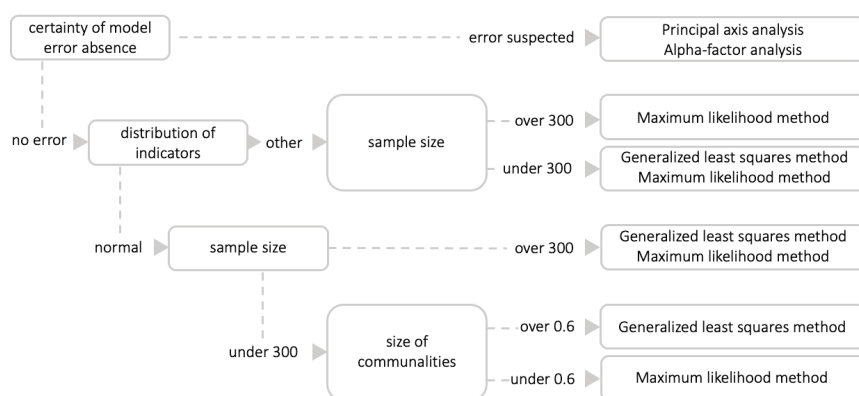


Fig. 2. Algorithm of selection of the most contextually appropriate factor extraction method

Model error suspicion divides all methods into two groups: if there is a significant chance of model error, it is advised to use PAX or AF; if one is sure that there are no substantial cross-, it is advised to use ML or GLS. In case of the latter one needs to consider three more aspects of research context: distribution of indicators, sample size and communalities size.

Three of the seven examined methods (ULS, PCA and IF) did not turn out to be the most contextually appropriate for corresponding research contexts. This result is substantial in terms of PCA, as the most employable factor extraction method in sociological research (especially considering the fact that PCA is not a factor extraction method, but a method for dimension reduction), not being the most contextually appropriate in PCA context, which is a combination of rules of thumb for input data for factor analysis: no less than 6 indicators for every factor, normal distribution of indicators, sample size no smaller than 300 cases, lack of model error, communalities size no less than 0.6 and communalities range no more than 0.3).

Summary of PCA contextual performance in all six research contexts can be specified as follows: (table 3).

Table 3. Summary table for contextual adequacy criteria for PCA

	MSE for communalities	MSE for loadings
PCA context	14%	3%
ULS context	27%	22%
PAX context	15%	4%
GLS context	21%	11%
AF & IF context	29%	17%
ML context	27%	10%

Results highlight that, out of 6 considered contexts, PCA is the most appropriate method for PCA research context. Likewise, equally well within measurement accuracy it scored in PAX context that differs from PCA context only by distribution of indicators (which is normal for PCA context and deviates from normal for PAX context). Therefore, if the only considered or accessible method is PCA, it is advised to strictly adhere to every prerequisite to input data characteristics and monitor the size and range of resulting communalities. The only admissible deviation from requirements might be different from normal distribution of indicators, which only impairs the contextual performance of PCA by 1%, under otherwise equal conditions.

Discussion

We investigated the properties of six factor extraction methods against each other and PCA. As a result we theoretically composed, empirically tested and adjusted an algorithm for selection of an appropriate factor extraction method depending on research context combined of a) the number of indicators on every factor (threshold requirement – no less than 6 indicators); b) distribution of indicators (normal against any other); c) whether there is a chance of model error; d) sample size (threshold requirement – 300 cases); e) size of the communalities (threshold requirement – 0.6) and f) range of the communalities (threshold requirement – 0.3). The theoretically substantiated algorithm was derived from mathematical model and previous research analysis. It was then tested on simulated data matching the stated research contexts.

As a result of the experiment, only for two research contexts theoretically substantiated algorithm turned out to be correct: ML is indeed appropriate in contexts where the only deviations from ideal input data for factor analysis are sample size and number of indicators. Partly proved to be true the appropriateness of GLS for contexts where every prerequisite is violated, except for sample and communalities size, but equally appropriate in this context turned out to be ML. The rest of the algorithm proved to be inaccurate: in contexts where every prerequisite is violated, the most appropriate factor extraction methods are PAX and AF; in the rest contexts the most appropriate methods are either GLS or ML, or both turned out to be equally appropriate. We speculate that the possible cause might be the large number of criteria that make up the research context. Previous research only combined three or less criteria [3, 8, 13–15]; here, on the contrary, we combined six of them. Presumably, their combinations, as opposed to separate criteria, determined the contextual performance of factor extraction methods.

Theoretically substantiated algorithm was improved: the number of significant aspects of research context was narrowed down to four (sample and communalities size, model error, and distribution of indicators), and only four of examined factor

extraction methods were contextually appropriate in given research contexts. Overall, the recommendations on method selection might be put as follows:

1. PAX and AF are advised for use when a model error is suspected;
2. ML and GLS are equally advised for use when (a) indicators are distributed normally and sample size is over 300 cases and (b) both indicators are not normally distributed, and sample size is less than 300 cases (upon the condition that model error is ruled out and irrespectively of communalities size);
3. ML is advised to use when (a) indicators are not distributed normally and sample size is over 300 cases and (b) indicators are distributed normally, but sample size is less than 300 cases and communalities are less than 0.6 (upon the condition that model error is ruled out);
4. GLS is advised to use when indicators are normally distributed and communalities size is over 0.6, but sample size is less than 300 cases (upon the condition that model error is ruled out).

Reference

1. Kim, J.O. & Mueller, W. (1978) *Factor analysis: Statistical Methods and Practical Issues*. Beverly Hills, CA: Sage.
2. Harman, H. (1976) *Modern Factor Analysis*. Chicago: The University of Chicago Press.
3. Acito, F. & Anderson, R. (1980) A Monté Carlo Comparison of Factor Analytic Methods. *Journal of Marketing Research*. 17(2). pp. 228–236.
4. Browne, M. (1968) A comparison of factor analysis techniques. *Psychometrika*. 33(3). pp. 267–334.
5. Costello, A. & Osborne, J. (2005) Best practices in Exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. *Practical Assessment Research & Evaluation*. 10(7). pp. 1–9.
6. Keith, T., Caemmerer, J. & Reynolds, M. (2016) Comparison of methods for factor extraction for cognitive test-like data: Which overfactor, which underfactor? *Intelligence*. 54. pp. 37–54.
7. Mislevy, R. (1986) Recent developments in the factor analysis of categorical variables. *Journal of Educational Statistics*. 11(1). pp. 3–31.
8. Ihara, M. & Okamoto, M. (1985) Experimental comparison of least-squares and maximum likelihood method in factor analysis. *Statistics & Probability Letters*. 3. pp. 287–293.
9. Fabrigar, L., MacCallum, R., Strahan, E. & Wegener, D. (1999) Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. *Psychological Methods*. 4(3). pp. 272–299.
10. MacCallum, R., Widaman, K., Zhang, Sh. & Hong, S. (1999) Sample size in factor analysis. *Psychological methods*. 4(1). pp. 84–99.
11. Marsh, H., Balla, J. & McDonald, R. (1988) Goodness-of-Fit Indexes in Confirmatory Factor Analysis: The Effect of Sample Size. *Psychological Bulletin*. 103(3). pp. 391–410.
12. De Winter, J. & Dodou, D. (2016) Common Factor Analysis versus Principal Component Analysis: A Comparison of Loadings by Means of Simulations. *Communications in Statistics: Simulation and Computation*. 45(1). pp. 299–321.
13. Briggs, N. & MacCallum, R. (2003) Recovery of weak common factors by maximum likelihood and ordinary least squares estimation. *Multivariate Behavioral Research*. 38(1). pp. 25–56.
14. Nylund, K., Asparouhov, T. & Muthén, B. (2007) Deciding on the Number of Classes in Latent Class Analysis and Growth Mixture Modeling: A Monte Carlo Simulation Study. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*. 14(4). pp. 535–569.
15. Coughlin, K. (2013) *An Analysis of Factor Extraction Strategies: A Comparison of the Relative Strengths of Principal Axis, Ordinary Least Squares, and Maximum Likelihood in Research Contexts that Include both Categorical and Continuous Variables*. Graduate Theses and Dissertations. [Online] Available from: <http://scholarcommons.usf.edu/etd/4459.2013> (Accessed: 26th October 2022).

Information about the authors:

Suleymanova A.N. – Master in Sociology, senior lecturer, Department of Sociological Research Methods, School of Sociology, Faculty of Social Sciences, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: asuleymanova@hse.ru

Zangieva I.K. – Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Department of Sociological Research Methods, School of Sociology, Faculty of Social Sciences, National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: izangieva@hse.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Сведения об авторах:

Сулейманова А.Н. – магистр социологии, старший преподаватель кафедры методов сбора и анализа социологической информации, департамента социологии, факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). E-mail: asuleymanova@hse.ru

Зангиева И.К. – кандидат социологических наук, доцент кафедры методов сбора и анализа социологической информации, департамента социологии, факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). E-mail: izangieva@hse.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

*Статья поступила в редакцию 20.08.2022;
одобрена после рецензирования 20.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 20.08.2022;
approved after reviewing 20.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

Научная статья
УДК 378
doi: 10.17223/1998863X/69/17

СТУДЕНТЫ О КОРРУПЦИИ В УНИВЕРСИТЕТЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Валерий Иванович Шарин

*Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия,
Sharin_vi@usue.ru, ORCID ID: 0000-0003-4934-8975*

Аннотация. Статья посвящена изучению отношений коррупции. Цель работы – на основе изучения мнения студентов о коррупции в университете установить ее характер, причины, факторы, влияющие на снижение коррупции, а также определить влияние гендера на данные оценки. Установлено, что на коррупцию в университете влияют низкая заработная плата преподавателей и сотрудников, невысокий морально-нравственный уровень, неэффективный административный контроль. Гендер имеет влияние на оценку студентами коррупции в университете.

Ключевые слова: коррупция в университете, мнение студентов университета, гендерный фактор, причины коррупции, факторы снижения коррупции

Для цитирования: Шарин В.И. Студенты о коррупции в университете: гендерный аспект // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 161–176. doi: 10.17223/1998863X/69/17

Original article

STUDENTS ABOUT CORRUPTION AT THE UNIVERSITY: A GENDER ASPECT

Valery I. Sharin

*Ural State University of Economics, Yekaterinburg, Russian Federation, Sharin_vi@usue.ru,
ORCID ID: 0000-0003-4934-8975*

Abstract. The research is aimed at studying students' opinions about corruption at the university. The authors give ambiguous assessments of the nature of corruption at the university, including taking into account gender characteristics. The aim of the work is to determine the nature of corruption, its causes, factors influencing the reduction of corruption, and also to determine the influence of gender on these assessments based on the study of students' opinions about corruption at the university. The methodological basis of the research was works by leading foreign and Russian scientists. The study was conducted using general scientific methods, such as systems analysis, questionnaires, generalization and systematization, comparison. The empirical basis is based on a survey of 400 students and 14 individual semi-structured interviews of students of the Ural State University of Economics and St. Petersburg State University, collected in 2022. As a result of the study, it has been found that the majority of the students, according to them, did not participate in corruption relations, but a third of the respondents consider it as a means suitable in a difficult life situation. According to the students, low salaries, low moral level of some of the professors and staff of the university, as well as ineffective administrative control, have the greatest influence on the existence of corruption at the university. The following can significantly affect the reduction of corruption at the university: increased responsibility for acts of corruption, increased salaries of university professors and staff, as well as increased administrative control. Compared to female students, male students are more willing to

commit acts of corruption, if these acts bring benefits, help get out of a difficult situation; they more often carry out commercial bribery at the university, use the official position of professors and administrators to solve personal problems. Male students consider financial factors (low salaries of most university professors and staff) and female students consider personal moral qualities as the most important causes of corruption. A gender approach was also manifested in the evaluation of measures to reduce corruption: male students preferred administrative, forceful measures of struggle (increased responsibility, control), as well as increased salaries for university professors and staff, while female students thought of timely legal information and trust as measures to prevent corruption. The hypothesis is confirmed that gender has an impact on the university students' assessment of the nature of corruption, its causes, as well as factors that, according to students, can reduce the level of corruption.

Keywords: corruption at university, opinion of university students, gender factor, causes of corruption, factors of corruption reduction

For citation: Sharin, V.I. (2022) Students about corruption at the university: a gender aspect. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 161–176. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/17

Введение

В российском социуме сформировалось, в основном, отрицательное отношение к коррупции, которая подрывает его моральные устои, правовое сознание граждан. Между тем коррупция получает неоднозначные оценки и трактовки как на обыденном уровне, так и в научной среде, что связано со сложившимися в обществе нормами морали, обычаями. В этом случае нормативные подходы к коррупции не всегда соотносятся с социокультурными основами. Результаты проведенных исследований показывают, что, несмотря на негативное отношение к образу коррупционера, большая часть респондентов готова к получению материального вознаграждения за оказанные другому человеку услуги. Лишь каждый пятый респондент отказался бы от такого вознаграждения [1]. Коррупционные действия, как правило, совершаются молодежью – 52% установленных деяний приходится на лиц от 18 до 30 лет. В большинстве случаев это лица мужского пола, однако доля женщин, совершающих коррупционные преступления, почти в два раза выше, чем среди других категорий преступлений [2]. Женщины более нетерпимы к коррупционным проявлениям, нежели мужчины. По сравнению с мужчинами женщины существенно реже дают и получают взятки. Это отмечают как российские [3], так и зарубежные исследователи [4]. Коррупция связана с риском. И в этом случае гендер также имеет влияние на поведенческие стереотипы. Как отмечают А.В. Алейников, Г.П. Артемов, А.Г. Пинкевич, «культурные составляющие пола определяют различия в суждениях о значимости риска, его принятии или избегании. Женщины видят мир более опасным, потому что ощущают себя более уязвимыми и обладающими меньшим контролем над ситуациями риска» [5. С. 188].

Сфера высшего образования нередко оценивается исследователями как одна из наиболее подверженных коррупции. Нередко в университетах отсутствуют четкие, утвержденные правила, регламентирующие взаимоотношения «преподаватель – студент». Отношения носят традиционный характер, которые могут выходить за пределы правового поля и норм общественной морали. Неоднозначное понимание коррупции в общественном сознании порождает риски слабого формирования антикоррупционного поведения студентов

и преподавателей университета. Явление коррупции в университете нуждается в дальнейшем исследовании, формировании общих подходов к ее правовой и этической сторонам, оценке причин возникновения и бытования в высшей школе.

Актуальность темы предопределила главную исследовательскую задачу работы – на основе изучения мнения студентов о коррупции в университете установить характер коррупции, ее причины, факторы, влияющие на снижение коррупции, а также определить влияние гендера на данные оценки. Гипотеза исследования – предполагается, что гендер имеет существенное влияние на оценку студентами университета характера коррупции, ее причин, а также факторов, способных, по мнению студентов, снизить уровень коррупции.

Коррупция в университете: теоретико-методологические подходы

Определение понятия «коррупция» содержится в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и трактуется как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп¹ либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [6]. Данное определение носит универсальный характер для всех сфер деятельности. Между тем определение данного понятия не включает в себя деяния, связанные с получением выгоды нематериального характера, что, по мнению российских авторов, не дает возможность охватить всю совокупность отношений в сфере образования и пригодно лишь в узком значении понятия [7]. К тому же определение коррупции по этой причине не соответствует и международному законодательству, что вызывает критику в научно-практической литературе [8]. По мнению зарубежных авторов, понятие «коррупция в сфере высшего образования» должно включать не только злоупотребление властными полномочиями для достижения материальных благ, но и включать использование служебного положения или должностных обязанностей в собственных интересах [9]. Коррупция в образовании включает в себя более широкий спектр деяний. Образование является общественным благом, поэтому профессиональные правонарушения должны рассматриваться как коррупция [10]. Так, С. Роуз-Акерман определяет коррупцию как «неправомерное использование должностного статуса для личной выгоды» [11. Р. 551], а М. Пуассон трактует «коррупцию в системе образования как систематическое использование служебного положения в личных целях» [12].

¹ В соответствии со ст. 204 Уголовного кодекса РФ это: незаконная передача лицу (получение лицом), выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

По мнению российских исследователей, в обществе сложилось неоднозначное понимание правового содержания коррупции. Социокультурные основы, традиции существенно влияют на общественное сознание в аспекте коррупции, формируя нередко лояльное отношение в том числе студентов к данному явлению [13, 14]. Переход к рыночным отношениям повлиял на мировоззрение молодых членов общества, их ориентацию, в большей мере на материальные, а не нравственные ценности, что включает студенчество в группу риска [15].

Авторами исследуются виды, формы коррупции в университете [16, 17]. Так, по оценке И.И. Фроловой, «наиболее распространенной и общественно опасной формой коррупции в образовании является использование преподавателями должностного положения при аттестации обучающегося (приеме экзамена, зачета, курсовой и выпускной квалификационной работы), выдача дипломов специалистам без профессионального соответствия, продажа и использование курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, вымогательство материальных средств за положительную оценку, навязывание платных консультаций; продажа авторских книг преподавателей. А также оказание за вознаграждение содействия студенту в переводе с платной формы обучения на бюджетную» [18]. Н.А. Боброва исследует практику фиктивного приема на работу преподавателей, «когда на работу оформляются в качестве преподавателей-совместителей лица, фактически не работающие на данных должностях, либо работающие в значительно меньшем объеме, чем предполагает формально занимаемая ими ставка» [19. С. 89]. К.Д. Титаев пишет «о начале институционализации коррупции в системе высшего образования, рассматривая практику подарков не лично преподавателю, а кафедре (институту, деканату). В данном случае благополучателем в коррупционных отношениях является не конкретное лицо, а институт. Прикрываясь интересами кафедры, преподаватели или администраторы нередко обеспечивают личные выгоды» [20. С. 28].

Особое значение исследователи уделяют причинам воспроизводства отношений коррупции в университете. Авторы отмечают, что для российского потребителя образовательных услуг статусная ценность диплома выше ценности получения профессиональных знаний. Это существенно влияет на отношение студентов к качеству получаемого образования. В обществе существует отношение к высшему образованию, когда диплом рассматривается как главная цель пребывания в университете, а для ее достижения могут считаться приемлемыми любые средства [21. С. 112]. Кроме того, к факторам воспроизводства отношений коррупции исследователи относят низкий уровень бюджетной обеспеченности университетов, невысокую заработную плату преподавателей и сотрудников высшей школы [22, 23], а также бытующие обычаи дарения и благодарностей. К.А. Прозоровская считает, что «к причинам вузовской коррупции относятся: слабость государства, не способного бороться с коррупцией; заинтересованность высшего руководства вуза в получении высоких результатов с нарушением преподавателями своих полномочий; привлекательность коррупционных подходов решения вопросов обучения для студентов» [24]. Исследователи отмечают, что инициаторами коррупционных деяний выступают, как правило, сами студенты, решающие личные проблемы, возникшие в учебном процессе. В данном случае причи-

нами коррупции являются отсутствие возможности подготовки к промежуточной аттестации, лень студентов, нежелание изучать какой-либо предмет, отсутствие мотивации к получению знаний [25. С. 71].

Направления работы по профилактике и борьбе с коррупцией в университете авторы видят в усилении административных мер: ужесточении наказания, оптимизации законодательства и усилении контроля. Эффективными могут быть целенаправленные действия руководства университета, совмещающие административный контроль с разъяснительной работой, направленной на профилактику коррупции среди преподавателей и студентов. Они должны включать изучение юридических и этических аспектов коррупции, формирование понимания у студентов и преподавателей норм этического поведения, внедрение этических кодексов, которые устанавливали бы правила взаимоотношений, формировали культуру поведения всех участников процесса обучения в университете [26]. Обеспечение эффективного административного контроля соблюдения этических кодексов в университете позволило бы предотвратить коррупционные деяния.

Авторы рассматривают особенности отношения студентов к коррупции в университете в зависимости от гендерного фактора. Так, отмечается, что студенты оценивают коррупцию не только как вредное для общества явление, но и как вполне допустимое действие в определенных жизненных обстоятельствах. Юноши чаще, чем девушки, рассматривают коррупцию как полезное явление. Для девушек более приемлемой кажется коррупция в «безвыходной ситуации» [27]. Студенты – юноши и девушки – по-разному реагируют на случаи коррупции, юноши чаще девушек дают взятки, что обусловлено гендерными отличиями. Так, юноши более склонны к риску для достижения цели, а девушки – к просоциальному и помогающему поведению [28].

Как отмечалось, понятие «коррупция» в российском законодательстве связано с фактом получения материальной выгоды. Данный подход зарубежные и большинство российских авторов в связи с коррупцией в системе образования считают узким и предлагают более широкую трактовку, определяя коррупцию в сфере высшего образования как использование субъектами образовательного процесса своего должностного положения с целью достижения личной или групповой (корпоративной) выгоды в любой форме. Этот подход представляется нам научно приемлемым и используется в данной работе.

Методология исследования

В 2022 г. нами проведены исследования коррупции в сфере высшего образования на базе Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург) и Санкт-Петербургского государственного университета. В ходе исследования решались задачи изучения мнения студентов о характере коррупции в университете, ее причинах, мерах по снижению коррупции, а также влиянии гендерных различий на данные оценки. В опросе приняли участие 400 студентов 1–4-го курсов очной и заочной форм обучения университетов, студентов-магистрантов, из них: в возрасте до 30 лет – 96%, женского пола – 64%. Опрос проводился сплошным способом, посредством анкетирования. Авторами составлен опросник, состоящий из трех частей. Первая часть содержит вопросы, касающиеся характера коррупции в университете,

понимания студентами ее сути, вторая часть отражает оценку студентами причин коррупции в университете, третья – вопросы в отношении мер, способных, по мнению респондентов, снизить уровень коррупции в университете. При обработке данных использовался статистический пакет SPSS.

Помимо анкетирования, основным исследовательским методом выбрано полуструктурированное интервью. Так, эмпирической базой стали интервью ($n = 14$) со студентами университетов, проведенные с целью оценки распространенности коррупции в университете и причинах ее существования. Для лучшей сопоставимости результатов половина информантов ($n = 7$) была отобрана сплошным методом из числа студентов, обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете, вторая половина ($n = 7$) – из студентов, обучающихся в Уральском государственном экономическом университете. Для оценки гендерного фактора 7 интервью проведены с юношами, 7 – с девушками. Длительность интервью составляла от 14 минут до 1 часа 15 минут.

Полученные от респондентов данные имеют ограничения, связанные с тем, что мнение о коррупции в университете студенты формируют исходя из явлений, непосредственно связанных с учебным процессом. Поэтому в поле их зрения не попадают многие виды коррупции, например, в сфере финансово-хозяйственной деятельности университета (аренда помещений, закупка товаров и услуг, строительство и ремонт), аккредитация, фиктивное трудоустройство преподавателей и др.

Результаты исследования

Целью проведения исследования является решение следующих задач: установить характер коррупции в университете, ее причины, факторы, влияющие на снижение коррупции, а также проверить гипотезу о том, что гендер имеет влияние на оценку студентами университета характера коррупции, ее причин, факторы, способные, по мнению студентов, снизить уровень коррупции. По результатам исследования установлено, что многие студенты не имеют полного представления о коррупции, не отражают сути понятия, данного в Федеральном законе № 273-ФЗ. При ответе на вопрос: «Какие из перечисленных действий относятся к коррупции?» дачу и получение взятки оценили как незаконное деяние только половина студентов (52% респондентов, как девушек, так и юношей). Несколько более трети респондентов отнесли к коррупции коммерческий подкуп: 33% девушек и 38% юношей. Злоупотребление служебным положением в личных целях отнесли к коррупции 34% девушек и 27% юношей. Не более одиннадцати процентов респондентов, независимо от своего пола, отнесли к коррупции такие действия, как использование личных отношений с целью получения доступа к общественным ресурсам, а также подношение подарков должностным лицам. Результаты опроса показали, что, не будучи знакомыми с нормативно-правовым определением коррупции, студенты интуитивно в большинстве случаев отнесли к коррупции наиболее общественно опасные проявления коррупции – взятки, коммерческий подкуп. В то же время такие коррупционные деяния, как использование личных отношений для получения доступа к общественным ресурсам и подношение подарков должностным лицам, подавляющим большинством респондентов к коррупции отнесено не было. Гендерные осо-

бенности респондентов в данном случае не оказали существенного влияния на их мнение.

Респондентам был задан конкретный вопрос, направленный на изучение отношения студентов к коррупции: «Как вы относитесь к возможности применения незаконных (коррупционных) действий для решения каких-либо личных проблем?», ответы на который показали, что значительная часть студентов демонстрирует лояльное отношение к коррупции, что отражено в табл. 1.

Таблица 1. Отношение студентов к возможности коррупционных деяний в зависимости от гендерного фактора

	Ответы респондентов	Студентки, %	Студенты, %
1	Отрицательно. Это противоправное деяние	50	52
2	Положительно, если это приносит мне пользу	4	9
3	Приемлемый прием в безвыходном положении	21	27
4	Безразлично, если меня это не касается	25	11

Источник: составлено автором.

Результаты опроса, отраженные в табл. 1, показывают, что студентки в отличие от студентов, демонстрируют более терпимое (безразличное) отношение к проявлениям коррупции, когда они их непосредственно не касаются. В то же время студенты с большей заинтересованностью относятся к возможности совершения коррупционных действий в зависимости от приносимой ими пользы, остроты жизненной ситуации. Так, почти каждый третий респондент считает коррупционное деяние приемлемым в зависимости от сложности жизненной ситуации.

В ходе исследования была сделана попытка оценить распространение коррупции в университете с позиции личного участия респондентов в данном процессе. Были заданы следующие вопросы: «Приходилось ли лично Вам осуществлять коммерческий подкуп в университете?», «Приходилось ли лично Вам дарить подарки, цветы преподавателям, сотрудникам университета?», «Приходилось ли лично Вам использовать в университете служебное положение других людей (преподавательский состав) для решения личных проблем?», «Приходилось ли Вам нанимать преподавателей для выполнения контрольных, курсовых, выпускных работ?», ответы на которые отражены в табл. 2.

Таблица 2. Участие респондентов в действиях, которые могут оцениваться как коррупция

№	Действия	Студентки, %	Студенты, %
1	Осуществление коммерческого подкупа	2	5
2	Дарение подарков, цветов преподавателям и сотрудникам	36	38
3	Использование служебного положения других людей (преподавательский состав) для решения личных проблем	3	14
4	Найм преподавателей для выполнения контрольных, курсовых, выпускных работ	4	6

Источник: составлено автором.

При оценке результатов опроса необходимо учесть, что для студентов, опасавшихся за последствия определенного ответа, в анкете была предусмотрена формулировка «Затрудняюсь с ответом», этот вариант по каждому вопросу выбрали от 1 до 2% респондентов.

Данные табл. 2 отражают, что большинство респондентов, по их словам, лично не совершало коррупционные деяния. Наиболее распространены в высшей школе дарения преподавателям подарков, цветов, что во многом объясняется студенческими традициями и обычаями благодарности, бытующими в российском обществе. Наименее распространен коммерческий подкуп. Студентки демонстрируют более просоциальное поведение в части коррупции – показатели личного участия минимальны. Респонденты-мужчины существенно более, чем студентки, вовлечены в отношения коррупции по всем позициям. Особенно существенна разница в части осуществления коммерческого подкупа и использования служебного положения преподавательского состава для решения личных проблем. В этом случае проявляется настойчивость мужчин в достижении цели, склонность к риску, плохое знание мер ответственности за коррупцию.

Исследованы причины, которые, по мнению студентов, оказывают влияние на коррупцию в университете. Обобщение ответов студентов на вопрос анкеты («Какие факторы, и в какой мере влияют, по Вашему мнению, на существование коррупции в университете?») дало возможность определить шесть факторов-причин коррупции: низкая заработная плата преподавателей; невысокий морально-нравственный уровень преподавателей и сотрудников; традиции благодарности, подарков; неэффективный административный контроль; безразличное отношение к коррупции студентов и преподавателей; инициативность студентов в возникновении коррупционных отношений с преподавателями. По условиям опроса респонденты провели ранжирование факторов-причин по их силе влияния на состояние коррупции в университете, что отражено в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что в целом наиболее сильное влияние на существование коррупции в университете, по мнению студентов, оказывают такие факторы, как низкая заработная плата преподавателей и сотрудников, их невысокий морально-нравственный уровень, а также неэффективный административный контроль. Наиболее слабое влияние на коррупцию в университете имеют традиции благодарностей, дарения, инициативность студентов в возникновении коррупционных отношений с преподавателями и сотрудниками. Между тем при оценке значимости таких факторов коррупции, как «низкая заработная плата преподавателей и сотрудников», «невысокий морально-нравственный уровень преподавателей и сотрудников», отмечается существенная разница в зависимости от пола респондентов. Мужчинам кажется более важной материальная сторона дела, поэтому невысокая заработная плата большинства преподавателей и сотрудников университета, которая не способна обеспечить достойный уровень жизни, может являться причиной поиска дополнительных доходов, в том числе не вполне или даже вполне незаконных. Поэтому и уровень влияния морально-нравственных основ преподавателей и сотрудников на коррупцию в университете, по мнению респондентов-мужчин (в отличие от респондентов-женщин), не имеет сильного влияния. Респонденты-студентки, напротив, оценивают проблему с морально-этической стороны. Они считают, что самое сильное влияние на существование коррупции в университете имеют морально-нравственные, а не материальные факторы.

Таблица 3. Мнение студентов о факторах коррупции и их влиянии на состояние коррупции в университете по гендерному признаку, % от числа опрошенных

№	Факторы-причины	Сильное влияние		Среднее влияние		Слабое влияние		Не влияет	
		Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.
1	Низкая заработная плата преподавателей и сотрудников	39	56	36	31	14	6	11	7
2	Невысокий морально-нравственный уровень преподавателей и сотрудников	42	20	28	45	18	30	12	5
3	Традиции благодарности, подарков	15	21	25	24	32	36	28	19
4	Неэффективный административный контроль	29	28	32	46	26	16	13	10
5	Безразличное отношение к коррупции студентов и преподавателей	28	27	31	29	24	28	17	16
6	Инициативность студентов в возникновении коррупционных отношений с преподавателями	28	21	36	41	26	29	10	9

Источник: составлено автором.

Таким образом, причины существования коррупции в университете имеют многофакторный характер. Студенты оценивают оплату труда преподавателей и сотрудников университета как низкую, не способную обеспечить достойного уровня жизни, что может негативно влиять на морально-нравственный уровень части преподавателей и администраторов. Низкий, с позиции студентов, экономический статус большинства преподавателей дает основание рассматривать их в качестве субъекта коррупции, а также и как приемлемый объект коррупционного взаимодействия. В этой ситуации при отсутствии эффективного административного контроля преподавателями и сотрудниками университета могут допускаться действия, направленные на повышение собственного благосостояния не всегда законными и моральными способами.

Также подверглись оценке факторы, способные, по мнению студентов, снизить коррупцию в университете. В результате обобщения ответов респондентов на вопрос анкеты («Какие из перечисленных факторов, по Вашему мнению, могут повлиять на снижение коррупции в университете?») определены шесть групп факторов: повышение эффективности административного контроля; утверждение и доведение до преподавателей и студентов перечня действий, относящихся к коррупции; телефон доверия; повышение заработной платы преподавателей и сотрудников; усиление ответственности за коррупционные деяния; установление общественного контроля процедур оценивания знаний студентов. Респонденты провели ранжирование факторов, способных минимизировать коррупцию в университете по силе их влияния, что отражено в табл. 4.

В таблице отражено, что наибольшее влияние на снижение коррупции в университете, по мнению студентов, могут иметь усиление ответственности за коррупционные деяния (более половины опрошенных), повышение заработной платы преподавателей, а также повышение эффективности административного контроля. Наиболее слабое влияние окажут создание телефона доверия и установление общественного контроля процедур оценивания знаний студентов. Респонденты-мужчины по результатам опроса в большей мере, чем студентки, отдали предпочтение административным мерам борьбы с коррупцией (усиление ответственности, контроля, в том числе обществен-

ного), как имеющим более сильное влияние не ее минимизацию, а также повышению оплаты труда преподавателей и сотрудников университета. Студентки, наоборот, в отличие от мужчин, посчитали, что сильное влияние на минимизацию коррупции в университете могут иметь меры профилактики и доверия (позиции 2 и 3 табл. 4). Можно сделать вывод, что студенты считают установленные меры ответственности за коррупционные правонарушения недостаточными и нуждающимися в усилении, как и административный контроль в университете. Между тем усиление администрирования, силовых методов воздействия на коррупцию совпадает в сознании респондентов с необходимостью увеличения оплаты труда преподавателей, сотрудников университета, с определением перечня действий, попадающих под коррупцию, и доведением его до студентов и преподавателей, как мер, направленных на профилактику коррупции.

Таблица 4. Ранжирование факторов, способных снизить коррупцию в университете по силе влияния с учетом гендерных особенностей, % от числа опрошенных

№	Факторы	Сильное влияние		Среднее влияние		Слабое влияние		Не влияет	
		Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.
1	Повышение эффективности административного контроля	40	44	36	31	18	18	6	7
2	Утверждение и доведение до преподавателей и студентов перечня действий, относящихся к коррупции	35	31	35	44	24	17	6	8
3	Телефон доверия	17	15	30	36	34	29	19	20
4	Повышение заработной платы преподавателей и сотрудников	43	51	38	31	11	12	8	6
5	Усиление ответственности за коррупционные деяния	54	59	26	25	12	10	8	6
6	Установление общественного контроля процедур оценивания знаний студентов	24	33	31	33	30	16	15	18

Источник: составлено автором.

Анализ собранных интервью в основном подтвердил выявленные в ходе анкетирования представления студентов о коррупции, ее характере и причинах существования, а также влияние гендерных отличий на коррупцию в университете. В сознании респондентов коррупция связана с такими преступлениями, как взятка и коммерческий подкуп. Злоупотребление служебным положением преподавателей и сотрудников университета в личных целях, использование ими должностного положения с целью достижения личной или групповой (корпоративной) выгоды в любой форме, дарение и получение подарков (благодарности), иные деяния, которые могут быть оценены как коррупционные, подавляющим большинством респондентов к коррупции не отнесено. Поверхностное представление респондентов о коррупции, сочетаясь с бытующими в социуме традициями благодарности («дар – отдар»), формируют толерантное к ней отношение, проникающее и в сферу образования: «Коррупцию связываю, прежде всего, со взятками. Таких случаев у нас не припомню. Если возникают сложности с учебой (сдача экзамена, курсовой, написание ВКР), студенты обращаются к методистам. Они договариваются с преподавателями или решают вопрос сами. Потом, конечно, их нужно отблагодарить за хлопоты. Коррупцией это не считаю, просто мы помогаем друг другу» (А., студент-заочник, 23 года).

Студенты с большей заинтересованностью относятся к возможности минимизирования трудовых, временных и иных издержек в процессе учебы. Особенно это характерно для студентов заочной, ускоренной, дистанционной форм обучения, на которых обучаются уже работающие, возможно, определившиеся в жизни, но не имеющие диплома о высшем образовании студенты, который и является целью пребывания в университете. Поэтому каждый третий респондент считает коррупционное деяние целесообразным, если оно помогает решить возникшие в процессе пребывания в университете проблемы: «В университете можно решить любую проблему по учебе. Важно завести нужные знакомства с администрацией, преподавателями. Мне еще не доводилось делать какие-либо подношения, но если понадобится, то, конечно, сделаю» (В., студент-заочник, 24 года).

Злоупотребление служебным положением преподавателями, администрацией университета диктуется корпоративными интересами, которые тесно связаны с личными интересами. Это проявляется в различных «сопровождениях» студентов, когда и университет не теряет контингент, и сопровождающий реализует личный интерес. Как частный случай этих отношений – «курирование» студентов (бакалавров и магистрантов), «идущих на красный диплом», оно заключается в том, что аттестационные комиссии по просьбе администрации завышают оценки при защите ВКР и магистерских диссертаций, желая поднять уровень успеваемости по своему подразделению (кафедре): «При защите магистерской диссертации видела, как членам комиссии положили список студентов, претендующих на „красный диплом“. Некоторые из претендентов явно не тянули на отличную оценку по качеству работы, да и защищались слабо, но им поставили „отлично“ (К., студентка-магистрант, 24 года).

Интервью показали, что гендерный фактор влияет на отношение студента к коррупции в принципе, а также на готовность прибегнуть к ней как к способу достижения цели. Девушки менее юношей готовы идти на риск, более ответственно относятся к учебе и стараются не создавать себе проблемы в ходе учебного процесса: «С коррупцией в университете не сталкивалась. Мне нравится выбранная специальность, если добросовестно учиться, то и проблемы не возникают. Вижу, что многим нужен просто диплом, а не знания, учиться толком не хотят, вот и начинают „мудрить“». (С., студентка, 20 лет). Гендер влияет и на оценку респондентами факторов снижения коррупции по силе их воздействия. Мужчины в большей мере склонны рассматривать в качестве наиболее сильных административные, силовые методы решения проблемы коррупции, женщины – меры профилактики и предупреждения данного феномена: «Усиление контроля и повышение ответственности за коррупцию дадут результаты, когда преподаватели и студенты будут хорошо знать, что допускается, а что делать нельзя. Хорошо бы еще на первом курсе проводить квэсты или деловые игры на эту тему» (М., студентка, 21 год).

Обсуждение

Изучение мнения респондентов показало, что наибольшее влияние на существование коррупции в университете оказывают такие факторы, как низкая заработная плата преподавателей и сотрудников, их невысокий морально-нравственный уровень, а также неэффективный административный

контроль. Наиболее распространенные виды коррупции, с которыми сталкиваются студенты в высшей школе, – это дарение подарков, цветов преподавателям и сотрудникам (более трети респондентов), а также использование служебного положения других людей (преподавательский состав) для решения личных проблем. Респонденты-мужчины более, чем студентки, вовлечены в отношения коррупции. Особенно существенна разница в части осуществления коммерческого подкупа (5 и 2 % респондентов, соответственно) и использования служебного положения преподавательского состава для решения личных проблем (14 и 3% респондентов, соответственно). Респонденты-мужчины чаще, чем респонденты-женщины, рассматривают для себя полезность коррупционных действий (9 и 4% респондентов, соответственно), коррупцию как приемлемый прием в безвыходном положении (27 и 21% респондентов, соответственно).

Полученные результаты, в основном, соотносятся с данными ранее проведенных исследований в сфере коррупции в системе высшего образования. Так, Д.П. Кондраль, В.М. Флоря, С.В. Шилова, исследовав мнение студентов Ухтинского государственного технического университета в 2018 г., получили данные, что почти 5% учащихся сталкивались с коррупцией в университете. К наиболее распространенным ее видам студенты отнесли злоупотребление служебным положением, недобросовестное исполнение обязанностей преподавателями и администраторами в личных интересах, дарения и подношения [29]. Исследования мнения студентов о коррупции в университете О.С. Кошевого и В.Н. Супикова в 2014 г. показали, что 20% респондентов готовы дать взятку, 50% готовы дать взятку в определенных жизненных обстоятельствах. Треть респондентов не будут давать взятку ни при каких обстоятельствах, при этом процент ответов о неприемлемости дачи взятки у девушек гораздо больший, чем у юношей. Только 40% респондентов готово бороться с фактами коррупционных проявлений. В отличие от юношей, большинство девушек готовы занять нейтральную позицию пассивного неучастия в коррупционных проявлениях [30].

Таким образом, полученные результаты, в основном, соотносятся с результатами проведенных ранее исследований мнения студентов о коррупции в университете. Несмотря на некоторую вариативность показателей, главным отличием полученных нами результатов является оценка студентами фактора низкой оплаты труда преподавателей и сотрудников университета, как сильно влияющего на существование коррупции в университете, а также играющего важную роль в ее снижении.

Заключение

Результаты проведенного исследования дают возможность сделать следующие выводы. Большинство студентов университета показывают отрицательное отношение к коррупции, хотя имеют поверхностное понятие о ее сущности в правовом аспекте. Почти каждый третий респондент считает коррупционное деяние приемлемым в зависимости от сложности жизненной ситуации, причем студенты в большей степени, чем студентки, готовы совершать коррупционные деяния, если они приносят выгоду, в зависимости от сложности жизненной ситуации. Студенты чаще, чем студентки, с их слов, осуществляют в университете коммерческий подкуп, используют

служебное положение преподавателей и администраторов для решения личных проблем.

Проведенное исследование факторов-причин коррупции в университете по силе их влияния показало, что наибольшее влияние на существование коррупции в университете, по мнению студентов, имеют низкая заработная плата преподавателей и сотрудников университета, невысокий морально-нравственный уровень некоторых из них, а также неэффективный административный контроль. При оценке значимости факторов коррупции отмечается существенная разница мнений в зависимости от пола респондентов. Респонденты-мужчины в большей мере, чем респонденты-женщины, оценили как сильный фактор невысокую заработную плату большинства преподавателей и сотрудников университета, не способную обеспечить достойный уровень жизни, которая может являться причиной поиска дополнительных доходов, в том числе незаконных. Респонденты-женщины, напротив, отметили в числе причин коррупции сильное влияние фактора невысокого морально-нравственного уровня некоторых преподавателей и сотрудников университета, отдав предпочтение при оценке морально-нравственным, а не материальным факторам.

Наибольшее влияние на снижение коррупции в университете, по мнению студентов, будут иметь усиление ответственности за коррупционные деяния, повышение заработной платы преподавателей и сотрудников университета, а также эффективный административный контроль. Респонденты-мужчины в большей мере, чем студентки, отдали предпочтение административным, силовым мерам борьбы с коррупцией, а также повышению оплаты труда преподавателей и сотрудников университета. Студентки, наоборот, в отличие от мужчин, посчитали, что сильное влияние на минимизацию коррупции в университете могут иметь меры профилактики, своевременного информирования и доверия. Поэтому гипотеза о том, что гендер имеет влияние на оценку студентами университета характера коррупции, ее причин, а также факторов, способных, по мнению студентов, снизить уровень коррупции, нашла свое подтверждение.

Полученные результаты дают возможность полагать, что цель исследования – на основе изучения мнения студентов о коррупции в университете установить характер коррупции, ее причины, факторы, влияющие на снижение коррупции, а также определить влияние гендера на данные оценки – достигнута. Исследование показало, что коррупция в университете, по мнению студентов, существует на минимальном уровне, подавляющее большинство студентов и преподавателей с ней не связано. Однако явление имеет место быть и требует внимания. Гендерный фактор существен при оценке коррупции студентами университета и должен учитываться в работе по профилактике и в борьбе с данным явлением.

Список источников

1. Китова Д.А. Отношение населения к коррупции и коррупционным правонарушениям: эмпирический анализ // Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2016. Т. 1, № 4. С. 145–167.
2. Булгакова Д.В. Характеристика личности гражданина РФ, совершившего коррупционное деяние // Тамбовские правовые чтения им. Ф.Н. Плевако : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. Тамбов, 2020. С. 279–283.
3. Куприянов И.С. Коррупционные практики населения региона: гендерный аспект // Женщина в российском обществе. 2010. № 3 (56). С. 36–46.

4. Swamy A., Knack S., Lee Y. Gender and Corruption // J. of Development Economics. 2001. Vol. 64, № 1. P. 25–55.
5. Алейников А.В., Артемов Г.П., Пинкевич А.Г. Гендерная специфика политической рефлексии рисков: опыт социологического измерения // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 65. С. 178–191. DOI: 10.17223/1998863X/65/17
6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
7. Незнамова З.А. Признаки коррупции как социального явления // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики. Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД. 2000. С. 32–38.
8. Щедрин Н.В. Определение коррупции в федеральном законе // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2009. № 3. С. 31–36.
9. Осипян А.Л. Коррупция в послевузовском образовании // Terra Economicus. 2010. Т. 8, № 3. С. 50–56.
10. Heyneman S.P. Education and corruption // International Journal of Educational Develop Kment. 2002. № 24 (6). P. 644–656.
11. Rose-Ackerman S. Corruption // Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy / C.K. Rowley (eds). New York Springer, 2008. P. 551–566.
12. Poisson M. Corruption and education. URL: http://etico.iiep.unesco.org/uploads/media/190247_e.pdf (дата обращения 12.01.2022).
13. Барсукова С.Ю. Коррупция: научные дебаты и российская реальность // Общественные науки и современность. 2008. № 5. С. 36–47.
14. Журавлев А.Л., Юревич А.В. Психологические факторы коррупции // Прикладная юридическая психология. 2012. № 1. С. 8–21.
15. Соснин В.А., Китова Д.А. Макропсихологические аспекты исследования коррупции // Наука. Культура. Общество. 2018. № 1. С. 129–141.
16. Дамм И.А. Коррупция в сфере образования: понятие, характерные черты, формы и виды // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. Т. 10, № 4. С. 5–17. DOI: 10.21202/1993-047X.10.2016.4.5-17.
17. Воронцова С.В. Формы коррупции в системе высшего образования // Вестник Московского гуманитарно-экономического института. 2018. № 1. С. 14–20.
18. Фролова И.И. Коррупция в учреждениях высшего профессионального образования: результаты конкретного социологического исследования // Актуальные проблемы экономики и права. 2010. № 4. С. 147–149.
19. Боброва Н.А. Борьба с коррупцией в вузах // Вестник Международного института рынка. 2018. № 1. С. 89–93.
20. Титаев К.Д. Почему экзамен для народа? Эту о коррупции в высшем образовании // Экономика и образование. 2011. № 1. С. 124–134.
21. Сычева А.В. Коррупция в сфере высшего образования: коррозия правосознания // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2015. Т. 1 (67), № 4. С. 109–116.
22. Каменский Е.Г. Модернизация, коррупция, социальные институты: результаты опросов сотрудников вузов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014. № 4. С. 122–128.
23. Шарин В.И., Вахмянина А.В. Видение студентами университета причин и способов преодоления коррупции // Вопросы управления. 2021. № 3 (70). С. 93–105.
24. Прозоровская К.А. Коррупция и другие деструктивные явления в сфере образования в России (по результатам анкетирования студентов) // Система ценностей современного общества. 2013. № 29. С. 143–148.
25. Логунова О.А., Логунова Е.Г. Проблема коррупции в сфере образования: опыт социологического анализа // Журнал научных публикаций. 2016. № 5 (68). С. 68–75.
26. Макарова М.Н., Вахрушев Р.В. Коррупция в высшем образовании и академическая этика // Высшее образование в России. 2014. № 12. С. 55–62.
27. Карпова С.Г., Пинчук А.Н., Некрасов С.В., Тихомиров Д.А. Московские студенты о коррупции и антикоррупционной деятельности в современном обществе: по материалам фокус-группового исследования // Журнал социологии и социальной антропологии. 2019. Т. 22, № 1. С. 113–137.
28. Логунова О.А., Логунова Е.Г. Проблема коррупции в сфере образования: опыт социологического анализа // Дискуссия. 2016. № 5. С. 63–74.

29. Кондраль Д.П., Флоря В.М., Шилова С.В. Борьба с коррупцией в системе высшего образования России // Вопросы управления. 2018. № 6. С. 211–215.

30. Кошевой О.С., Сутиков В.Н. Отношение студентов специальности «Государственное и муниципальное управление» к коррупции. Гендерные аспекты // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 3 (31). С. 120–129.

References

1. Kitova, D.A. (2016) Otnoshenie naseleniya k korruptsii i korruptsionnym pravonarusheniyam: empiricheskiy analiz [Attitude of the population towards corruption and corruption offenses: an empirical analysis]. *Institut psikhologii Rossiyskoy akademii nauk. Sotsial'naya i ekonomicheskaya psikhologiya*. 1(4). pp. 145–167.

2. Bulgakova, D.V. (2020) Kharakteristika lichnosti grazhdanina RF, sovershivshego korruptsionnoe deyanie [Characteristics of the personality of a citizen of the Russian Federation who committed an act of corruption]. *Tambovskie pravovye chteniya im. F.N. Plevako* [The F.N. Plevako Tambov Legal Readings]. Proc. of the Fourth International Conference. Tambov. pp. 279–283.

3. Kupriyanov, I.S. (2010) Korruptsionnye praktiki naseleniya regiona: gendernyy aspekt [Corruption practices of the population of the region: a gender aspect]. *Zhenshchina v rossiyskom obshchestve – Woman in Russian Society*. 3(56). pp. 36–46.

4. Swamy, A., Knack, S. & Lee, Y. (2001) Gender and Corruption. *Journal of Development Economics*. 64(1). pp. 25–55.

5. Aleynikov, A.V., Artemov, G.P. & Pinkevich, A.G. (2022) Gender Specificity of a Political Reflection on Risks: An Experience of a Sociological Measurement. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 65. pp. 178–191. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863Kh/65/17

6. Russia. (2008) Federal'nyy zakon ot 25.12.2008 № 273-F3 “O protivodeystvii korruptsii” (red. ot 28.12.2017) [Federal Law No. 273-F3 of December 25, 2008, “On Combating Corruption” (as amended on December 28, 2017)]. *Sobranie zakonodatel'stva RF*. 52(1). Art. 6228.

7. Neznamova, Z.A. (2000) Priznaki korruptsii kak sotsial'nogo yavleniya [Signs of corruption as a social phenomenon]. In: *Aktual'nye problemy teorii bor'by s prestupnost'yu i pravoprimeritel'noy praktiki* [Topical problems of the theory of combating crime and law enforcement practice]. Krasnoyarsk: Sib Law Institute of the Ministry of Internal Affairs. pp. 32–38.

8. Shchedrin, N.V. (2009) Opredelenie korruptsii v federal'nom zakone [Definition of corruption in the federal law]. *Kriminologicheskii zhurnal Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava*. 3. pp. 31–36.

9. Osipyay, A.L. (2010) Korruptsiya v poslevuzovskom obrazovanii [Corruption in postgraduate education]. *Terra Economicus*. 8(3). pp. 50–56.

10. Heyneman, S.P. (2002) Education and corruption. *International Journal of Educational Development*. 24(6). pp. 644–656.

11. Rose-Ackerman, S. (2008) Corruption. In: Rowley, C.K. (ed.) *Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy*. New York: Springer. pp. 551–566.

12. Poisson, M. (n.d.) *Corruption and Education*. [Online] Available from: http://etico.iiep.unesco.org/uploads/media/190247_e.pdf (Accessed: 12th January 2022).

13. Barsukova, S.Yu. (2008) Korruptsiya: nauchnye debaty i rossiyskaya real'nost' [Corruption: scientific debates and Russian reality]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World*. 5. pp. 36–47.

14. Zhuravlev, A.L. & Yurevich, A.V. (2012) Psikhologicheskie faktory korruptsii [Psychological factors of corruption]. *Prikladnaya yuridicheskaya psikhologiya – Applied Legal Psychology*. 1. pp. 8–21.

15. Sosnin, V.A. & Kitova, D.A. (2018) Macropsychology, corruption and their socio-psychological aspects. *Nauka. Kul'tura. Obshchestvo – Science. Culture. Society*. 1. pp. 129–141. (In Russian).

16. Damm, I.A. (2016) Korruptsiya v sfere obrazovaniya: ponyatie, kharakternye cherty, formy i vidy [Corruption in education: concept, characteristics, forms and types]. *Aktual'nye problemy ekonomiki i prava*. 10(4). pp. 5–17. DOI: 10.21202/1993-047Kh.10.2016.4.5-17

17. Vorontsova, S.V. (2018) Formy korruptsii v sisteme vysshego obrazovaniya [Forms of corruption in the system of higher education]. *Vestnik Moskovskogo gumanitarno-ekonomicheskogo instituta*. 1. pp. 14–20.

18. Frolova, I.I. (2010) Korruptsiya v uchrezhdeniyakh vysshego professional'nogo obrazovaniya: rezul'taty konkretnogo sotsiologicheskogo issledovaniya [Corruption in institutions of higher profes-

sional education: the results of a specific sociological study]. *Aktual'nye problemy ekonomiki i prava*. 4. pp. 147–149.

19. Bobrova, N.A. (2018) Bor'ba s korruptsiyey v vuzakh [Fighting corruption in universities]. *Vestnik Mezhdunarodnogo instituta rynka*. 1. pp. 89–93.

20. Titaev, K.D. (2011) Pochem ekzamen dlya naroda? Etyud o korruptsii v vysshem obrazovanii [How much is an exam for the people? Essay on corruption in higher education]. *Ekonomika i obrazovanie – Economics of Education*. 1. pp. 124–134.

21. Sycheva, A.V. (2015) Korruptsiya v sfere vysshego obrazovaniya: korrozziya pravosoznaniya [Corruption in Higher Education: Corrosion of Legal Awareness]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Yuridicheskie nauki*. 1-4(67). pp. 109–116.

22. Kamenskiy, E.G. (2014) Modernizatsiya, korruptsiya, sotsial'nye instituty: rezul'taty oprosov sotrudnikov vuzov [Modernization, corruption, social institutions: results of surveys of university employees]. *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment*. 4. pp. 122–128.

23. Sharin, V.I. & Vakhmyanina, A.V. (2021) Vidение studentami universiteta prichin i sposobov preodoleniya korruptsii [University students' vision of the causes and ways to overcome corruption]. *Voprosy upravleniya*. 3(70). pp. 93–105.

24. Prozorovskaya, K.A. (2013) Korruptsiya i drugie destruktivnye yavleniya v sfere obrazovaniya v Rossii (po rezul'tatam anketirovaniya studentov) [Corruption and Other Destructive Phenomena in the Sphere of Education in Russia (Based on the Results of Questioning Students)]. *Sistema tseennostey sovremennogo obshchestva*. 29. pp. 143–148.

25. Logunova, O.A. & Logunova, E.G. (2016) Problema korruptsii v sfere obrazovaniya: opyt sotsiologicheskogo analiza [The problem of corruption in education: the experience of sociological analysis]. *Zhurnal nauchnykh publikatsiy*. 5(68). pp. 68–75.

26. Makarova, M.N. & Vakhrushev, R.V. (2014) Korruptsiya v vysshem obrazovanii i akademicheskaya etika [Corruption in higher education and academic ethics]. *Vyshee obrazovanie v Rossii – Higher Education in Russia*. 12. pp. 55–62.

27. Karepova, S.G., Pinchuk, A.N., Nekrasov, S.V. & Tikhomirov, D.A. (2019) Corruption and Anticorruption Activities in Modern Society as Perceived by the Moscow Students: on the Materials of a Focus Group Research. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – Journal of Sociology and Social Anthropology*. 1. pp. 113–137. (In Russian). DOI: 10.31119/jssa.2019.22.1.6

28. Logunova, O.A. & Logunova, E.G. (2016) Problema korruptsii v sfere obrazovaniya: opyt sotsiologicheskogo analiza [The problem of corruption in education: the experience of sociological analysis]. *Diskussiya*. 5. pp. 63–74.

29. Kondral, D.P., Florya, V.M. & Shilova, S.V. (2018) Bor'ba s korruptsiyey v sisteme vysshego obrazovaniya Rossii [The fight against corruption in the system of higher education in Russia]. *Voprosy upravleniya*. 6. pp. 211–215.

30. Koshevoy, O.S. & Supikov, V.N. (2014) Otnoshenie studentov spetsial'nosti “Gosudarstvennoe i munitsipal'noe upravlenie” k korruptsii. Gendernye aspekty [The attitude of students of the specialty “State and municipal management” to corruption. Gender aspects]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Obshchestvennye nauki*. 3(31). pp. 120–129.

Сведения об авторе:

Шарин В.И. – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики труда и управления персоналом Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург, Россия). E-mail: Sharin_vi@usue.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Sharin V.I. – Dr. Sci. (Economics), Docent, professor of the Department of Labor Economics and Personnel Management of the Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: Sharin_vi@usue.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 11.09.2022;

одобрена после рецензирования 17.09.2022; принята к публикации 27.10.2022

The article was submitted 11.09.2022;

approved after reviewing 17.09.2022; accepted for publication 27.10.2022

Научная статья

УДК 316.73

doi: 10.17223/1998863X/69/18

ДИНАМИКА БЮДЖЕТОВ ВРЕМЕНИ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ АУДИТОРНОЙ, ДИСТАНТНОЙ И «ГИБРИДНОЙ» ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Людмила Александровна Штомпель¹, Олег Михайлович Штомпель²,
Екатерина Григорьевна Тихомирова³, Анна Вадимовна
Костромицкая⁴

^{1, 2} Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

³ Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

⁴ Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Симферополь, Россия

¹ lashtompel@gmail.com

² omshtompel@sfnu.ru

³ katiaphilos@mail.ru

⁴ anna-01.kostromitskaya@mail.ru

Аннотация. На основе сравнительного анализа студенческих хронокарт выявлены изменения в использовании времени в условиях дистанционной и «гибридной» форм обучения, введенных в период борьбы с пандемией COVID-19 (2020/21 уч. г.), по сравнению с аудиторным обучением в «доковидный» период. Зафиксировано несколько противоречивых тенденций в организации времени студентов в период пандемии.

Ключевые слова: бюджет времени, дистанционная форма обучения, самофотографирование, хронокарта, пандемия COVID-19

Для цитирования: Штомпель Л.А., Штомпель О.М., Тихомирова Е.Г., Костромицкая А.В. Динамика бюджетов времени российских студентов в условиях аудиторной, дистантной и «гибридной» форм обучения // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 177–186. doi: 10.17223/1998863X/69/18

Original article

DYNAMICS OF RUSSIAN STUDENTS' TIME BUDGETS IN THE CONDITIONS OF CLASSROOM-BASED, REMOTE AND "HYBRID" FORMS OF LEARNING

Liudmila A. Shtompel¹, Oleg M. Shtompel², Ekaterina G. Tikhomirova³,
Anna V. Kostromitskaya⁴

^{1, 2} Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation

³ Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russian Federation

⁴ V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

¹ lashtompel@gmail.com

² omshtompel@sfnu.ru

³ katiaphilos@mail.ru

⁴ anna-01.kostromitskaya@mail.ru

Abstract. The transfer of education in universities to distance and “hybrid” (which combines remote and classroom forms) models was carried out as part of the introduction of anti-COVID restrictions (the 2020–2021 academic year). The conditions of necessary self-isolation influenced all the aspects of students’ life: from study sessions and work during extracurricular hours to ways of communication and spending free time. In this regard, an urgent problem is to determine changes in students’ time budgets in the conditions of self-isolation in comparison with the “pre-COVID” period. For this purpose, a study was conducted, the object of which was 205 students of three universities (Southern Federal University, Don State Technical University (Rostov-on-Don), and V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol) over the period from November 2019 to March 2021. The method of self-photographing with the help of chronocards was chosen as the main research method. The accuracy of measurements was 15 minutes; the term for filling one chronocard was one week. An essay about the most memorable day and a written analysis of the subjective assessment of students’ satisfaction with their time management were also used. The main conclusions of the study are as follows. First, the time allotted for studies at universities in the “pre-COVID” and “COVID” periods did not change significantly, since all three surveyed universities (within the studied areas of training) were ready to transfer to the distance teaching and learning mode. The difference in the time of university classes was preserved, due to the difference in the Master’s and Bachelor’s degree programs. Second, during the pandemic period, there was a contradictory tendency for further individualization and, to a certain extent, “encapsulation”, isolation of individual time and, at the same time, expansion, increase, “verification” of time in the virtual space of the Internet. Third, the border between study, work, self-education, leisure and current everyday practices was destroyed during the pandemic due to the simultaneous implementation of various types of activities and increased use of distance learning, remote work and communication. Fourth, during the period of “anti-COVID” restrictions, the time that students spent on self-education increased, although mainly in the remote mode. The tendency for students to combine paid work with university learning continued. Fifth, everyday current household practices transformed into the hygiene of the home space and tended to take more time, due to a longer stay at home during partial isolation.

Keywords: time budget, distance learning, self-photography, chronocard, COVID-19 pandemic

For citation: Shtompel, L.A., Shtompel, O.M., Tikhomirova, E.G. & Kostromitskaya, A.V. (2022) Dynamics of russian students’ time budgets in the conditions of classroom-based, remote and “hybrid” forms of learning. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 177–186. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/18

Введение

В современном урбанизированном мире темпоральные характеристики образа жизни и структура бюджетов времени населения претерпевают существенные изменения: возросла степень свободы в распоряжении собственным временем, изменились способы проведения досуга, все более разнообразными становятся темпоральные структуры городов и т.д. Интенсификация общения, ускорение ритма жизни и субъективное ощущение нехватки времени (Т.Х. Эриксен назвал это «усиливающимся ощущением загнанности» [1. С. 7]) вызывают потребность в пересмотре и перераспределении человеком своих временных ресурсов. Ситуация вынужденной самоизоляции, связанной с пандемией COVID-19, в которую попало огромное количество людей по всему земному шару, в том числе и российское студенчество, привели к существенным изменениям в распределении личностного времени, которые сами по себе выступают индикаторами изменений в жизненных устремлениях молодежи, с одной стороны, а с другой – свидетельствуют о новых тенденциях в отношениях с собственным временем. Данные обстоятельства обуслови-

вают актуальность выявления изменений в отношении ко времени студенческой молодежи в условиях вынужденной самоизоляции, вызванной пандемией COVID-19, и переходом на дистанционное обучение и работу, а также дальнейших изменений, связанных с переходом на «гибридные», смешанные формы обучения, сочетающие дистанционный и аудиторный форматы.

Анализ современного состояния исследований бюджетов времени студентов

В нашей стране исследования бюджетов времени различных групп населения имеют солидную историю, начавшуюся с 20-х гг. XX в. и прошедшую несколько этапов. Анализ развертывания этих исследований позволил В.Д. Патрушеву выдвинуть предположение о появлении «исследований бюджетов времени в сочетании с другими методиками на базе иных теоретико-методологических предпосылок – ...особенно в концептуальных рамках деятельностного подхода. Последний акцентирует внимание на активности субъекта в создании форм организации своего бытия» [2. С. 465]. Именно такая активность по новой организации своего времени в условиях пандемии понадобилась всем нам, когда противоковидные ограничения сузили возможности для непосредственных контактов не только в свободное, но и в рабочее время, поскольку сама работа и учеба для многих были переведены в дистанционный формат.

Влияние COVID-19 на использование времени уже изучается за рубежом: на 43-й конференции Международной ассоциации по исследованию использования времени (IATUR – International Association for Time Use Research) этот вопрос был поставлен на первое место [3].

Важным источником информации о бюджете времени студентов и о содержательном его наполнении представляют конкретные эмпирические исследования последних лет: исследование 2015 г. среди студентов МГУ им. Н.П. Огарева (М.Е. Малькина [4]); прослеживание темпоральных стратегий поведения студентов 11 государственных вузов г. Екатеринбурга, проведенное в 2012–2015 гг. методом анкетного опроса (П.А. Амбарова) [5]; анализ бюджетов времени студентов пяти вузов Москвы, а также Воронежского и Новосибирского государственных университетов (О.А. Большакова [6]) и студентов-спортсменов и студентов художественных вузов (Н.И. Медведкова, В.Д. Медведков, К.Б. Илькевич [7]), изучение изменений в бюджетах времени и перемен в жизнедеятельности городских жителей (Г.П. Бессокирная, О.А. Большакова, Т.М. Караханова [8,9]), а также рассмотрение темпорального измерения жизненных и поведенческих стратегий молодежи (К.А. Абульханова, Т.Н. Березина [10], Н.И. Легостаева [11], Л.А. Паутова [12] и др.). Однако в большинстве случаев основным методом в этих исследованиях выступал анкетный опрос, а не метод самофотографирования. Тогда как именно последний, на наш взгляд, дает более объективную и детальную картину содержательного наполнения времени и отношений между разными видами деятельности (в том числе между учебным, рабочим и свободным временем), что позволяет зафиксировать действительное осуществление поворотов в отношениях со временем.

Поставленная проблема изменений в распоряжении собственным временем студентами в связи с условиями вынужденной самоизоляции и введения

дистанционной и «гибридной» форм обучения вызывает необходимость, во-первых, в конкретизации изменений в бюджетах времени студентов в условиях дистанционного обучения и, во-вторых, в теоретическом анализе полученных результатов. Сравнительного анализа «допандемийного», «пандемийного» и «постпандемийного» опыта темпоральной организации жизни студенческой молодежи до сих пор не предпринималось.

Задача данной статьи – представить результаты проведенного исследования распоряжения временем студентами и на основе сравнительного анализа студенческих хронокарт зафиксировать сдвиги в использовании времени в условиях дистанционной и «гибридной» форм обучения, введенных в период борьбы с пандемией COVID-19 (2020/21 уч. г.), по сравнению с аудиторным обучением в «доковидный» период.

Методы исследования и источники данных

В качестве основного метода исследования был выбран метод самофотографирования с помощью хронокарт (точность измерений составляла 15 мин, срок заполнения одной хронокарты – 1 нед), использовались также эссе о наиболее запомнившемся дне и письменный анализ субъективной оценки студентами удовлетворенности распоряжением своим временем.

Метод самофотографирования с помощью хронокарт позволяет зафиксировать не только продолжительность конкретных видов занятий, ритм и последовательность повседневных действий, факты осуществления нескольких одновременных действий, но и выявить оценки и степень удовлетворенности студентов фактическим распределением времени.

Было собрано 205 хронокарт студентов трех вузов (Южного федерального университета, Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону), Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь) в период с ноября 2019 по март 2021 г.) и их записи о наиболее запомнившихся событиях недели, вызвавших положительные или отрицательные эмоции: 42 хронокарты и эссе были написаны студентами Южного федерального университета в «допандемийный» период (ноябрь–декабрь 2019 г.: бакалавры-культурологи 4-го курса – 15 человек (что составляет 88,2% от списочного состава группы); магистранты-культурологи 2-го курса – 8 человек (88,8%), магистранты-дизайнеры 2-го курса – 19 человек (76% от списочного состава группы)) и в «пандемийный» период (весной 2021 г.: бакалавры-культурологи ЮФУ 4-го курса – 10 человек, бакалавры-архитекторы ЮФУ 2-го курса – 70 человек; 62 бакалавра-архитектора 1, 3 и 4-го курсов Донского государственного технического университета (г. Ростов-на-Дону), 14 бакалавров-культурологов 3-го курса и 7 магистрантов-психологов 1-го курса магистратуры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь)). Хронокарты заполнялись студентами в течение одной недели, причем занятия, совершаемые одновременно, фиксировались отдельно.

Полученные результаты

Прежде всего, обращает на себя внимание дифференциация объемов учебных нагрузок студентов различных направлений подготовки и различных вузов (на это обратила внимание и О.А. Большакова [6. С. 7]): так, раз-

личие в количестве времени, отводимого студентами на учебу в допандемийный период, между магистрантами-культурологами и магистрантами-дизайнерами составляет почти 5 ч (таблица). Нами зафиксирован также разрыв между регламентированной расписанием учебной нагрузкой студентов и фактическим ее осуществлением как в допандемийный, так и в пандемийный периоды.

Распределение времени студентов на основные виды занятий (недельные значения)

Вид занятий	До пандемии			Во время пандемии				
	Магистранты-культурологи ЮФУ	Магистранты-дизайнеры ЮФУ	Бакалавры-культурологи 4-го курса ЮФУ	Бакалавры-культурологи 4-го курса ЮФУ	Бакалавры-архитекторы 2-го курса ЮФУ	Бакалавры-архитекторы ДПТУ	Бакалавры-культурологи КФУ	Магистранты-психологи КФУ
Очные занятия в университете	15:25	10:18	14:06	Нет	13:58	18:54	14:08	6:38
Онлайн (дистанционные) занятия в университете	Нет	Нет	Нет	12:40	9:02	4:36	6:15	2:22
Подготовка к семин. занятиям, выполнение заданий, в том числе написание ВКР или выполнение проекта	18:12	4:32	5:48	8:02	21:56	13:24	7:42	6:12
Участие в вебинарах, вебсеминарах	2:15	1:55	–	11:08	5:31	5:42	2:25	0:46
Занятия ин. языком (дополнительно)	2:00	–	3:40	5:0	2:23	3:24	–	–
Обучение на очных доп. курсах	–	–	5:56	–	–	–	–	–
Научная работа / Чтение научной или доп. учебной литературы	3:33	2:11	3:02	3:19	3:01	–	2:10	–
Работа / подработка	12:15	30:05	24:41	23:31	16:25	29:06	10:12	14:57
Пребывание в соцсетях	6:08	6:02	4:37	10:51	8:51	11:54	5:57	7:54
Компьютерные игры / игры на телефоне	10:35	–	3:22	5:33	7:50	8:42	3:36	3:33
Просмотр фильмов и сериалов (развлек.) + видео на YouTube + ТВ	3:39	4:12	8:12	7:43	11:28	11:12	8:03	6:23
Сон	56:37	55:05	54:56	60:52	52:49	55:46	60:07	65:14
Прием пищи	7:03	7:54	7:30	7:47	7:45	9:34	5:13	5:33
Приготовление пищи	3:42	5:01	4:13	3:34	2:58	4:54	2:40	2:35
Гигиенические процедуры (принятие душа, умывание, принятие ванны)	6:16	5:29	6:04	5:01	4:07	5:08	4:13	5:32
Сборы куда-либо (одевание, макияж и пр.)	3:11	2:04	4:14	1:48	2:50	3:37	3:45	4:22
Мытье посуды	3:00	–	0:54	0:58	0:55	1:17	0:44	0:43
Уборка / бытовые дела	3:22	4:23	2:20	5:12	3:18	3:44	2:04	1:43
Совершение покупок в магазинах и ТЦ	2:39	3:48	2:14	1:41	2:05	3:16	1:52	2:34
Время в дороге пешком	2:19	4:15	4:16	3:05	3:22	6:36	2:51	3:17
Поездки на транспорте	3:56	9:26	7:59	8:01	5:03	10:24	4:37	3:56
Общение с членами семьи	4:38	14:45	4:56	6:39	3:54	7:30	4:12	3:0
Непосредств. общение с друзьями	3:22	7:07	5:26	13:06	8:48	13:48	4:53	2:31
Разговоры по телефону	1:15	4:44	2:46	3:42	3:38	–	0:57	0:55
Посещение выставок, музеев, концертов	4:20	2:02	2:38	0	1:46	–	–	–
Занятия рисованием / фото / хореографией / музыкой	5:30	12:35	3:50	4:53	5:49	4:48	4:37	3:34
Чтение худ. литературы	2:18	3:46	3:59	5:34	4:43	5:12	4:38	5:48
Посещение кинотеатров	–	–	2:39	–	–	–	–	–

Окончание таблицы

Вид занятий	До пандемии			Во время пандемии				
	Магистранты-культурологи ЮФУ	Магистранты-дизайнеры ЮФУ	Бакалавры-культурологи ЮФУ	Бакалавры-культурологи 4-го курса ЮФУ	Бакалавры-архитекторы 2-го курса ЮФУ	Бакалавры-архитекторы ДГТУ	Бакалавры-культурологи КФУ	Магистранты-психологи КФУ
Религиозная деятельность (молитвы, посещение храмов)	14:0	–	5:15	0	3:45	0:10	–	–
Общественная деятельность	–	–	2:10	12:22	8:26	5:18	–	7:53
«Потерянное», неучтенное время / перерывы / ожидания	0:25	0:42	1:02	1:14	2:38	–	0:41	0:23
Пребывание в клубах, кафе и антикафе	6:15	2:05	2:53	6:0	–	5:42	–	–
Настольные игры, сюжетно-ролевые игры	5:15	2:0	2:29	0	6:33	–	1:44	0
Прием у врача / сессия с психотерапевтом / массаж / уколы	2:0	1:0	0:25	1:14	1:27	2:30	1:13	0:05
Зарядка / пробежка / тренировка в спорт. зале / лечебная гимнастика / йога	1:10	1:55	4:40	2:22	4:07	4:42	3:10	1:20
Прогулка	3:03	4:08	3:01	4:21	4:01	6:36	2:59	4:07

В период введения противоковидных ограничений (если сложить время аудиторных и дистантных занятий) существенная разница обнаруживается между бакалаврами-культурологами ЮФУ и КФУ (на 7 ч 43 мин бакалавры-культурологи КФУ занимаются больше), причем это не компенсируется временем, отводимым на подготовку к занятиям (разница здесь составляет лишь 20 мин). Если сравнить допандемийный и пандемийный периоды, то вновь фиксируется различие: на 2 мин у бакалавров-культурологов КФУ возросло время аудиторных занятий, но 6 ч 15 мин стали занимать еще и дистанционные занятия. Такое же возрастание учебной нагрузки в период пандемии мы видим, сравнивая учебное время дизайнеров ЮФУ (до пандемии – 10 ч 18 мин) и учебное время студентов-архитекторов ЮФУ и ДГТУ в период введения противоковидных ограничений (суммарно аудиторные и дистанционные занятия в ЮФУ составили 23 ч, в ДГТУ – 23 ч 30 мин, что может быть объяснено также различием учебных программ магистратуры и бакалавриата (см. таблицу).

Значительно больше всех других направлений тратят времени на подготовку к занятиям бакалавры-архитекторы ЮФУ (21 ч 56 мин). Это связано не только с их общей загруженностью для выполнения заданий по конкретным дисциплинам, но и с тем, что студенты готовились к сдаче курсового проекта.

Резко возросло в период противопандемийных ограничений участие в вебинарах и веб-семинарах: наибольший показатель зафиксирован у бакалавров-культурологов ЮФУ (11 ч 8 мин), тогда как до пандемии студенты-культурологи вообще не посещали веб-семинары (см. таблицу).

До пандемии студенты совмещали оплачиваемую работу с учебой в вузе. Здесь лидируют магистранты-дизайнеры (30 ч 5 мин) и бакалавры-культурологи (24 ч 41 мин в неделю). В период противоковидных ограничений время оплачиваемого труда бакалавров-культурологов уменьшилось всего на 1 ч 10 мин, много работают также бакалавры-архитекторы (16 ч 25 мин).

Факт активного вовлечения студентов-бакалавров (т.е. еще не профессионалов) в дистанционную работу представляет исследовательский интерес.

То, на что раньше бакалавры просто не решились бы в силу занятости на очных занятиях, стало возможным в период «локдауна» и после него. Среди работодателей явно возник запрос на дистанционное выполнение различных проектов. Не все люди более зрелого возраста смогли справиться с техническими особенностями «дистанционки», поэтому взоры заказчиков обратились к студенческой молодежи. Начинаящие дизайнеры, архитекторы, реставраторы, инженеры в градостроительной сфере получили возможность попробовать себя в профессии и составили конкуренцию дипломированным специалистам. Так, в студенческих эссе появились упоминания о дистанционной оплачиваемой занятости по специальности, а расход времени бакалавров ДГТУ именно на дистанционную работу составил около 12 ч в неделю (из 29 ч 6 мин на работу всего). Данный факт свидетельствует не только о возросших возможностях студентов, но и о тенденции привлечения еще неквалифицированных специалистов к профессии, о риске потери рабочих мест немобильными в цифровом формате специалистами.

Пандемия оказала влияние и на студенческие темпоральные стратегии по обеспечению быта. В анализируемых данных можно увидеть следующее: молодежь стала больше заниматься хозяйственной деятельностью – убирать, мыть посуду, готовить еду. Конечно, цифры для студенческой аудитории невелики. Ведь уже семейные люди (например, достигшие тридцати лет) тратят гораздо больше времени на обустройство быта, домашние обязанности в силу объективных обстоятельств: семья – это уже не один человек, а несколько, поэтому временные затраты увеличиваются. Но даже для несемейных студентов стратегии изменились. Так, до пандемии время на уборку у магистрантов-культурологов ЮФУ составляло около 3 ч 22 мин в неделю, а в период частичного «локдауна» уже 5 ч 12 мин (бакалавры-культурологи ЮФУ). Бакалавры ДГТУ уделяли уборке во время распространения COVID также значительное количество времени – 3 ч 44 мин в неделю. Затраты времени студентов Крымского полуострова оказались незначительными – сравнимыми с затратами бакалавров-культурологов ЮФУ в допандемийный период.

Увеличение продолжительности нахождения в домашнем пространстве повлияло и на такую важную потребность, как прием пищи. Молодые люди действительно стали больше (по крайней мере, чаще) есть, чем до прихода коронавирусной инфекции. В хронокартах зафиксированы 4–5 приемов пищи в день: кроме обеда / ужина испытуемые упоминают «перекусы», «чай с печеньками», «отвлекся на бутерброд», «угощались пирожками». Средние цифры составили 9 ч 34 мин в неделю (бакалавры-архитекторы ДГТУ), 7 ч 47 мин и 7 ч 45 мин (бакалавры-культурологи и бакалавры-архитекторы ЮФУ). Студенты и магистры КФУ тратили на прием пищи не более 5 с половиной часов. Стоит отметить и то, что увеличение временных затрат на приемы пищи не сказалось на увеличении периодов ее приготовления: 3 ч 42 мин в допандемийный период против 3 ч 3 мин во время частичных ограничений (ЮФУ). Многие обучающиеся заказывали еду или посещали пункты общественного питания во время частичного снятия ограничений (кофейни – самое часто упоминаемое в эссе, а также столовые, буфеты и кафе).

Межличностное общение в досуговой деятельности тоже претерпело изменения: пандемия поспособствовала расцвету сериальной культуры. До локдаунов и частичных ограничений студенческая молодежь в равной мере

обращалась к сетевому кинематографическому контенту и к «большому» кино с просмотром офф-лайн. С приходом новой короновирусной инфекции кинотеатры были сначала закрыты, а затем открыты с ограничением на число зрителей. Индустрия по производству сериалов заработала в полную силу именно в эти два пандемийных года – запрос общества получил маркетинговый отклик. Подтверждением стали данные, предоставленные нашими испытуемыми. Так, средние затраты времени на просмотр подобного контента составили 3 ч 39 мин у магистрантов ЮФУ до пандемии и 6 ч 23 мин у магистрантов КФУ в период частичных ограничений; также выросли затраты времени на он-лайн просмотр фильмов и сериалов у бакалавров ЮФУ – 11 ч 28 мин и у бакалавров ДГТУ – 11 ч 12 мин.

Частичное снятие ограничений для многих респондентов стало поводом переосмыслить бюджет времени, затрачиваемый на прогулки. В сравнении с допандемийными данными (прогулки занимали 3 ч 3 мин в неделю у бакалавров ЮФУ) замечен значительный рост – 4 ч 21 мин у бакалавров ЮФУ, 6 ч 36 мин – ДГТУ и 4 ч 7 мин – КФУ. Ограничение в передвижениях в период полной изоляции, очевидно, повлияло на данную темпоральную стратегию.

В период частичного ограничения противоковидных ограничений отдельные студенты стали активно заниматься общественной работой, что отразилось на средних цифрах в таблице.

Выводы

Сравнительный анализ хронокарт позволил зафиксировать сдвиги в использовании времени студентами в условиях дистанционной и «гибридной» форм обучения, введенных в ходе борьбы с пандемией COVID-19, по сравнению с «доковидным» периодом. Эти сдвиги не касаются времени, отведенного на учебные занятия, так как все три обследуемых вуза (в рамках исследуемых направлений подготовки) оказались готовы к переводу в дистанционный формат, а разница объясняется различием учебных программ магистратуры и бакалавриата.

В пандемийный период наметилась противоречивая тенденция дальнейшей индивидуализации и, в определенной степени, «капсулирования», изолированности индивидуального времени и одновременно расширения, увеличения, «рубрикации» времени в виртуальном пространстве интернета.

Установлено разрушение границы между учебой, работой, самообразованием, досугом и повседневными текущими бытовыми практиками в период пандемии вследствие одновременности осуществления различных видов деятельности и более широкого использования дистанционных способов учебы, работы, общения.

В период противоковидных ограничений возросло время, которое студенты затрачивают на самообразование, хотя в основном в дистанционном режиме.

Тенденция к совмещению студентами оплачиваемой работы с учебой в вузе сохранилась.

Повседневные текущие бытовые практики трансформировались в гигиену домашнего пространства и стали занимать больше времени в связи с более длительным нахождением дома во время частичной изоляции.

Сами студенты выразили удовлетворение от участия в нашем проекте, но большинство из них, увидев объективную картину, были огорчены и наметили пути изменения бюджетов своего времени, продемонстрировав тем самым возрастание стремления к рационализации своей собственной жизни.

Список источников

1. Эриксен Т.Х. Тирания момента. Время в эпоху информации : пер. с норв. М. : Весь Мир, 2003. 208 с.
2. Патрушев В.Д. Бюджеты времени различных социальных групп и территориальных общностей // Социология в России. М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. С. 452–471.
3. 43rd International Association for Time Use Research Conference // URL: <https://www.iatur.org/events/page/call-for-abstracts-2> (accessed: 14.08.2021).
4. Малькина М.Е. Бюджет времени студенческой молодежи // Ограб-Online. 2016. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/byudzh-et-vremeni-studencheskoy-molodezhi/viewer> (дата обращения: 12.08.2021).
5. Амбарова П.А. Темпоральные стратегии поведения социальных общностей в условиях перехода к нелинейному социальному времени: управленческий подход : автореф. дис. ... д-ра социол. наук. Н. Новгород, 2016. 40 с.
6. Большакова О.А. Современные проблемы повседневной деятельности и использования бюджета времени студенческой молодежи : автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 2006. 32 с.
7. Медведкова Н.И., Медведков В.Д., Илькевич К.Б. Бюджет времени студентов художественных и спортивных вузов // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». 2014. № 4 (110). С. 83–88.
8. Бессокирная Г.П., Большакова О.А., Караханова Т.М. Повседневная деятельность городских жителей в годы реформ: бюджет времени, ценности, тенденции (1986–2008) / под общ. ред. Т.М. Карахановой. М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2010. 344 с.
9. Караханова Т.М. Российская повседневность в показателях использования времени (1965–2014 гг.) // Россия реформирующаяся: Ежегодник [сборник научных статей] / отв. ред. М.К. Горшков ; Институт социологии РАН. М. : Новый хронограф, 2016. Вып. 14. С. 172–200.
10. Абульханова К.А., Березина Т.Н. Время личности и время жизни. СПб.: Алтейя, 2001. 304 с.
11. Легостаева Н.И. Структура жизненных стратегий современного российского студенчества : автореф. дис. ... канд. социол. наук. СПб., 2012. 14 с.
12. Паутова Л.А. Молодые «Люди XXI»: общие черты локомотивной группы и региональная специфика. URL: <http://ppt4web.ru/okruzhajushhij-mir/molodye-ljudi-i.html> (дата обращения: 12.08.2021).

References

1. Eriksen, T.H. (2003) *Tiraniya momenta. Vremya v epokhu informatsii* [The Tyranny of the Moment. Time in the Information Age]. Translated from Norwegian. Moscow: Ves' Mir.
2. Patrushev, V.D. (1998) *Byudzhety vremeni razlichnykh sotsial'nykh grupp i territorial'nykh obshchnostey* [Time Budgets of Various Social Groups and Territorial Communities]. In: Yadov, V.Ya. (ed.) *Sotsiologiya v Rossii* [Sociology in Russia]. Moscow: Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences. pp. 452–471.
3. 43rd International Association for Time Use Research Conference. [Online] Available from: <https://www.iatur.org/events/page/call-for-abstracts-2> (Accessed: 14th August 2021).
4. Malkina, M.E. (2016) *Byudzh-et vremeni studencheskoy molodezhi* [Student Youth Time Budget]. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/byudzh-et-vremeni-studencheskoy-molodezhi/viewer> (Accessed: 12th August 2021).
5. Ambarova, P.A. (2016) *Temporal'nye strategii povedeniya sotsial'nykh obshchnostey v usloviyakh perekhoda k nelineynomu sotsial'nomu vremeni: upravlencheskiy podkhod* [Temporal Strategies of Behavior of Social Communities in the Conditions of Transition to Nonlinear Social Time: A Managerial Approach]. Abstract of Sociology Dr. Dis. Nizhny Novgorod.
6. Bolshakova, O.A. (2006) *Sovremennye problemy povsednevnoy deyatel'nosti i ispol'zovaniya byudzheta vremeni studencheskoy molodezhi* [Modern Problems of Daily Activities and the Use of the Time Budget of Students]. Abstract of Sociology Cand. Dis. Moscow.
7. Medvedkova, N.I., Medvedkov, V.D. & Ilkevich, K.B. (2014) *Byudzh-et vremeni studentov hudozhestvennykh i sportivnykh vuzov* [The Time Budget of Students of Art and Sports Universities]. *Uchenye zapiski*. 4(110). pp. 83–88.

8. Bessokirnaya, G.P., Bolshakova, O.A. & Karahanova, T.M. (2010) *Povsednevnyaya deyatel'nost' gorodskikh zhiteley v gody reform: byudzhety vremeni, tsennosti, tendentsii (1986–2008)* [Daily activity of urban residents in the years of reforms: time budget, values, trends (1986–2008)]. Moscow: Institute of Sociology RAS.

9. Karakhanova, T.M. (2016) Rossiyskaya povsednevnost' v pokazatelyakh ispol'zovaniya vremeni (1965–2014 gg.) [Russian Everyday Life in Indicators of Time Use (1965–2014)]. In: Gorshkov, M.K. (ed.) *Rossiya reformiruyushchayasya: Ezhegodnik* [Reforming Russia: A Yearbook]. Moscow: Institute of Sociology RAS, Novyy khronograf. pp. 172–200.

10. Abulkhanova, K.A. & Berezina, T.N. (2001) *Vremya lichnosti i vremya zhizni* [The Time of Personality and the Time of Life]. St. Petersburg: Alteya.

11. Legostaeva, N.I. (2012) *Struktura zhiznennykh strategiy sovremennogo rossiyskogo studenchestva* [The Structure of Life Strategies of Modern Russian Students]. Abstract of Sociology Cand. Dis. St. Petersburg.

12. Pautova, L.A. (n.d.) *Molodye "Lyudi XXI": obshchie cherty lokomotivnoy gruppy i regional'naya spetsifika* [Young "People of the 21st Century": Common Features of the Locomotive Group and Regional Specifics]. [Online] Available from: <http://ppt4web.ru/okruzhajushhij-mir/molodye-ljudi-i.html> <https://www.iatur.org/events/page/call-for-abstracts-2> (Accessed: 12th August 2021).

Сведения об авторах:

Штомпель Л.А. – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия). E-mail: lashtompel@gmail.com

Штомпель О.М. – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры теории культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета (Ростов-на-Дону). E-mail: omshtompel@sfedu.ru

Тихомирова Е.Г. – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории и культурологии Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону). E-mail: katiaphilos@mail.ru

Костромицкая А.В. – кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры культурологии и социокультурного проектирования Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (Симферополь). E-mail: anna-01.kostromitskaya@mail.ru

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Shtompel L.A. – Dr. Sci. (Philosophy), Professor, professor of the Department of Theory of Culture, Ethics and Aesthetics, Institute of Philosophy and Socio-Political Sciences, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russian Federation). E-mail: lashtompel@gmail.com

Shtompel O.M. – Dr. Sci. (Philosophy), Professor, professor of the Department of Theory of Culture, Ethics and Aesthetics, Institute of Philosophy and Socio-Political Sciences, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russian Federation). E-mail: omshtompel@sfedu.ru

Tikhomirova E.G. – Dr. Sci. (Philosophy), Docent, professor of the Department of History and Cultural Studies, Don State Technical University (Rostov-on-Don, Russian Federation). E-mail: katiaphilos@mail.ru

Kostromitskaya A.V. – Cand. Sci. (Cultural Studies), Docent, associate professor of the Department of Cultural Studies and Socio-Cultural Design, Institute of Media Communications, Media Technologies and Design, V.I. Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russian Federation). E-mail: anna-01.kostromitskaya@mail.ru

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.09.2021;

одобрена после рецензирования 14.09.2022; принята к публикации 27.10.2022

The article was submitted 28.09.2021;

approved after reviewing 14.09.2022; accepted for publication 27.10.2022

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

Научная статья
УДК 101.9
doi: 10.17223/1998863X/69/19

ТОПОС ФИЛОСОФА, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ФИЛОСОФСКОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ О.И. ЦЕЛИЩЕВОЙ «РИЧАРД РОРТИ: “МАРГИНАЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ”»)

Сергей Алевтинович Смирнов

*Институт философии и права Сибирского отделения Российской академии наук,
Новосибирск, Россия, smirnoff1955@yandex.ru*

Аннотация. В статье ставится проблема самоопределения философа, поиска им своего места как философа. Проблема обсуждается на материале книги О. И. Целищевой «Ричард Рорти: маргинальный аналитический философ» и работ самого Р. Рорти. Делается вывод о возможности самоопределения философа не с точки зрения принадлежности его к тому или иному направлению или научной школе, а с точки зрения фиксации события его мысли как автора, обладателя авторского высказывания.

Ключевые слова: топос философа, Рорти, самоопределение философа, аналитическая философия, неопрагматизм

Для цитирования: Смирнов С.А. Топос философа, или Еще раз о философском самоопределении (по материалам книги О.И. Целищевой «Ричард Рорти: „маргинальный аналитический философ“») // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 187–202. doi: 10.17223/1998863X/69/19

MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS

Original article

PHILOSOPHERS TOPOS, OR ONCE AGAIN ABOUT PHILOSOPHICAL SELF-DETERMINATION (BASED ON THE BOOK *RICHARD RORTY: A ‘FRINGE ANALYTIC PHILOSOPHER’* BY OXANA TSELISHCHEVA)

Sergey A. Smirnov

Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation, smirnoff1955@yandex.ru

Abstract. The article deals with the issue of philosopher's identity and their search for the niche of their own. The basis for this analysis was found in the book *Richard Rorty: A*

'fringe analytic philosopher' by Oxana Tselishcheva and in Rorty's own material. The article analyses Tselishcheva's search for Rorty's place within philosophical discourse. The article outlines the vast palette of ideas and self-ascribed characteristics Rorty chose when speaking about and comparing himself to other philosophers that are present within the book. As a result of this analysis Tselishcheva points out several fundamental dichotomies of philosophical ideas as presented by Rorty: analytical and continental philosophy; systemic and hortatory ones; normal and revolutionary ones; centripetal and centrifugal ones; logic and science based and metaphor and literature based ones. Tselishcheva applies these classifications to Rorty himself and concludes that he proves to be difficult to pin down. She states that Rorty should be considered more of a continental philosopher as well as more of a hortatory centrifugal literature based revolutionary. This article in turn asks what drives Rorty to shift between all these philosophical positions, without fully committing to any of them? The article agrees with Tselishcheva that this driver was Rorty's understanding of philosophy as a Big Conversation. Rorty abandoned the notion that philosophy must seek ultimate objective answers and strived to make philosophers mediators moderating the Big Conversation as it was happening instead. This is what defined his own identity. Philosophy happens accidentally. It is defined by the principle of contingency. In the absence of objective truth or any hidden final realities, a philosopher can engage in a Conversation out of solidarity, not truth seeking. The article concludes stating that it is possible for a philosopher to identify not as a student of any specific school of thought but as a carrier of their unique opinion and point of view. Thus, philosopher's topos is emergent in nature.

Keywords: philosopher's topos, Rorty, philosopher's self-determination, analytic philosophy, neopragmatism

For citation: Smirnov, S.A. (2022) Philosophers topos, or once again about philosophical self-determination (based on the book *Richard Rorty: A 'fringe analytic philosopher'* by Oxana Tselishcheva). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 187–202. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/19

Попытка определиться

Когда человек представляется, он называет себя, свою фамилию. Или имя. Иногда добавляет должность, профессию: «Здравствуйте, Иванов, инженер, кандидат технических наук». Далее возможны варианты.

Мы привыкли представляться при знакомстве. Нам хочется как-то идентифицировать человека. По имени, профессии, месту проживания.

Мы также привыкли идентифицировать и философов, относя их к той или иной научной школе, направлению, традиции, стране, языку. Или ссылаемся на то, как сам философ себя называет.

Обычным делом стало то, что мы философов называем либо по национальным признакам (французский, немецкий, американский, реже – русский), либо по признакам соотнесения с традицией (прагматизм, логический позитивизм, экзистенциализм), либо шире – с парадигмальными ветвями мировой философии (континентальная или аналитическая философия), либо вводим более предметные различия (научно ориентированная философия или построенная на метафизических основаниях, или философия, выраженная в литературной форме) и т.д.

Нам так удобно, мы привыкли проводить классификации и систематизации, составлять каталоги и картотеки. И даже самых маргинальных авторов, внаходимых мыслителей и пророков мы так или иначе называем и помещаем в то или иное место, ища его тоpos. Например, называем С. Киркегора предтечей экзистенциализма. И на том успокаиваемся. Нам становится как бы все понятно с этим автором.

Но полагаю, что топос философа имеет отношение к гораздо более тонкой и сложной проблеме: проблеме самоопределения философа как автора, с авторским высказыванием, относящегося к тому, что происходит в мире, в сфере философии, культуры и шире – времени, автора, ищущего свое место.

Хорошим поводом поговорить о самоопределении философа во времени, в истории и через это – понимании им себя, мучительных, длиною в жизнь, поисках является замечательная книга О.И. Целищевой «Ричард Рорти: „маргинальный аналитический философ“» [1].

Эта книга хороша уже тем, что, задав принципиально поисковый жанр рассказа о своем герое, автор не только не останавливается на окончательных выводах, но фактически демонстрирует собой иной способ, жанр рассказа, представляя своеобразный путеводитель по авторскому миру «Ричард Рорти», с помощью которого мы не только узнаем про этот богатый мир, но можем ставить и принципиальные методологические вопросы: что означает самоопределение философа как философа? Что и как он делает, когда он себя определяет, а значит обозначает свое место? Что означает поиск философом своего места? Что означает вообще занятие философом своего топоса? Достаточно ли того, что философ, как и всякий исследователь, ученый, соотносится своими работами с той или иной научной школой или традицией? И тогда его присовокупят к группе имен, заведут на него карточку в библиотеке, и он попадет (или не попадет) в великий системный Каталог в качестве еще одного, очередного представителя той или иной школы, традиции, направления.

Итак, воспользуемся данной книгой и попробуем обсудить этот вопрос – что есть топос философа на материале идей и работ Р. Рорти, не вдаваясь в подробности его характеристик разных философских школ и направлений и конкретных философов, держа сугубо методологический фокус и оптику нашего внимания.

Такая работа оказывается усложненной тем, что сам герой, которому посвящена книга О. И. Целищевой, всячески избегал как окончательного понимания того, что такое философия, так и окончательного осмысления и фиксации самого себя как философа, лишним доказательством чего является и название книги, куда входит его самохарактеристика: «маргинальный аналитический философ», само сочетание слов в которой выступает скорее оксюмороном, затемняющим ясность самоопределения.

Казалось бы, Рорти как автор хорошо известен в нашей стране. О нем написаны статьи и книги разных авторов [2–4 и др.]. Но все не так просто.

Рорти относится к тем авторам, которые хороши скорее своим поиском, личностной и профессиональной навигацией, нежели глубиной концепций и системностью мышления. Ирония судьбы разных авторов показывает, что их периодически приписывают к тому или иному философскому цеху и затем спотыкаются.

Как, например, записали М.М. Бахтина в структуралисты, а М. Хайдеггера в экзистенциалисты, в один лагерь с Ж.-П. Сартром. А Л.С. Выготского записали в конструктивисты или в авторы, не изжившие синдром бихевиориста. А Л. Витгенштейна записали в основатели аналитической философии.

Рорти же изначально записали в неопрагматисты. Например, Н.С. Юлина прямо называет его автором, развивающим свой постмодернистский вариант

прагматизма. Согласно ее реконструкции, Рорти порывает с традицией Платона–Декарта–Канта и отказывается от объективистской парадигмы, по которой философия есть форма отражения мира (его зеркало). Поскольку на основании эмпирических знаний и рациональных допущений невозможно судить об объективной картине мира, то никакие убедительные теории и аргументация в пользу наличия некоей реальности, отражаемой в философии, не работают. Равно как и метафизические подпорки и этические основания здесь не годятся. Наука не описывает реальность, а приспосабливается к миру за счет разного рода метафорических картин. А поэтому речь идет не столько о познании некоей реальности, сколько о языковых играх, в духе Витгенштейна, ведущихся не для познания мира и не из стремления к его объективности, а во имя идеи солидарности. Поэтому философия не может быть наукой, ее оценивают не с точки зрения объективности, а с точки зрения солидарности [3].

Казалось бы, все в этой аргументации правильно. Но эта правильность обманчива. Потому что такое определение в духе словарной стратегии (с целью поместить автора в школу под рубрикой, под буквой словаря или энциклопедии) нам никак не помогает понять главного: что такое философия и философствование и что означает конкретный опыт, свидетельство и событийность конкретного опыта конкретного автора в его внутренней правде, а не в жанре словарной статьи о нем.

В этой связи книга Целищевой выгодно отличается от предыдущих работ о Рорти тем, что она не спешит пригвоздить Рорти к тому или иному списку той или иной философской школы, а медленно, не спеша, идет по «местам боевой славы» своего героя, задавая ему вопросы, фиксируя, ставя метки на пути.

На этом пути Рорти оказался таким разным и неожиданным, что возникает впечатление всеядности и эклектики, странной вменяемости и несистемности, если посмотреть на оглавление книги: прагматист, лингвистический философ, ревизионист, критик, релятивист, экуменист, плюралист, анархист, синкретист.

Мы не будем повторять вслед за автором этой книги содержательные поиски и оценки, не будем углубляться в содержание идей, высказанных Рорти относительно, например, аналитической или континентальной философии (хотя косвенно это делать придется). Наша задача – попробовать на материале книги вычленив, сделать методологическую вытяжку относительно того, что такое поиск философом своего места в истории, в историческом времени, невзирая на то, как внешне для читателя и в конкретной ситуации он себя определял. Он может себя определять по-разному, прячась за одежды и уходя в эпатаж, каждый раз показывая нам язык, как это делал и сам Рорти или тот же Деррида, или ранее задолго до него Ницше. Но при этом философ пытался делать главное – быть философом и определять как-то свое место.

Кто Вы, господин Рорти?

Итак, что и как делает Целищева, понимая и определяя Рорти как автора, носителя тех или иных идей, подходов, приверженца той или иной традиции?

С одной стороны, самым простым способом выступает реконструкция собственных попыток самого автора как-то определиться в своей позиции, которую он демонстрирует в своих текстах.

И тогда Рорти выступает «плохим парнем», критиком аналитической философии, ниспровергателем святых для традиционной философии понятий, таких как сущность, объективность, истина и т.д. [1. С. 9]. Также Рорти выступает релятивистом или даже постмодернистом. В силу чего его относят к сторонникам континентальной философии, точнее, конкретному крылу континенталистов-постмодернистов типа Ж. Деррида. Или Рорти относят к неопрагматистам, продолжателям линии Д. Дьюи.

Можно выбрать сугубо оценочный язык разговора о философе. И тогда он – свой, преданный сторонник, или, наоборот, предатель, перебежчик, ниспровергатель. Но можно выбрать иной способ понимания автора как Другого, непохожего, полагая, что каждый автор, обладая «презумпцией осмысленности», имеет право на то, чтобы все же не быть «унасекомленным», прибитым к месту, а иметь право на поиск.

И тогда Рорти больше похож на этакое паломника, путешествующего по философским мирам и везде получающего временное пристанище, находясь постоянно на границе, точнее, внутри плавающей границы, на фронтире, будучи скорее путником, нежели оседлым жителем. Исследователи, желающие как-то зафиксировать эти места обитания путника, стремятся его остановить, поймать, зафиксировать его место, застолбить в виде готового оценочного знания. Но герой всякий раз ускользает из внимания исследователя-оценщика.

Возникает законный вопрос: насколько адекватен именно такой оценочный и объективирующий подход, стремящийся остановить путника и оценить его пригвождающим вопросом (ты кто?), обрядив в одежды устоявшейся традиции? Ведь по этой логике оценщик больше характеризует себя, нежели этого паломника. Он использует свои устоявшиеся взгляды и представления, пытаясь упаковать живой человеческий материал и опыт мысли в жесткую форму классификации. Но этот живой, дышащий материал всякий раз сопротивляется, не вмещаясь в эту форму, что Целищева всякий раз и показывает, идя от главы к главе по следам Рорти и показывая, что он постоянно меняет места обитания и сменяет одежды.

Но является ли такой путь постоянной сменой взглядов? Или это скорее просто иной способ существования в философии, о чем и Целищева говорит, оценивая его положение как постоянное нахождение в «пограничной ситуации», в ситуации выбора в пределах разных дихотомий, которые он сам перед собой и ставит.

Итак, нас интересуют не сами по себе высказывания Рорти об аналитических философах или о Хайдеггере и Деррида (что само по себе интересно, но это уже сделали другие исследователи), сколько то, что и как делает Рорти, совершая очередной виток в своем паломничестве. Что заставляет его делать этот виток в поисках своего места? Только ли знание огромного числа прочитанных книжек или что-то иное? На чем и как строится эта странная навигация перебежчика?

Возникает также и вопрос к автору книги о Рорти: как Целищева сама видит свой метод идентификации Рорти-философа? Каким способом она вы-

страивает свое исследование, дабы определить топос Рорти-философа? Или метод здесь один – инвентаризация высказываний философа и перечисление их по мере поступления, в ходе жизни и классификация их задним числом?

Попробуем свести эту работу к ряду способов.

1. Инвентаризация идей и автохарактеристик по публикациям, в которых Рорти высказывается относительно различных философских направлений и авторов, соотнося с ними свои представления и вынося автохарактеристики. Например, в одной из статей Рорти пишет, что ему «поздний Витгенштейн нравится больше, чем поздний Хайдеггер» [5. С. 131]. Книга Целищевой строится в логике перечисления этого инвентарного списка, начиная с Рорти-прагматиста и заканчивая Рорти-экуменистом.

Через характеристику других философов мы видим фактически автохарактеристику. В последней позиция автора отзеркаливает и больше говорит о самом Рорти, нежели о том же Хайдеггере, с которым он, как и со многими другими континентальными авторами, обходился по-американски излишне вольно, фактически рисуя скорее воображаемые образы, дружеские шаржи, нежели давая адекватные оценки. Зачастую такие образы возникали в силу не аналитического стиля, а стиля из разряда сугубо литературной критики, стиля изящного беллетриста, взволнованного скорее своей авторской метафорой, нежели точностью аргументации. Как он, например, сделал с тем же Хайдеггером, рисуя свой воображаемый мир, в котором тот стал и лауреатом Нобеля, и проработал два года в Принстоне [6. С. 136–137].

2. Классификация инвентарных списков. Инвентарные списки выстраиваются самые различные, состоящие из собственных авторских противопоставлений разных традиций и школ. Приведем эти дихотомии:

– аналитическая vs континентальная философия; движение Рорти между этими берегами происходит в течение всей жизни, но при предпочтении континентальной, хотя мы никак не можем назвать его континентальным философом;

– научная философия vs экзистенциальная, при интересе Рорти ко второй, что, однако, вовсе не говорит о том, что он экзистенциальный философ;

– философия сциентистская, подражающая науке vs философия как вид культуры при предпочтении ко второй, хотя Рорти всегда пытался удерживать позицию строгого критика и исследователя;

– философия как строгая наука vs философия как нестрогая дисциплина, литературная критика с предпочтением второй, хотя в своей критике Рорти пытался сохранять взгляд аналитика;

– философия в парадигме нормальной науки vs философия как революционная наука (в духе Т. Куна), с предпочтением второй, хотя Рорти всегда ориентировался на философский канон, на словарь;

– философия как научная дисциплина vs философия как гуманитарная дисциплина при явном колебании между ними;

– философия как системная дисциплина vs философия несистематизированная практика, личный опыт мышления (в духе Ницше, Хайдеггера, Фуко) при явной симпатии ко второй, хотя Рорти никак нельзя назвать последователем и продолжателем этих авторов;

– ориентация философии на историчность, учет традиций, истории идей vs отказ от историчности (напр., Витгенштейн, «который имел смутное пред-

ставление об истории философии») при явном интересе ко второй, хотя Рорти всегда стремился удержать историчность в своем анализе, уходя, впрочем, в нем в герменевтику и вольные интерпретации;

– и т.д. (см. также список: [1. С. 29].

В одной из работ Рорти упоминает о трех типах философов: философ-как-ученый, философ-как-поэт, философ-как социальный реформатор [Там же. С. 19 и др.]. Это перечисление можно и продолжить: философ как моралист, философ как писатель, как интеллектуал.

Про себя он явным образом ничего не говорит, но в ходе жизни он периодически берет идеи то от одного, то от другого опыта, жанра, направления. В этом плане его самохарактеристика строится не на принадлежности к какой-то школе, а исходя из положенных им самим некоторых ориентиров, маяков. Как корабль плывет между берегами и ни к одному берегу не пришвартовывается. Но ему важно видеть эти маяки на берегу и распознавать рельеф местности.

Например, в 60-е гг. Рорти был более прагматист, а в середине 70-х он становится как бы континентальным философом [Там же. С. 25]. Но именно как бы. Разные исследователи отмечают, что подлинным прагматистом он никогда и не был, а скорее был вульгарным неопрагматистом или прагматистом поневоле, скорее не из философских, а из патриотических соображений, стремясь к культурной национальной идентификации, будучи «очень американцем», принадлежа к почве, корням, нежели к философским основаниям [Там же. С. 44–45]¹. Его защита прагматизма во многом была увязана с ощущением принадлежности к культуре Америки. Во-вторых, неопрагматизм Рорти выглядит скорее реакцией на аналитическую философию, нежели самостоятельным действием [Там же. С. 48]. Но на реактивном действии (прятия или неприятия) не построить своего концепта. В таком случае прагматизм используется Рорти в прикладном смысле, не целевом, как инструмент, орудие в борьбе со сциентизмом в философии, поскольку философию Рорти скорее воспринимал не как науку, а как гуманитарную дисциплину и форму культуры, как показывает в своей книге О.И. Целищева.

При перечислении идентичностей философов Рорти близок образ философа Хайдеггера, которого он считал философом-как-поэтом, хотя сам он не становился таковым [Там же. С. 20, 110–114]. Критикуя же аналитическую философию, он в своей логике и форме изложения идей, в своем стиле, был ближе как раз к аналитическим философам. Так что сам он выбивается из собственной классификации, постоянно находясь «между». О.И. Целищева приводит слова Пассмора: «Рорти никого не принимает полностью. Но и очень редко отвергает кого-либо с откровенной враждебностью» [Там же. С. 28].

3. Обозначение базовых ориентиров.

Далее О.И. Целищева ставит перед собой задачу: обнаружение структурных идей и аргументов, позволяющих непредвзято взглянуть на творчество Рорти и избавиться от налипших к нему ярлыков противника разума [Там же. С. 52]. Эти структурные идеи ставятся поверх выше обозначенных в ходе инвентаризации дихотомий и выступают в качестве обозначенных самим Рорти

¹ См.: «Я являюсь американским патриотом, но это политическая, а не философская категория» [7. С. 155].

базовых ориентиров при его движении по философской ойкумене. Эти реперы, маяки помогают Рорти, с одной стороны, ориентироваться в мире философии, с другой стороны, предупреждают его и не позволяют приближаться ни к одному из берегов.

Если судить по работе О.И. Целищевой, то таковыми ориентирами выступают следующие.

Различие систематической философии и «наставительной» философии (в пользу второй). Философы-систематики строят философию в духе системы, объективистской конструкции, в рамках традиции и трансляции идей, в логике накопления знаний по канонам науки. Здесь выстраивается линия канона от Платона до Канта–Гегеля.

В отличие от них, наставники предпочитают не систематизировать знания, а вести и поддерживать разговор, не ища объективную истину [8. С. 279]. Здесь среди ведущих разговор появляются радикально разные имена – Хайдеггер, Киркегор, Дьюи, Витгенштейн. Критерием различения систематической и наставительной философии для Рорти выступает принятие или непринятие необходимости поиска объективной истины.

Нормальная и революционная философия. В таком случае рождается второй критерий – различение философов (как и ученых) на «нормальных» и «революционных».

Одни авторы работают в рамках принятой парадигмы (словаря, в версии Рорти), другие выступают за преодоление принятой парадигмы. К революционным авторам Рорти относит Гуссерля, Рассела, позднего Витгенштейна, позднего Хайдеггера, Киркегора, Ницше.

Но надо отметить, что такое разделение двух дихотомий (системная и наставительная, нормальная и революционная философии) друг с другом не совпадает, что признает и сам Рорти [8. С. 273].

Различение стилей. В названных различиях далее Рорти выделяет стили. Философы-наставники настроены на то, чтобы реагировать сатирой, пародиями, афоризмами. Они «намеренно периферийны», в отличие от систематизаторов, предпочитающих канон, логику и научную аргументацию [8. С. 273].

Итак, мы имеем несколько дихотомий, выступающих для Рорти в качестве рамочных ориентиров, маркеров-маяков, показывающих ему собственный путь. Я бы в этой связи говорил не о непоследовательности Рорти, а о вполне последовательном, сугубо *поисковом способе философствования*, способе антидоктринальном, антиобъективистском, используемом теми авторами, на которых сам Рорти ориентировался, не становясь при этом их подражателем – Витгенштейн, Хайдеггер, Ницше, Киркегор.

Повторим эти дихотомии:

- аналитическая – континентальная философия,
- систематическая – наставительная философия,
- нормальная – революционная философия,
- довлеющая к центру – довлеющая к периферии линия мысли,
- опирающаяся на научную аргументацию и логику – опирающаяся на метафоры и литературную критику.

Сам Рорти, замечает Целищева, предпочитает ориентироваться на философов-наставников, намеренно периферийных [1. С. 99].

Таким образом, если проводить примерную идентификацию Рорти-автора, ища его место как философа, то по вышеназванной логике он скорее континентальный, скорее наставник, скорее революционный и скорее периферийный философ, предпочитающий скорее литературный стиль пародий и метафор, нежели логику научной аргументации.

Разговор

Допустим, что так. Но в таком случае нам чего-то главного не хватает. Нам не хватает ответа на главный вопрос: что в таком случае выступает *сквозным двигателем* для Рорти, позволяющим ему двигаться между берегами, не причаливая ни к одному из них? Похоже, таким двигателем выступает понимание философии как *Большого Разговора*.

Ведь что получается? Целищева верно подмечает, что Рорти выделяет два базовых способа философствования – систематический и наставительный. Первый довлеет к научному дискурсу, категориальному, концептуальному, логически выстроенному. Второй довлеет более к наставительному дискурсу, предлагающему поиск новых форм и способов мысли, новые интерпретации старых теорий в новых жизненных ситуациях¹.

В этой дихотомии сам Рорти довлеет к наставительному жанру, не предполагающему необходимость проникновения в сущность реальности и поиска истины. Вместо поиска истины предлагается Разговор человечества, который принимает у самого Рорти порой гротескные формы.

Но что тогда кормит само ведение разговора? Интеллектуальная и шире – жизненная провокация. Противники Рорти обвиняют его в том, что его работы, особенно те, в которых он высказывается с критикой в адрес представителей аналитической философии, это сплошные провокативные выходки интеллектуала-перебежчика. Сама по себе наука или анализ научных достижений не могут быть такими провокациями. А вот наставительная философия, не несущая никакой ответственности за объективность научных данных, поскольку отрицает саму объективность научного знания, может себе позволить разного рода провокации в адрес научных концепций и философских доктрин [1. С. 103–104]. Рорти выбирает как раз эту «разговорную философию, которая отказывается от квазинаучной цели добывания истины в пользу полезной новизны» [Там же. С. 106].

Но вопрос остается – что толкает на разговор? Что кормит разговор? Зачем наставнику провоцировать? Коль скоро философствование освобождается от поиска истины и сущности, то философ освобождается и от ответственности. В таком случае всякий прецедент философствования вообще случаен. Мы имеем дело с феноменом контингентности. Разговор сам по себе – случа-

¹ См. разведение доктринального и поискового (номадического) способа философствования [9, 10]. Такое разведение, вообще-то, было давно известно, еще с античности. Исследователи разводят, с одной стороны, платоническую традицию, с другой – софистическую. Первая предполагает фундаменталистскую стратегию, опирающуюся на текстовую культуру, на полагание бесконечного разговора, номадического странствия от дискурса к дискурсу, от интерпретации к интерпретации. Это разведение двух ориентаций, модусов, стратегий философствования и мышления сохраняется в исследованиях, посвященных истории философии. Полагаю, в лице Рорти мы имеем дело с некоторым американским облегченным вариантом этой старой дихотомии, в котором снят груз онтологии, а на первое место поставлен сугубо прагматический интерес философа.

ен, он может быть только контингентным, происходящим как случай между конкретными людьми, в конкретных местах, в конкретное время [1. С. 109].

Не поэтому ли Рорти близки такие философы, как Гадамер с его герменевтикой, Хайдеггер с его событийностью? Только вот событийность не означает случайности. Между событием и случаем есть принципиальная разница. Мысль о бытии не может быть случаем. Но может стать событием («бытие свершается как событие»). Как становится событием сам человек, совершающий личное усилие быть¹.

Впрочем, разница в этих аргументах – лишь часть разговора. Так что и здесь Рорти прав. Наш спор с Рорти относительно того, кто точнее понимает Хайдеггера – всего лишь составная часть нашего Разговора. Ведь что остается в философии после отказа от метафизики? Остается «форма интерпретации. Философия остается интерпретативной посредницей между различными областями культуры; пытается предотвратить трения между учеными, священниками и политиками. ...Философы занимаются тем, что производят поверхность, смазывают, если так можно выразиться, колеса» [7. С. 139].

Да, в своей логике Рорти прав, выбирая для философа роль посредника. Если нет и быть не может объективной истины и нет никакой объективной реальности и сущности, скрытой от невооруженного глаза, то снимается необходимость поиска истины и построения концептуальных систем. Допустим, такой посыл понятен, хотя и не принимается многими философами. Но если он принимается, то возникает все равно вопрос о базовой ориентации в этой навигации-разговоре: куда плыть? И зачем плыть? Или само словопреение становится самоцелью? Этого же не бывает. Все мореплаватели плывут с конкретной целью. И с тем, чтобы потом вернуться к родным берегам. К какому берегу причалит лодка Рорти? На чем душа успокоится? Зачем ему Разговор? И о чем?

Пока не будем спешить с ответом. Пока фиксируем вслед за Целищевой, что выбор определения философии как Разговора человечества дает Рорти действительно в руки движитель, позволяющий ему не причаливать ни к одному берегу, не выбирать варианты в его же собственных дихотомиях, а варьировать между ними. Поэтому продолжение разговора самого по себе, поддержание разговора является для него достаточной целью для философии [1. С. 101]. При такой позиции необходимость в стремлении к научной аргументации, вообще к аргументации, снимается. Она замещается герменевтикой, толкованием, интерпретацией, бесконечным Разговором, не имеющим конца и края.

Об этом также говорит множество его собственных автохарактеристик. Например, «сам я убежденный холист, историст, прагматист и контекстуалист» [11. С. 278]. Оценка философии Рорти у разных авторов звучит часто в жанре фиксации отсутствия чего бы то ни было: «Философия без оснований»

¹ Характеристики Рорти разных философов, мягко говоря, своеобразны, представляются им в удобном для него виде. Понравившихся ему авторов он как бы присваивает себе, приватизирует, записывая чуть ли не в своих сторонников. Так случилось с Хайдеггером, Гадамером, Деррида, хотя эта странная близость происходит сугубо в голове самого Рорти. Хайдеггера, как и других, Рорти использует для обоснования своей позиции. В этом смысле он вполне последователен. Философия есть разговор, ведущийся в свободном жанре интерпретаций. Участник разговора никак не скован ни объективной истиной, ни научными обязательствами, ни этическими нормами. Поэтому, в духе Фейерабенда, anything goes. А философия тогда, как верно замечает Целищева, превращается в перечень случаев, которые имеют между собой мало общего и не связаны с предыдущей традицией [1. С. 163].

[7], «философия без метода» [2]. Авторы идут вслед за самим Рорти, который называл свои статьи сходным образом: «Мир без субстанций и сущностей», «Этика без принципов», «Истина без соответствия реальности» [1. С. 16].

Фактически у философии нет своих оснований и своего содержания. Понятно, почему. Бытия же нет. Точнее, нет такой проблемы. Философ становится просто посредником между разными профессионалами, между сферами культуры. Работа посредника заставляет философа быть разным, но никогда не быть собой. Он должен быть всегда между, между разными сторонами, всегда на границе. Он должен быть разным в разговоре с разными собеседниками. Но никогда не становится сам самостоятельным собеседником. Он лишь, по словам Рорти, смазывает колеса.

Посредничество воплощается в том, чтобы продвигать, будучи на границах, новые словари, сочленять несоизмеримое (несоразмерные парадигмы, в духе Т. Куна). «Философы, – полагает Рорти, – будут нужны для того, чтобы совместить новые словари Дарвина или Фрейда со старыми способами самовыражения, чтобы связать старое и новое. Если вы не разделяете взгляд на философа как на посредника и истолкователя, продвигаться вперед без таких людей вы не можете» [7. С. 142–143].

Итак, философ – посредник, ведущий бесконечный Разговор. И снова вопрос: если разговор держится лишь на провокации, иронии, афоризмах, то философия быстро превращается в жанр литературной критики, нужность и эффективность которой измеряются этими провокациями и метафорами. Она вообще превращается в постоянную провокативную полемику, в которой главным выступает не научный аргумент, а эффект метафоры. Мы теряем границу между философией и литературой, что Рорти сам и допускает, перейдя, как отмечает О.И. Целищева, в конце жизни к жанру эссе.

Но тем самым мы теряем главное. Литератор должен быть точен в языке, он должен думать о стиле, о форме высказывания. Писатель или поэт, художник слова, думает о качестве авторского слова, авторского высказывания. А философ должен думать о точности мысли. Последняя, даже если она не выступает в форме научного аргумента, против обязательности которого выступал Рорти, должна быть точной в своей логике и своей направленности, своем предмете. И здесь, боюсь, Рорти поступает как типичный журналист: в погоне за провокационной фразой он готов забыть и про содержание. А содержание для философии все же должно быть главным: про что Разговор? Это мысль о бытии человека? Если нет, то Разговор редуцируется к сочинению эффектных литературных провокаций. Но тогда зачем нужен этот Разговор и этот посредник? Кому он нужен?

Коль скоро ключевой критерий философии (философия как мысль о бытии человека, т.е. его истоке и месте в мире) снимается, то остается действительно лишь бесконечный разговор, без начала и конца, в пределах которого возможно все, любые интеллектуальные словопрения. Они могут быть интересными, даже яркими, впечатляющими, состоящими из сплошных случайных, вспыхивающих провокаций. Но не более того. И понятное дело, ни к какому берегу такой разговор привести не может, не притянет ни к какому лагерю, началу, концепту, ни к какому миру. А философ становится таким капитаном корабля без руля и без ветрил, скитающимся по морям и никак не находящим своего дома. Этаким интеллектуальный бомж, без дома, без се-

мы, без детей и внуков, т.е. без традиций, без устоев, не могущий никак бросить якорь в родной гавани. А где она, эта гавань? Где дом у перекати-поле? Открытое пространство.

Поэтому вместо тяжбы о бытии – разговор. Вместо философии как строгой мысли – литературное эссе. Вместо философии как ответственного мышления – интеллектуальные словопрения. Мы получаем облегченный вариант философствования американского интеллектуала. Так ли это? Или опять обманка? И Рорти опять нам показал язык?

Результатом похождения по текстам Рорти у Целищевой выступает в итоге перечисление базовых дихотомий, исходных реперных установок, характеризующих то, что есть философия для Рорти (нечто вроде манифеста «другой философии» Рорти) [1. С. 124–125]:

1. Намеренная периферийность философского дискурса.
2. Представление философии как реакции на устоявшиеся традиции.
3. Наставительный характер философии в противопоставлении с систематической философией.
4. Анормальный характер философии в противопоставлении с нормальной философией в смысле Т. Куна и революционный характер дискурса.
5. Беллетристический вид представления философского дискурса.
6. Антиэссенциализм философского дискурса.

Получается, согласно этому списку, что место Рорти как философа, его топос определяется так: это беллетрист, провоцирующий системщиков-философов и аналитиков на новые революционные открытия и интерпретации старых знаний и норм, в результате чего постоянно выходящий на периферию философского дискурса. Что-то нам это напоминает? Нам это напоминает сказанное и из любимого Рорти Набокова, который себя описал примерно так же: «Я американский писатель, родившийся в России и получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу, прежде чем провести пятнадцать лет в Германии»¹. Такой же внеаходимый.

Но этот перечень также условен в своих номинациях. Целищева права, она во многих местах своей книги постоянно ловит Рорти на непоследовательности, на неточности и нечеткости его позиции, он то критикует аналитическую философию, то отказывается от своих слов и т.д.

Но дело в том, что ловить Рорти на непоследовательности не вполне продуктивно. Его ловят на содержательных нестыковках, на разрывах в содержательной логике, но у него-то логика другая. Ведь философия по его логике – это разговор, в котором нет точных, однозначных маркеров, ограничивающих автора. Поэтому он вправе сегодня говорить одно, завтра другое, поскольку изменилась жизненная ситуация. Вчера философ, его идеи звучат так, а сегодня они начинают звучать по-другому. Ведь он же интерпретатор-провокатор, подменяющий аргумент метафорой, он не собирается доказывать истину и не ищет сущности в вещах, отказываясь от эссенциализма как онтологической установки. А поэтому какие к нему могут быть претензии?

Но претензии могут быть серьезные. Мы уже высказали их в связи с тем, что можно считать главной проблемой в философии. Приведенные выше характеристики «другой философии» Рорти выглядят именно как не имеющая

¹ Из интервью, опубликованного в журнале «Playboy» в 1964 г., которое В.В. Набоков дал Э. Тоффлеру.

своего содержания вывеска. Ведь если действительно сводить философию к Разговору, а из содержания Разговора вынимать ключевой стержень – мысль о бытии человека, то что же в нем останется? Бесконечные словопрения?

Ведь и сами представители континентальной философии, будь то Хайдеггер или Гадамер, или Фуко, или Сартр, становились периферийными не потому, что фланировали от берега к берегу, а потому, что мысль о бытии не может быть упакована в доктрину, в систематическую концепцию. Поэтому они избрали поисковый философский метод. Философия в своей онтологической установке не может быть выстроена наукообразно, не может быть вообще наукой (старый спор Хайдеггера с Венским кружком), а потому она и отказывается от эссенциального дискурса в пользу иного (здесь в этом поиске были варианты – событийный, энергийный, прагматический и др.).

А у Рорти получается так, что, оставив внешний контур, собственно, саму полемичность Разговора и отказавшись от эссенциального залога, он совершает подмену: онтологическую тяжбу заменил на бесконечный разговор. И мы получаем вместо философии интеллектуальные рассуждения в стиле парижских кафе. Более того, как справедливо замечает О.И. Целищева, при таком наборе дихотомий, который предъявил Рорти к философии, самоидентификация философии вообще затруднительна. Если полагать, что философия есть лишь реакция на прежние программы, что она намеренно периферийна, что она революционна и ломает каноны и поэтому иронична, то вряд ли можно вообще говорить о границах и сфере философии, о ее самоидентичности [1. С. 149]. Философия в этих характеристиках просто расплывается, теряя ориентиры.

Но в таком случае: как мы сами ответим на наш вопрос о том, что есть место Рорти как философа? Он, Рорти, как философ, становится странно неуместным, не имеющим места, т.е. у-топистом. Его место – это пустое место, всегда еще возможное место. Такое понимание объясняется еще и тем, что Рорти, при всей его активности, был вообще-то непубличным философом, точнее, неакадемическим, даже каким-то домашним. То есть автором для домашнего, непубличного чтения, не для университетской программы. И сам Рорти к вышеприведенным дихотомиям добавлял еще одну: философия – это приватное vs публичное, социально значимое действие. Вот его замечание: «Я думаю, философия бывает двух видов. Есть философы вроде Ролса или Дьюи, а есть такие философы, как Витгенштейн и Хайдеггер – есть философы публичные и философы приватные» [7. С. 147]. Причем оппозиция приватное–публичное проходит как в философии, так и в литературе и в целом в искусстве. При выборе по этой дихотомии Рорти склонен себя считать «витгенштейнцем», т.е. автором непубличным, приватным. На вопрос его собеседника Рыклина, кто всего ближе к нему, Рорти, из континентальных философов, он ответил: «Наиболее интересными и оригинальными мне представляются Хабермас и Деррида» [Там же. С. 155]. Деррида представляется ему приватным философом, а Хабермас, наоборот, – социально значимым [Там же. С. 156].

Заканчивается разнообразная классификация и самоидентификация Рорти тем, что он себя называет философом «маргинального аналитического типа с массой литературных интересов, любовью к метафорам и другими симптомами интеллектуальной сентиментальности» [1. С. 187].

Эта самохарактеристика явно показывает ироничность автора к самому себе, к тому, чем он занимается, и необязательность собственных характеристик относительно других авторов и концепций.

А посему можно ли вообще всерьез относиться к тому, что сказал Рорти относительно той или иной философской школы? Относительно самого себя?

Думаю, можно. Если обсуждать «случай Рорти» как кейс вменяемости, как пример того, что значит философу искать (или не искать) свое место в мире.

Свои дихотомии, как показывает и О.И. Целищева, Рорти к себе не вполне применял. Он и здесь лавировал между. Впрочем, вполне соответствуя своей же характеристике – быть посредником, не принадлежа ни к какой философской партии. Он «смазывал колеса», обеспечивал связность и контакты, выстраивал коммуникацию, интерпретировал разных, особенно сложных авторов, провоцируя на новое видение их идей, подвергаясь в связи с этим обструкции со всех сторон. А в окончательной систематизации и классификации нуждаются разве что библиотекари, говорил сам Рорти, которым нужно куда-то поставить на полку книжку того или иного автора. Да чиновникам от образования.

А в реальности звучания философских идей различия постоянно размываются, и мы имеем множество пограничных примеров. Особенно если речь идет о тех, кто первым что-то изобрел – их нельзя отнести ни к одной из категорий.

В этом плане Рорти выступает постоянным пограничником, номадом, движущимся по границам областей знаний, сфер деятельности, систем категорий, словарей и парадигм, неся подвижный фронт на самом себе. Он напоминает собой кочевника, который перемещается по территории, неся на себе подвижный фронт. Кочевник-оленьевод с полуострова Ямал перемещается вслед за своими оленями по тундре, вместе с чумом, неся на себе собственный Дом обитания, себя, свою семью, свой уклад жизни. Он перемещает на себе и границу, не будучи прикрепленным к территории, но постоянно ориентируясь в пространстве перемещения и обитания. Но при таком перемещении ему нужно всегда видеть маяки-ориентиры, расставленные по пути следования.

Так и философ-номад перемещается по миру философии, не примыкая ни к какому оседлому лагерю. В этом и состоит его странная неуемная уместность, что и показано в замечательной книге пытливого автора-вопрошателя О.И. Целищевой.

Но тогда попробуем обозначить те самые маяки-ориентиры, ввести некоторые рамочные критерии того, что есть топос философа, не претендуя на окончательность. Предложим сугубо рабочую версию, опираясь на опыт жизни и мысли самого Рорти (см. также [12]).

1. Первое. Отношение философа к научной школе или направлению играет роль сугубо биографическую и картотечную. Детали биографии нужны для библиотекаря и биографа. Самому философу с точки зрения содержания его мысли это не нужно, если у него нет сугубо конъюнктурных амбиций прослыть новым начинателем и основателем, новым Учителем и проч.

2. Второе. Географические и исторические характеристики биографии философа также имеют весьма второстепенное значение при определении

топоса философа. По большому счету, какая разница, где жил и трудился Рорти (продолжим список – Бахтин, Витгенштейн или Хайдеггер)? Независимо от своей национальности, языка, на котором они писали свои труды, страны, где родились и жили, они состоялись как философы по сугубо другой, личной, причине. А прилагательное «американский», «русский» или «немецкий» имеет смысл лишь для картотеки и словаря.

3. Третье, и главное. Ключевым признаком понимания и осмысления топоса философа выступает в таком случае один: *событие мысли философа*. Состоялся ли праздник этой мысли, случилось ли это событие, или его энергия и всяческие потуги что-то сказать городу и миру сдулись в свисток? Кто знал и предполагал, что однажды явится такой философ Рорти и начнет путать все карты и привычные, претендующие на системность, библиотечные представления? Никто. Но вот он появился, и философский мир стал богаче еще на одно событие. Топос философа событийен, не географичен, не партиен, не может быть описан принадлежностью к идейному лагерю. И теперь мы можем читать его работы, писать о нем книги и понимать, что мир без него уже неполон. Топос философа в таком случае имеет событийную природу. Событийность мысли философа и определяет то, случился ли философ, обозначив свое место в мире, или не случился. Последнее, впрочем, весьма условно. Известны многие примеры того, что имя философа начинает звучать спустя многие годы забвения, утраты рукописей и т.д. О нем вдруг вспоминают и начинают зачислять в зачинатели и основатели. Очень может быть, что когда-нибудь и Рорти будет записан в основатели новомодного движения. Но к этому он не будет иметь никакого отношения.

Список источников

1. Целищева О.И. Ричард Рорти: «маргинальный аналитический философ». М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021. 352 с.
2. Джохадзе И. Неопрагматизм Ричарда Рорти. М., 2001.
3. Юлина Н.С. Постмодернистский прагматизм Ричарда Рорти. Долгопрудный: Вестком, 1998. 100 с.
4. Целищев В.В. Философский переписчик: переводы и размышления. Новосибирск: ОмегаПресс, 2014.
5. Рорти Р. Витгенштейн, Хайдеггер и гипостазирование языка // Философия Мартина Хайдеггера и современность / пер. И.В. Борисовой. М.: Наука, 1991. С. 121–133.
6. Рорти Р. Еще один возможный мир // Философия Мартина Хайдеггера и современность / пер. И.В. Борисовой. М.: Наука, 1991. С. 133–138.
7. Философия без оснований. Беседа с Ричардом Рорти // Рыклин М. Деконструкция и де-струкция. Беседы с философами. М.: Логос, 2002. С. 139–163.
8. Рорти Р. Философия и зеркало природы / пер. В.В. Целищева. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. 320 с.
9. Смирнов С. А. Антропологический навигатор. К событийной онтологии человека. Новосибирск: Офсет, 2016.
10. Вольф М.Н. Homo scriptoris vs homo dicens: онтология и антропология как логология // Человек.RU. 2016. № 11. С. 56–70.
11. Рорти Р. Аналитическая философия и трансформация философии // Целищев В.В. Философский переписчик: переводы и размышления. Новосибирск: ОмегаПресс, 2014. С. 263–282.
12. Смирнов С.А. К вопросу о самоопределении философа // Идеи и идеалы. 2020. Т. 12, № 1, ч. 1. С. 71–76.

References

1. Tselishcheva, O.I. (2021) *Richard Rorty: "marginal'nyy analiticheskiy filosof"* [Richard Rorty: "Marginal Analytical Philosopher"]. Moscow: Kanon+ ROOI "Reabilitatsiya."

2. Dzhokhadze, I. (2001) *Neopragmatizm Richarda Rorti* [Neopragmatism of Richard Rorty]. Moscow: URSS.
3. Yulina, N.S. (1998) *Postmodernistskiy pragmatizm Richarda Ror* [Postmodernist pragmatism of Richard Rorty]. Dolgoprudny: Vestkom.
4. Tselishchev, V.V. (2014) *Filosofskiy perepischik: perevody i razmyshleniya* [Philosophical Copyist: Translations and Reflections]. Novosibirsk: OmegaPress.
5. Rorty, R. (1991a) Wittgenstejn, Khaydegger i gipostazirovanie yazyka [Wittgenstein, Heidegger and the hypostasis of language]. In: Motroshilova, N.V. (ed.) *Filosofiya Martina Khaydeggera i sovremennost'* [Philosophy of Martin Heidegger and Modernity]. Translated from English by I.V. Borisova. Moscow: Nauka. pp. 121–133.
6. Rorty, R. (1991b) Eshche odin vozmozhnyy mir [Another possible world]. In: Motroshilova, N.V. (ed.) *Filosofiya Martina Khaydeggera i sovremennost'* [Philosophy of Martin Heidegger and Modernity]. Translated from English by I.V. Borisova. Moscow: Nauka. pp. 133–138.
7. Ryklin, M. (2002) *Dekonstruksiya i destruksiya. Besedy s filosofami* [Deconstruction and Destruction. Conversations with Philosophers]. Moscow: Logos. pp. 139–163.
8. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and Mirror of Nature]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
9. Smirnov, S.A. (2016) *Antropologicheskiy navigator. K sobytiynoy ontologii cheloveka* [Anthropological Navigator. To the Event Ontology of Man]. Novosibirsk: Offset.
10. Wolf, M.N. (2016) Homo scriptoris vs homo dicens: ontologiya i antropologiya kak logologiya [Homo scriptoris vs homo dicens: ontology and anthropology as logology]. *Chelovek.RU*. 11. pp. 56–70.
11. Rorty, R. (2014) Analiticheskaya filosofiya i transformatsiya filosofii [Analytical philosophy and transformation of philosophy]. In: Tselishchev, V.V. *Filosofskiy perepischik: perevody i razmyshleniya* [The Philosophical Copyist: Translations and Reflections]. Novosibirsk: OmegaPress. pp. 263–282.
12. Smirnov, S.A. (2020) K voprosu o samoopredelenii filosopa [On self-determination of the philosopher]. *Idei i idealy*. 12(1-1). pp. 71–76.

Сведения об авторе:

Смирнов С.А. – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Отдела философии Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (Новосибирск, Россия). E-mail: smirnoff1955@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Smirnov S.A., Dr. Sci. (Philosophy), leading research fellow, Department of Philosophy, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: smirnoff1955@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 25.08.2022;
одобрена после рецензирования 15.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 25.08.2022;
approved after reviewing 15.09.2022; accepted for publication 27.10.2022

Научная статья
УДК 1(091)
doi: 10.17223/1998863X/69/20

РИЧАРД РОРТИ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В ФИЛОСОФИИ

Виталий Васильевич Оглезнев

*Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск,
Россия;*

*Российский государственный университет правосудия, Санкт-Петербург, Россия,
ogleznev82@mail.ru*

Аннотация. В статье на примере идеи лингвистического поворота Р. Рорти обосновывается тезис, что «топос философа» следует определять не событийно, но через включенность философа в интеллектуальные социальные сети, через его связи и взаимодействия с другими участниками и научным сообществом в целом.

Ключевые слова: лингвистический поворот, аналитическая философия, Рорти

Благодарности: исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 22-28-00126, <https://rscf.ru/project/22-28-00126/>

Для цитирования: Оглезнев В.В. Ричард Рорти и лингвистический поворот в философии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 203–211. doi: 10.17223/1998863X/69/20

Original article

RICHARD RORTY AND A LINGUISTIC TURN IN PHILOSOPHY

Vitaly V. Ogleznev

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation;

*North-Western Branch of the Russian State University of Justice, Saint Petersburg,
Russian Federation, ogleznev82@mail.ru*

Abstract. The idea of Richard Rorty's linguistic turn seems to be a good example to substantiate the point of view that the "philosopher's topos" should be determined not as event-related, but through their involvement in intellectual networks, through their connections and interactions with the scholarly community as a whole. That is, the place of a philosopher should be determined depending on how much their views, ideas, thoughts turned out to be influential, impressive, convincing, which would allow us to judge their "ideological platform", so to speak, *ad hoc*. In this sense, Rorty's linguistic turn may prove to be quite a noteworthy example. Fifty-five years after the publication of Rorty's famous anthology *The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method* (1967), we can confidently say that today there is no doubt that the idea of eliminating confusion and contradictions arising from our use of language has played and continues to play an important role for the philosophy of the 20th and 21st centuries. But what is of concern is that it is possible to successfully designate an entire movement with such a vague concept, firstly, because the term "linguistic turn" implies too many different methods, and, secondly, because many philosophers who consider themselves, for example, to belong to the analytic tradition, are unlikely to agree to consider this idea as a characteristic of their philosophical activity. Perhaps it is more correct to consider the idea of a linguistic turn as an important stage in the

history of (analytic) philosophy, since today the analysis of language is only one of many tools available to modern philosophy. Anyway, the “linguistic turn” in Rorty’s version turned out to be a very fruitful and inspiring idea, and not only for philosophy. What conclusion can be drawn from all this? The “philosopher’s topos” should be considered, as it were, embedded in certain intellectual social networks. And it is this embeddedness that is an important prerequisite for the philosopher’s intellectual success and reputation, and the condition for the recognition of the philosopher is participation, leading them, so to speak, to the “center of the network”. Great thinkers do not appear from scratch, but as a result of the long and collective work of both predecessors and contemporaries. And Rorty’s “fringe analytic philosophy” confirms this very convincingly.

Keywords: linguistic turn, analytic philosophy, Richard Rorty

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 22-28-00126, <https://rscf.ru/project/22-28-00126/>

For citation: Ogleznev, V.V. (2022) Richard Rorty and a linguistic turn in philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 203–211. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/20

Ричарда Рорти можно отнести к числу тех философов, о которых знают многие, но толком мало кто (включая автора данного очерка). Как верно пишет С.А. Смирнов, «казалось бы, Рорти как автор хорошо известен в нашей стране. О нем написаны статьи и книги разных авторов. Но все не так просто» [1. С. 189]. Можно даже сказать, что все совсем непросто. И вот почему.

С.А. Смирнов, пытаясь ответить на вопрос «Кто Вы, господин Рорти?», предпринимает весьма интригующую попытку реконструировать его философские взгляды не только через анализ восхитительной книги О.И. Целищевой «Ричард Рорти: “маргинальный аналитический философ”» [2], но и в контексте написанной о нем русскоязычной литературы, где Рорти предстает «таким разным и неожиданным, что возникает впечатление всеядности и эклектики, странной вменяемости и несистемности» [1. С. 190]. Вернее, это даже не реконструкция, но попытка «на материале книги (О.И. Целищевой. – примеч. В.О.) вычленив, сделать методологическую вытяжку относительно того, что такое поиск философом своего места в истории, в историческом времени, невзирая на то, как внешне для читателя и в конкретной ситуации он себя определял» [Там же]. Но надо признать, что автор этой цитаты преуспел лишь отчасти. Ибо в заключение он приходит к интересному выводу, который в некотором смысле обесценивает проделанную им интеллектуальную работу: «Топос философа события, не географичен, не партиен, не может быть описан принадлежностью к идейному лагерю» [1. С. 201]. Но именно здесь и возникают сомнения. Ведь научные достижения философа лучше объяснять не личной гениальностью и самобытностью, а скорее его включенностью в интеллектуальные сети, его связями и взаимодействием с научным сообществом в целом. Возможно, «топос философа» следует определять не событийно, как предлагает С.А. Смирнов, а в зависимости от того, насколько его взгляды, идеи, размышления оказались влиятельными, действенными, убедительными для других участников «сети», что позволило бы судить о его «идеологической платформе», так сказать, *ad hoc*. Идея «лингвистического поворота» Рорти в этом смысле может оказаться вполне заслуживающим внимания примером.

Сам термин «лингвистический поворот», хотя и был впервые употреблен Г. Бергманом, но обоснован и расширен Рорти в антологии *The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method* (1967), в которой он как редактор собрал труды философов, посвященных лингвистическому повороту, а также дал развернутую критическую оценку этому явлению в аналитической философии в своем обширном предисловии [3]. Здесь Рорти отмечает, что ход мысли, получивший наименование «лингвистического поворота», изменил ракурс рассмотрения философских проблем, которые отныне начинают трактоваться как проблемы употребления языка, задавая тем самым не только тематическое своеобразие данного способа философствования, но и определяя образ действий всей аналитической философии.

Термин «лингвистический поворот» использовался Бергманом задолго до одноименной антологии Рорти, по крайней мере, в статье «Logical Positivism, Language, and the Reconstruction of Metaphysics», опубликованной в 1953 г., где он отстаивает идею реконструкции метафизических вопросов в идеальном языке – идею, лежащую в основании того, что он считал одним из направлений логического позитивизма: «[Логические позитивисты] безоговорочно разделяют общий философский стиль. Все они принимают лингвистический поворот, начатый Витгенштейном в *Трактате*. Конечно, они интерпретируют и развивают его по-разному, отсюда и разногласия; но все же все они находятся под его влиянием, отсюда и общий стиль. Таким образом, если бы название играло бы хоть какую-то роль, возможно, было бы лучше выбрать лингвистическую философию или философию языка» [Ibid. P. 63]. И далее он добавляет, что это ни в коем случае не означает, что язык является главной или же единственной темой их исследований. Отличительной особенностью логических позитивистов, по его мнению, является то, что они «философствуют посредством языка... их главный результат – это метод» [4. P. 63–64]. В *Logic and Reality* Бергман, развивая эту идею, уже утверждает, что «все лингвистические философы говорят о мире, имея в виду язык; это и есть лингвистический поворот, фундаментальный первый шаг, метод, с которым согласны философы идеального и обычного языка» [5. P. 177].

С момента первого издания антологии Рорти «лингвистический поворот» получил самые разнообразные интерпретации и многочисленные трактовки, которые не только не прояснили, что Рорти под ним понимал, но лишь значительно усложнили его анализ. Дж. Сёркис объясняет это так: «Как выражение „лингвистический поворот“ имеет сложную историю, сложность которой в некоторой степени опровергается коротким движением, которое „поворот“ должен описывать» [6. P. 705]. Ю. Хабермас идет дальше и предлагает рассматривать две версии «лингвистического поворота» – аналитическую и герменевтическую. Первая обнаруживается в работах «раннего» Витгенштейна, который не только «ратифицировал лингвистический поворот, инициированный Фреге» [7. P. 425], но еще и совершил, по словам Хабермаса, «прагматический поворот от семантической теории истины к теории значения и от констатирующего факты языка к множеству грамматик языковых игр» [Ibid. P. 429]. Вторая версия обнаруживается в работах Хайдеггера.

Интересную интерпретацию лингвистического поворота предложил К. Дилворт. Его рассуждения в некотором смысле напоминают рассуждения Бергмана: «Чем именно является лингвистический поворот или, говоря мета-

форически, как его правильно совершить, – вопросы спорные. То, что он должен быть совершен, так или иначе, является общей теорией, вытекающей из распространенного убеждения, что язык тесно связан с философией, и связь эта существенно отличается от связи языка с любой другой дисциплиной» [4. Р. 64–65]. Но Дилворт пытается понять, зачем философия «свернула» со своего пути и что этот «поворот» собой представляет. В самом деле, философия, совершив лингвистический поворот, хотела срезать путь или что-то обойти, объехать? И что это был за путь? Какова его цель? Почти как в музыкальной композиции группы «Машина времени»: «Вот новый поворот, и мотор ревет. Что он нам несет – пропасть или взлет, омут или брод. И не разберешь, пока не повернешь». В общем, пока не повернешь, не поймешь, что находится за поворотом и зачем он был нужен. Но в результате подробного историко-философского анализа Дилворт приходит к тривиальному выводу, что «лингвистический поворот – это не короткий путь и не объезд, а просто шоссе нашего времени» [8. Р. 214].

Для Рорти же «лингвистический поворот» – это не просто «дорожный указательный знак». Это *методологический* проект. Лингвистический поворот он рассматривает как прояснение самой философии, того, как она функционирует, – будь то анализ понятий или рассмотрение их практических следствий. «Поворот» не претендует на завершенность или системность. Скорее, он показывает, что мы *делаем*, когда размышляем, аргументируем, вопрошаем. Идею Рорти можно было бы выразить так: «Когда мы занимаемся философским анализом *x*, почему бы нам не обратить внимание на то, как мы говорим о *x*?». К схожим мыслям приходит О.И. Целищева: «Каждый волен делать себе систему, используя, скажем, свой идеальный язык, но при этом данный язык не будет претендовать на *описание* реальности, будучи просто *предложением* способа о том, как говорить о ней» [2. С. 72].

Суть лингвистического поворота сам Рорти определяет следующим образом: «Философские проблемы – это проблемы, которые могут быть разрешены либо через реформирование языка, либо через большее понимание используемого нами языка» [3. Р. 3]. Отсюда становится ясно, что он в отличие от многих аналитически ориентированных философов не относился к «лингвистическому повороту» как разновидности лингвистического идеализма. Для него польза лингвистического поворота состояла не в том, что философские проблемы являются проблемами языка, но что он позволил «переключить» внимание философов с проблемы опыта на вопрос о лингвистическом поведении, что помогло сломать позиции эмпиризма – и, более широко, репрезентативистского подхода» [9. С. 166]. Здесь важно отметить еще и то, что для Рорти, как и для Бергмана, лагерь лингвистических философов неоднороден, поэтому общий термин «лингвистический поворот» подразумевает разные философские методы, которые (от Витгенштейна до Карнапа или от Шлика до Райла) не просто отличаются, но часто оказываются диаметрально противоположными.

К. Купман приводит две причины, почему лингвистический поворот в философии следует рассматривать как *методологический* сдвиг. Во-первых, он преградил путь философскому фундаментализму, наиболее привлекательной версией которого для философов XX в. выступал эмпирический репрезентационализм (традиция от Локка до Айера и Карнапа). И именно лингви-

стический поворот «помог философии найти выход из внутренних противоречий эмпирического репрезентационализма» [10. Р. 69]. Отчасти это произошло потому, что в течение XX в. надежда на то, что язык поддается только философскому, а не натуралистическому анализу, была развеяна как дым. Натурализм, вторгшись на территорию, только что занятую лингвистическими философами, начал быстрое продвижение:

«То, что Густав Бергман назвал [„лингвистическим поворотом“] *die linguistische Wende*, было довольно отчаянной попыткой удержать какое-то свободное пространство для философии. Философы старались отгородить некое пространство априорного знания, куда не смогли бы вторгнуться ни социология, ни история, ни естествознание. Это была попытка найти замену для „трансцендентальной установки“ Канта. Введение „значения“ вместо „сознания“ в качестве темы для философского теоретизирования, как предполагали философы, поможет уберечь чистоту и автономию философии, поскольку обеспечит ее неэмпирическим предметом исследования» [11. С. 121].

Во-вторых, лингвистический поворот позволил философам избавиться от фундаментализма, не впадая в релятивизм [10. Р. 70]. Лингвистический поворот, понимаемый как *методологический* сдвиг в философствовании, а не как *метафизическая* программа, на самом деле удачно согласуется с традиционным философским устремлением объяснить знание как благо. И для Рорти поворот от фундаментализма к лингвистическому натурализму оказался вполне совместимым с идеей, что «философия позволяет объяснить нормативные тиски, в которых мы оказались зажатые нашим использованием языка» [Ibid.].

Таким образом, лингвистический поворот для Рорти имел две явно выраженные направленности: антифундаменталистскую и антирелятивистскую. Первая связана с желанием избавиться от отсылок к эмпирическим данным, а вторая – со стремлением при переходе от фундаментализма к натурализму сохранить нормативность языка [Ibid. Р. 71].

Но Рорти намеревался не просто подтвердить существование лингвистического поворота, а осмыслить его природу [3. Р. 9]. Его антология, как отмечает Хабермас, преследовала двоякую цель: «Подвести итог триумфальному прогрессу и в то же время просигнализировать о его завершении» [12. Р. 345]. Действительно, рассматривая разного рода претензии к лингвистической философии, он задается вопросом, а действительно ли она совершила фундаментальную «революцию»? И не постигнет ли лингвистический поворот та же судьба, что и другие «революции в философии»? [3. Р. 33]. Тщательный анализ трудностей лингвистической философии подводит Рорти к пессимистическому выводу, что попытка лингвистических философов превратить философию в строгую науку может не оправдаться. Так и произошло, пишет О.И. Целищева, вскоре после первого издания его антологии: «Школа лингвистического анализа потеряла свое влияние, а ее тезисы были отвергнуты» [2. С. 74]. К схожему выводу приходит П. Хакер, говоря, что лингвистическая философия, развиваясь через логический эмпиризм Венского кружка и Оксфордскую послевоенную философию, в 1970-х пришла в упадок «отчасти благодаря влиянию американского логического прагматизма (Куайна и Дэвидсона), отчасти благодаря влиянию в Британии Даммита его последователей» [13. Р. 127].

Отношение Рорти к лингвистической философии было, действительно, весьма непростым, а его вовлечение в «мейнстрим аналитической философии» недолгим: «Во-первых, вскоре он стал понимать, что нельзя путать философию анализа обыденного языка со всей аналитической философией... Во-вторых, сам по себе способ разрешения философских проблем через анализ обыденного языка покажется ему тривиальным, и он очень быстро забудет об этой школе» [2. С. 62]. Но так или иначе, «Рорти интерпретирует лингвистический поворот в виде признания двух ролей языка в формулировке философских проблем и их решений: описательной, или дескриптивной – в отношении реальности, и формулировке альтернативных предложений о способах разговора о реальности» [Там же. С. 78]. К схожему выводу приходят Б.Л. Губман и К.В. Ануфриева: «В конечном счете лингвистический поворот оказывается в сочинениях Рорти тем пунктом, который ознаменовал осознание кризиса метафизического теоретизирования и связанных с ним умозрительных конструкций реальности в границах европейской постклассической философии» [9. С. 168–169].

Двадцать пять лет спустя после выхода в свет антологии «Лингвистический поворот» (с 1967 г.) Рорти, размышляя о значении лингвистического поворота в философии, придет к выводу, что оно было отнюдь не метафилософским. Напротив, его значение состояло в том, что он позволил переключиться с обсуждения опыта как средства репрезентации на вопрос о языке как выполняющем эту функцию [14. Р. 373]. Лингвистический поворот ознаменовал, таким образом, фундаментальные изменения в способе философствования. Это был действительно *методологический* сдвиг, имевший далеко идущие последствия. Вот что по этому поводу говорит В.А. Васильев: «Философский анализ языка становится необходимостью для дальнейшего развития научных знаний, социальной коммуникации. Обозначается *лингвистический поворот в философии*, представители которого являлись не только философы, но и математики, логики, лингвисты» [15. С. 174]. И этот список можно продолжить, включив в него, например, правоведов, социологов, политологов и других представителей гуманитарных и социальных наук, ведь «социально-философский потенциал лингвистического поворота проявился в открытии принципиально новых пониманий политико-правовой реальности» [16. С. 73]. И стало это возможным благодаря тому, полагает Н.Н. Равочкин, что «на стыках различных дисциплин актуализируются семантика, социолингвистика, герменевтика, которые бы позволили прояснить (или даже сказать „осовременить“) категориальный аппарат различных наук, для чего требовалось изучение его понятийно-языковых аспектов» [Там же. С. 70].

Пятьдесят пять лет спустя после публикации антологии можно с уверенностью сказать, что сегодня нет никаких сомнений, что идея устранения путаницы и противоречий, возникающих при использовании нами языка, для философии XX и XXI вв. сыграла и продолжает играть важную роль (достаточно взглянуть на материалы дискуссий «Аристотелевского общества» [17]). Но настораживает то, что можно ли таким достаточно туманным понятием удачно обозначить целое движение, во-первых, потому что термин «лингвистический поворот» имплицитно слишком большое количество разнообразных методов, а во-вторых, потому, что многие философы, которые относят себя, например, к аналитической традиции, вряд ли согласятся рассматривать

эту идею в качестве характерной черты их философской деятельности. Возможно, более правильно рассматривать идею лингвистического поворота как важный этап истории (аналитической) философии, поскольку сегодня анализ языка является лишь одним из многих инструментов, доступных современной философии. Ведь, как точно подметил М.В. Лебедев, «аналитическая философия – часть философии, и „лингвистический поворот“ – поворот не *от* философии, не *в сторону* от нее, но *к* ней» [18. С. 272]. Так или иначе, «лингвистический поворот» в версии Рорти оказался очень плодотворной и вдохновляющей идеей, причем не только для философии.

Какой вывод из всего этого можно сделать? «Топос философа» следует рассматривать как бы встроенным в определенные интеллектуальные социальные сети. И именно эта *встроенность* является важной предпосылкой его интеллектуального успеха и репутации, а условием научного признания философа выступает сопричастность, ведущая его, так сказать, к «центру сети» (используя выражение Р. Коллинза [19. С. 151]). Великие мыслители появляются не на пустом месте, но как результат долгой и коллективной работы как предшественников, так и современников. Поэтому «топос философа» – *не событиен, географичен, партиен и может быть описан принадлежностью к идейному лагерю*, в отличие от того, как считает С.А. Смирнов [1. С. 201]. И «маргинальная аналитическая философия» Рорти это весьма убедительно подтверждает.

Список источников

1. Смирнов С.А. Топос философа, или Еще раз о философском самоопределении // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 187–202.
2. Целищева О.И. Ричард Рорти: «маргинальный аналитический философ». М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2021.
3. Rorty R.M. Introduction: Metaphysical Difficulties of Linguistic Philosophy // The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method / ed. Richard Rorty. Chicago : The University of Chicago Press, 1992. P. 1–39.
4. Bergman G. Logical Positivism, Language, and Reconstruction of Metaphysics // The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method / ed. Richard Rorty. Chicago : The University of Chicago Press, 1992. P. 63–71.
5. Bergman G. Logic and Reality. Madison: The University of Wisconsin Press, 1964.
6. Surkis J. When Was the Linguistic Turn? A Genealogy // American Historical Review. 2012. Vol. 117, № 3. P. 700–722.
7. Habermas J. Hermeneutic and Analytic Philosophy. Two Complementary Versions of the Linguistic Turn? // Royal Institute of Philosophy Supplement. 1999. Vol. 44. P. 413–441.
8. Dilworth C. The Linguistic Turn: Shortcut or Detour? // Dialectica. 1992. Vol. 46, № 3/4. P. 201–214.
9. Губман Б.Л., Ануфриева К.В. Лингвистический поворот и история в философии Р. Рорти // Вестник ТвГУ. Серия «Философия». 2017. № 2. С. 165–177.
10. Koopman C. Rorty's Linguistic Turn: Why (Mote Than) Language Matters to Philosophy // Contemporary Pragmatism. 2011. Vol. 8, № 1. P. 61–84.
11. Рорти Р. Витгенштейн, Хайдеггер и гипостазирование языка // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М.: Наука, 1991. С. 121–133.
12. Habermas J. Richard Rorty's Pragmatic Turn // On the Pragmatics of Communication / ed. Maeve Cooke. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998. P. 343–382.
13. Hacker P.M.S. Analytic Philosophy: Beyond the Linguistic Turn and Back Again // The Analytic Turn. Analysis in Early Analytic Philosophy and Phenomenology / ed. Michael Beaney. New York : Routledge, 2007. P. 125–141.
14. Rorty R. Twenty-five Years After // The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method / ed. Richard Rorty. Chicago : The University of Chicago Press, 1992. P. 371–373.

15. Васильев В.А. Лингвистический поворот в философии // Философские науки. Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2017. № 1 (768). С. 172–181.
16. Равочкин Н.Н. Лингвистический поворот: социально-философский потенциал // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2018. № 8. С. 70–74.
17. Аристотелевское общество: 140 лет философских диалогов / ред. А.Б. Дидикин. М. : Издательство Проспект, 2021.
18. Аналитическая философия : учеб. пособие / ред. М.В. Лебедев, А.З. Черняк. М. : Изд-во РУДН, 2008.
19. Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. Новосибирск : Сибирский хронограф, 2002.

References

1. Smirnov, S.A. (2022) Topos filosofa ili eshche raz o filosofskom samoopredelenii [Topos of a Philosopher or Once Again About Philosophical Self-Determination]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 187–202.
2. Tselishcheva, O.I. (2021) *Richard Rorty: "marginal'nyy analiticheskiy filosof"* [Richard Rorty: "Marginal Analytical Philosopher"]. Moscow: Kanon+ ROOI "Reabilitatsiya."
3. Rorty, R.M. (1992a) Introduction: Metaphysical Difficulties of Linguistic Philosophy. In: Rorty, R.M. (ed.) *The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method*. Chicago: The University of Chicago Press. pp. 1–39.
4. Bergman, G. (1992) Logical Positivism, Language, and Reconstruction of Metaphysics. In: Rorty, R.M. (ed.) *The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method*. Chicago: The University of Chicago Press. pp. 63–71.
5. Bergman, G. (1964) *Logic and Reality*. Madison: The University of Wisconsin Press.
6. Surkis, J. (2012) When Was the Linguistic Turn? A Genealogy. *American Historical Review*. 117(3). pp. 700–722.
7. Habermas, J. (1999) Hermeneutic and Analytic Philosophy. Two Complementary Versions of the Linguistic Turn? *Royal Institute of Philosophy Supplement*. 44. pp. 413–441.
8. Dilworth, C. (1992) The Linguistic Turn: Shortcut or Detour? *Dialectica*. 46(3/4). pp. 201–214.
9. Gubman, B.L. & Anufrieva, K.V. (2017) Lingvisticheskiy povorot i istoriya v filosofii R. Rorty [Linguistic turn and history in the philosophy of R. Rorty]. *Vestnik TvGU. Seriya "Filosofiya"*. 2. pp. 165–177.
10. Koopman, C. (2011) Rorty's Linguistic Turn: Why (More Than) Language Matters to Philosophy. *Contemporary Pragmatism*. 8(1). pp. 61–84.
11. Rorty, R. (1991) Vitgenshteyn, Khaydegger i gipostazirovanie yazyka [Wittgenstein, Heidegger and the hypostasis of language]. In: Motroshilova, N.V. (ed.) *Filosofiya Martina Khaydeggera i sovremennost'* [Philosophy of Martin Heidegger and Modernity]. Translated from English by I.V. Borisova. Moscow: Nauka. pp. 121–133.
12. Habermas, J. (1998) Richard Rorty's Pragmatic Turn. In: Cooke, M. (ed.) *On the Pragmatics of Communication*. Cambridge, Mass.: MIT Press. pp. 343–382.
13. Hacker, P.M.S. (2007) Analytic Philosophy: Beyond the Linguistic Turn and Back Again. In: Beaney, M. (ed.) *The Analytic Turn. Analysis in Early Analytic Philosophy and Phenomenology*. New York: Routledge. pp. 125–141.
14. Rorty, R. (1992b) Twenty-five Years After. In: Rorty, R.M. (ed.) *The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method*. Chicago: The University of Chicago Press. pp. 371–373.
15. Vasiliev, V.A. (2017) Lingvisticheskiy povorot v filosofii [A linguistic turn in philosophy]. *Filosofskie nauki. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*. 1(768). pp. 172–181.
16. Ravochkin, N.N. (2018) Lingvisticheskiy povorot: sotsial'no-filosofskiy potentsial [Linguistic turn: socio-philosophical potential]. *In-tellekt. Innovatsii. Investitsii*. 8. pp. 70–74.
17. Didikin, A.B. (ed.) (2021) *Aristotelevskoe obshchestvo: 140 let filosofskikh dialogov* [The Aristotelian Society: 140 years of philosophical dialogues]. Moscow: Izdatel'stvo Prospekt, 2021.
18. Lebedev, M.V. & Chernyak, A.Z. (eds) (2008) *Analiticheskaya filosofiya* [Analytical Philosophy]. Moscow: Peoples' Friendship University.

19. Collins, R. (2002) *Sotsiologiya filosofiy. Global'naya teoriya intellektual'nogo izmeneniya* [Sociology of Philosophies. Global Theory of Intellectual Change]. Translated from English. Novosibirsk: Sibirskiy khronograf.

Сведения об авторе:

Оглезнев В.В. – доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории философии и логики философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия); профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: ogleznev82@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Ogleznev V.V. – Dr. Sci. (Philosophy), Docent, professor of the Department of the History of Philosophy and Logic, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation); professor of the Department of Humanitarian and Socio-Economic Disciplines of the North-Western Branch of the Russian State University of Justice (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: ogleznev82@mail.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 25.08.2022;
одобрена после рецензирования 15.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 25.08.2022;
approved after reviewing 15.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

Научная статья

УДК 1 (091)

doi: 10.17223/1998863X/69/21

«РАЗГОВОР ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» РИЧАРДА РОРТИ: ПЕРЕОПИСАНИЕ ФИЛОСОФИИ И НЕКОТОРЫЕ КОНТЕКСТЫ

Кирилл Александрович Родин

Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия, rodin.kir@gmail.com

Аннотация. Статья продолжает инициированное книгой О.И. Целищевой «Ричард Рорти: маргинальный аналитический философ» и статьей-рецензией на книгу С.А. Смирнова обсуждение понимания Ричардом Рорти предмета и задач философии. Существенное внимание отводится предложенному Рорти переописанию философии как «разговора человечества». Предлагаются различные возможные контексты понимания метафоры «разговор человечества» с опорой на работу Рорти «Случайность, история и солидарность». В частности затрагиваются вероятные для политической теории следствия из переописания философии как «разговора человечества» и своеобразное понимание Рорти либерального проекта.

Ключевые слова: Рорти, разговор человечества, метафора, контингентность, метафизика, либерализм, солидарность, частное и публичное

Благодарности: работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Проект № 18-78-10082П.

Для цитирования: Родин К.А. «Разговор человечества» Ричарда Рорти: переописание философии и некоторые контексты // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 212–220. doi: 10.17223/1998863X/69/21

Original article

RICHARD RORTY ON THE CONVERSATION OF HUMANKIND: REWRITING OF PHILOSOPHY AND MAJOR CONTEXTS

Kirill A. Rodin

*Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russian Federation, rodin.kir@gmail.com*

Abstract. The book *Richard Rorty: A 'fringe analytic philosopher'* by Oxana Tselishcheva and the article reviewing this book by Sergey Smirnov propose a discussion of Richard Rorty's understanding of the subject and tasks of philosophy. This article continues the discussion. The author pays significant attention to Rorty's re-description of philosophy as the "conversation of humankind" and proposes various possible contexts for understanding the metaphor "conversation of humankind" based on Rorty's *Contingency, Irony, and Solidarity*. Also, the author touches upon the possible consequences for political theory from the re-description of philosophy as a "conversation of humankind" and from Rorty's peculiar understanding of the liberal project.

Keywords: Rorty, conversation of humanity, metaphor, contingency, metaphysics, liberalism, solidarity, private and public

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-78-10082P.

For citation: Rodin, K.A. (2022) Richard Rorty on the conversation of humankind: Rewriting of philosophy and major contexts. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 212–220. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/21

Я с благодарностью принял приглашение участвовать в дискуссии по поводу выхода книги Оксаны Ивановны Целищевой «Ричард Рорти: маргинальный аналитический философ» [1]. Общим поводом к дискуссии обозначилась статья-рецензия на книгу Оксаны Ивановны Сергей Алевтиновича Смирнова [2]. В ответной краткой реплике я ограничился рассмотрением переопределения (или переописания) Рорти философии как «разговора человечества». В книге Оксаны Ивановны (по существу – полноценной интеллектуальной биографии Ричарда Рорти) в центре внимания находится история отношений Рорти с аналитической философией. Рассматривается и разносторонний интерес Рорти к маргинальным периферийным (в понимании Рорти) философам континентальной традиции. Метафора «разговор человечества» (известная по заключительным разделам третьей части книги Рорти «Философия и зеркало природы» [3]) упоминается несколько раз и в разных контекстах и вполне содержательно узнаваема почти для любого читателя книг и статей «маргинального аналитического философа». Однако обращение с метафорой в статье-рецензии Сергей Алевтиновича мне показалось странным. Поэтому в ответной реплике я бы хотел кратко обозначить возможные контексты для «разговора человечества» и в конце вернуться к предложенной дискуссии и к ответу на статью-рецензию. Я почти полностью ограничил рассмотрение метафоры «разговор человечества» книгой Оксаны Ивановны и книгой Ричарда Рорти «Случайность, ирония и солидарность» [4].

Решению отдельных философских проблем в рамках отдельного философского словаря Рорти предпочитает несводимое многообразие словарей. Традиционные философские проблемы-головоломки и дихотомии превращаются в исторически случайные примеры ограниченности принятого словаря (вместе с устоявшимся отношением к миру и человеку) и не требуют обязательного разрешения. Понятия сущности, природы, истины, реальности, универсальных оснований, априори, его, внеисторических структур, человеческого разума оборачиваются не более чем закрепленными и необязательными метафорами западноевропейской метафизики или отдельных диалектов языка западноевропейской метафизики (диалектов Платона, Декарта, Канта, лингвистической философии или структурализма). Рорти видит союзников в маргинальных (по отношению к принятому философскому словарю) философях Киркегоре, Хайдеггера, Витгенштейне, Деррида. Прагматизм выступает дополнительным гарантом контингентности (исторической случайности) распространенных философских словарей. Провозглашение маргиналов от философии наиболее интересными и важными фигурами переопределяет философию и приводит к **постфилософии**: решение традиционных проблем-головоломок в любой форме и любыми средствами (пусть проблемы ставятся на протяжении тысячелетий) не может ограничивать поле философии. Задачей философии провозглашается поддержание некоего «разговора человечества».

Метафора «разговор человечества» никак не проще понятия сущности Аристотеля или онтологической разницы Хайдеггера. Попробуем обозначить содержание метафоры через параллели с другими темами Рорти.

Сперва обратимся к монографии О.И. Целищевой «Ричард Рорти: маргинальный аналитический философ». «Разговор человечества» фигурирует в книге в нескольких контекстах:

1. Философия **как реакция** на систематические поиски ответов на философские вопросы.

Неудовлетворенный традиционными философскими проблемами и традиционным философским поиском (в аналитической философии поиск превращается в аргументативную дисциплину), Рорти скептически относится к возможностям аргументации и «склоняется к большей важности... просто разговора» [1. С. 72] (далее ссылки на указанную работу О.И. Целищевой приводятся в круглых скобках только с указанием страницы). Обозначается движение Рорти к переопределению задач и понимания роли философии по сравнению с аналитической философской традицией.

2. Кибицирование. Оксана Ивановна замечает «гротескные формы» «разговора человечества».

Разговор человечества как кибицирование: «...свободный разговор после трудовых будней сельскохозяйственных работ в израильских сельских коммунах» (101).

3. Поэзия как источник разговора. Со ссылкой на Раймонда Гойса Оксана Ивановна приводит занятный факт. Внимание к разговору Рорти унаследовал отчасти от Гадамера и герменевтики. Отмечается внимание Рорти к важному для Гадамера поэту Гёльдерлину и цитируется гимн Гёльдерлина «Праздник друзей» (гимн содержит строчку «...с тех пор как мы стали разговором») (см. подробнее: 108 и далее). В «мы» и в «разговоре друзей» кроме разговора можно заметить и важную для Рорти солидарность. В поэзии и литературе (особенно в романе) Рорти видит куда большую в сравнении с чистой философией перспективу «разговора человечества».

4. Контингентность. Разговор носит принципиально контингентный характер. Рорти настаивает на контингентном характере философских исследований и контингентности философских проблем (127 и 145).

5. В описании философии как разговора человечества говорит и прагматизм Рорти: ведь «разговор» может считаться определенной формой действия...» (109). В разговор человечества вступает не только и преимущественно не философия. Отчасти поэтому философия (вслед за Дьюи) распространяется «на образование, эстетику и политическую культуру» (294).

Приведенные контексты не исчерпывают метафоры «разговора человечества».

Постараемся дать более развернутое описание на примере работы «Случайность, ирония и солидарность».

Рорти вводит и на протяжении книги поддерживает различие и несводимость частного и публичного. Частное характеризуется множеством индивидуальных стремлений к самосозиданию (созданию более-менее автономного словаря). Публичное же ставит вопрос желаемой общей жизни (включая справедливость) и солидарности. «...на уровне теории невозможно связать воедино самосозидание и справедливость. Словарь самосозидания приватен... не подходит для дискуссии. Словарь справедливости обязательно публичен» [4. С. 18–19] (далее ссылки на указанную работу Рорти приводятся в круглых скобках только с указанием страницы). Сохранение автономии част-

ной жизни и частного словаря самосозидания (в качестве примеров Рорти приводит «словари» романистов и маргинальных периферийных философов) возможно только через принятие несводимости частного к публичному. Напротив: обычно философия оставляет место частному лишь в пространстве общего (помещая людей под теоретическими схемами-конструкциями универсального человеческого разума или общевыгодного стремления к благу и справедливости). «...метафизические или теологические попытки объединить стремление к совершенству с чувством общности требуют... познания общей человеческой природы» (17). Рорти последовательно возражает против подобных конструкций. Пространство общности создается не открытием общей человеческой природы или изучением универсальных законов человеческого разума. «Солидарность достижима... через воображение, через мысленную способность видеть в чуждых нам людях товарищей по несчастью. Солидарность создается» (20). Рорти защищает не отдельную форму солидарности (основанную на каких-либо метафизических принципах) – но солидарность как историческую желаемую случайность. Вероятный конфликт частного и публичного разрешается пониманием либерализма как чуткого внимания и желания избежать страданий и унижения другого человека.

Итак. Рорти последовательно настаивает на несоизмеримости и равноценности «требований самосозидания и человеческой солидарности».

Невозможность разговора человечества вне признания равноправия частных словарей самосозидания и вне отказа от перспективы сведения частного к общему кажется интуитивно понятной. Признание несоизмеримости частного и публичного становится необходимым условием (исторически случайного) разговора. В противном случае разговор должен вытекать из каких-либо необходимых общих принципов и в итоге оказаться продиктованным (хотя бы в части поиска общего) универсально-метафизическими предпосылками вроде кантовского разума или платоновской идеи блага. Поэтому последовательная демонстрация Рорти несоизмеримости философских словарей и отсутствия единой универсальной почвы для многочисленных философских течений и исследовательских программ и манифестов (в каждом случае требуется серьезная интеллектуальная работа) включено в понимание философии как «разговора человечества». Именно философия должна подвергнуться такому радикальному переопределению: философия (не литература и не поэзия) всегда претендовала на открытие универсальных принципов мышления, научного познания или культурной коммуникации. Отсюда и грандиозный масштаб работы Ричарда Рорти.

При чтении разбираемой книги Рорти можно встретить довольно много близких и наводящих на метафору «разговора человечества» контекстов.

1. Претензия на аргументативный статус философской речи связана с представлением об обосновании и доказательстве универсальных положений (в частности, относительно человеческой природы). Рорти, напротив, показывает ключевую роль разнообразия: «...главным инструментом культурного изменения является скорее талант к разнообразной речи» (неспособность к аргументации). В пример приводятся политические утописты времен Французской революции. Утописты смогли «почувствовать»: проблема не в подавлении «неизменной, под-лежащей человеческой природы... «нестественными» или «иррациональными» социальными институтами». Новое

зарождающееся понимание реальности наталкивало на другое представление: «...изменение языков и других социальных практик может производить не существовавших до сих пор людей» (27). Исторически случайные способы говорения и описания имеют ценность в качестве пространств новых социальных, культурных, философских, политических изобретений и не сводятся к аргументации или обоснованию.

2. Предпочтение таланта к разнообразной речи аргументативному дискурсу приводит (или требует демонстрации) к признанию случайного характера существующих словарей и к признанию ключевой роли метафоры (не понятия). Метафора как одна из ключевых составляющих человеческого воображения позволяет создавать новые языки и может вести к созидательному «самопереописанию». «Взгляд на историю языка и, таким образом, на историю искусства, науки и нравственного чувства как на историю метафоры означает разрыв с представлением о человеческом сознании или с представлением о языках, которые все более и более приходят в соответствие с целями, предначертанными им Богом и Природой». Понятие претендует на универсальность. Метафора – случайна. «Наш язык и наша культура являются в той же степени случайностью, в какой является возникновение, например, орхидей или антропоидов в результате тысяч небольших мутаций» (38). Метафора и язык (если отводить метафоре ключевую роль) не могут быть истинными или ложными. Истины производятся внутри предложений внутри определенного словаря. А любые словари – случайный набор случайных метафор (оказавшихся полезными орудиями в смысле витгенштейновского понимания словаря как орудия) (см. подробнее: 44). Таким образом, «разговор человечества» разворачивается на фоне противостояния, вытеснения, поглощения, взаимообогащения разнообразных словарей (основанных на когда-то изобретенных новых метафорах).

3. Коммуникация включает для Рорти способность выучить новый язык и разговаривать на ранее чужом языке. Рорти связывает отсутствие страданий и свободу от тяжелого труда с возможностью освоения новых языков: «человеческая жизнь... не настолько занята тяжелым трудом, чтобы не иметь досуга для производства самоописания» и освоения новых языков (62). В результате свободной коммуникации способен расширяться смысл возможного и важного (расширение «границы возможного» (179) (здесь можно вспомнить и кибицирование). Рорти постоянно обращается к словарям романистов, поэтов и периферийных маргинальных философов с целью показать важную роль частного (иногда идиосинкразического) языка в развитии публичного поля коммуникации: «поэтический, художественный, научный или политический прогресс оказывается результатом случайного совпадения частной навязчивой идеи с общественной потребностью» (64). Именно частные словари вырабатывают новые и потенциально публично полезные и востребованные способы переописания. Внимание Рорти к поэзии или к периферийным философским словарям мотивированы защитой необходимости и потенциальной общественной полезности существования и поддержания свободы исторически случайных способов говорения и описания мира. Иначе невозможно было бы верить в перспективу «разговора человечества» (в понимании Рорти).

4. Другой контекст «разговора человечества» связан с определенным пониманием либерализма и солидарности. «Самое худшее – быть жестоким».

Быть либералом – значит разделять приведенное убеждение (19). «Неспособность терпимо относиться к реальности страдания» и «преувеличенное чувство жалости» Рорти связывает с принятием исторической случайности и конечности человеческих словарей (198). Благодаря принятию исторической случайности и конечности словарей мы (возможно) не окажемся ограничены «собственным конечным словарем, когда столкнемся с возможностью унижения кого-то с совершенно иным конечным словарем». Тогда единственное основание публичности кроется в «нашей общей способности страдать от унижения». Соответственно, «человеческая солидарность – это не вопрос всеми разделяемой истины... но вопрос разделяемой всеми эгоистической надежды, надежды на то, что мир – маленькие вещи вокруг, которые погрузили нас в свой конечный словарь – не будет разрушен» (см.: 126 и далее).

Разговор открывает и увеличивает возможность человеческой солидарности.

Книга Рорти во многом построена на поэтических и литературных примерах. В III разделе «Жестокость и солидарность» Рорти, в частности, обращается к романам и автобиографии Владимира Набокова. Для Рорти важно следующее: Набоков «в послесловии к «Лолите» отождествил искусство с соприсутствием четырех элементов: «любопытности, нежности, доброты и восторга». И еще: «единственной вещью, которая могла повергнуть Набокова, был страх, что он был или является жестоким (см. подробнее: 200–202). Набоков создает нескольких жестоких и невнимательных персонажей в рамках своего рода литературного исследования границ жестокости. Для Рорти важна связь между отсутствием любопытности и отсутствием нежности. Недостаток любопытности понимается как угроза способности воспринимать чужие словари и потенциальное отсутствие внимания к страданиям другого человека. Прочтение Рорти кажется очень верным. Для примера вспомним отношение Набокова к Чехову. В «Лекциях по русской литературе» Набоков говорит: «Вместо того чтобы сделать из персонажа средство для поучения и добиваться того, что Горькому и любому советскому писателю показалось бы общественной правдой, т.е. выставить его образцом добродетелей (как в пошлом буржуазном рассказе, где герой не может быть плохим человеком, если он любит мать или собаку)... Чехов изображает живого человека, не заботясь о политической назидательности и литературных традициях» [5. С. 351]. Невнимание к политической назидательности или литературным традициям (подавляющим универсальным пошлым словарям) становится условием внимания к живому человеку.

5. Как следствие можно сформулировать альтернативу борьбы за власть (или насаждение власти и подавление свободы) и признания (и принятия) несводимых разнообразных словарей на фоне желания уменьшить страдания и унижения человека.

В итоге Рорти затрагивает сферу политической теории и меняет наше понимание либеральной демократии. Приведем обширную цитату из программной статьи Шанталь Муфф «Витгенштейн, политическая теория и демократия». Муфф пишет [6. С. 156–157]:

Ричард Рорти, предложивший «неопрагматистское» прочтение Витгенштейна, в споре с Апелем и Хабермасом утверждал, что из философии языка невозможно вывести универалистскую моральную философию. С его точки

зрения, в природе языка нет ничего, что могло бы служить основой доказательства превосходства либеральной демократии для всех возможных аудиторий. Он утверждает, что «нам придется отказаться от безнадежной задачи отыскания политически нейтральных посылок, посылок, которые могут быть доказаны любому, из которых выводится обязательность следования демократической политике». Он полагает, что бесполезно рассматривать демократические достижения, как если бы они были связаны с успехами в рациональности, и что нам нужно перестать считать институты либеральных западных обществ решением, которое другие народы обязательно примут, когда они перестанут быть «иррациональными» и станут «современными».

...

Витгенштейнианский подход Рорти весьма полезен для критики притязаний кантиански настроенных философов вроде Хабермаса, которые стремятся отыскать точку зрения, стоящую над политикой, откуда можно было бы гарантировать превосходство либеральной демократии.

Понимание Рорти исторической роли либерализма требует отказа от универсальных принципов и предполагает несоизмеримость и контингентность социальных и политических словарей. Рорти утверждает: «претензия, характерная для либералов... не основана ни на чем... кроме исторических случайностей» (243).

Мы перечислили далеко не все возможные контексты к метафоре «разговора человечества». Однако из приведенных примеров кажется понятным сложность предложенного Рорти переопределения философии.

Вернемся к статье С.А. Смирнова.

«Разговор человечества» часто редуцируется автором до безответственного и бессодержательного просто-разговора. Высказывается странное опасение: «Рорти поступает как типичный журналист: в погоне за провокационной фразой он готов забыть и про содержание». А в отсутствие содержания «разговор редуцируется к сочинению эффектных литературных провокаций». В сторону Рорти сказано и совсем странное: «онтологическую тяжбу заменил на бесконечный разговор. ...вместо философии – интеллектуальные рассуждения в стиле парижских кафе». Одновременно разговору предлагаются (или обозначаются в качестве необходимого философского содержания разговора) как минимум две альтернативы: «вместо тяжбы о бытии – разговор. Вместо философии как строгой мысли – литературное эссе. Вместо философии как ответственного мыследействия – интеллектуальные словопрения» (см. соответственно: [2. С. 197–199]. Метафора «тяжбы о бытии» заставляет вспомнить соответствующий сборник статей А.В. Ахутина [7]. И, наверное, вполне возможно допустить противопоставление «онтологической тяжбы» или даже методологическое «ответственное мыследействие» «разговору человечества» (но противопоставление в статье не развернуто).

Однако больше всего удивляет невероятное сравнение Рорти с «интеллектуальными рассуждениями в стиле парижских кафе» и с «эффектными литературными провокациями» («сплошные провокативные выходки интеллектуала-перебежчика» [2. С. 197]). Есть и такое сравнение: «философ становится таким капитаном корабля без руля и без ветрил... Этаким интеллектуальный бомж, без дома, без семьи, без детей и внуков, т.е. без традиций, без устоев, не могущий никак бросить якорь в родной гавани» [Там же. С. 197–198].

Сергей Алевтинович постоянно возвращается к бессодержательности разговора Рорти («Приведенные выше характеристики «другой философии» Рорти выглядят именно как не имеющая своего содержания вывеска» (см. подробнее: [2. С. 198–199])) и будто бы не различает отсутствие содержания и открытость к неожиданным и небывалым новым содержаниям. Из основной части моей ответной реплики (где подробно разбирается работа «Случайность, ирония и солидарность») мне кажется очевидной нерелевантность подобных сравнений и оценок.

Против контингентности «разговора человечества» естественно предложить какие-то универсальные конструкции. И неприятие «разговора человечества» (в понимании Рорти) должно естественно приводить к какому-то унифицированному (пусть и не поддающемуся библиотечной каталогизации) предмету или содержанию философии. Для Рорти ничто «не открывает природы пред-данного сущего по имени «философия» или «истина» (42). Напротив: С.А. Смирнов предлагает «ключевой критерий философии (философия как мысль о бытии человека...)» (см.: [2. С. 197]). Так продолжается намеченный Рорти конфликт между контингентностью и поиском универсальных ответов (или универсальных путей-топосов мысли). Однако при упоминании «бытия человека» невольно вспоминаются слова Хайдеггера из «Письма о гуманизме»: «Мысль, если сказать просто, есть мышление бытия» [8. С. 194]. Можно задать риторический вопрос: думал ли Хайдеггер о бытии (и об исключительной открытости просвета бытия человеку как экзистирующему и выступающему в ничто сущему) или о бытии **человека**... Однако в рамках темы «разговора человечества» интересно другое: понимание Хайдеггером философии расходится с пониманием философии Рорти – но и не согласуется (так мне кажется) с «ключевым критерием философии» С.А. Смирнова.

Список источников

1. Целищева О.И. Ричард Рорти: «маргинальный аналитический философ». М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021.
2. Смирнов С.А. Топос философа, или Еще раз о философском самоопределении // Вестник ТГУ. Философия. Политология. Социология. 2022. № 69. С. 187–202.
3. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1997.
4. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. М.: Русское феноменологическое общество, 1996.
5. Набоков Владимир. Лекции по русской литературе. СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010.
6. Муфф Ш. Витгенштейн, политическая теория и демократия // Логос. 2003. № 4–5 (39). С. 153–165.
7. Ахутин А.В. Тяжба о бытии. М.: Русское феноменологическое общество, 1996.
8. Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1993.

References

1. Tselishcheva, O.I. (2021) *Richard Rorty: "marginal'nyy analiticheskii filosof"* [Richard Rorty: "Marginal Analytical Philosopher"]. Moscow: Kanon+ ROOI "Reabilitatsiya."
2. Smirnov, S.A. (2022) *Topos filosofa ili eshche raz o filosofskom samoopredelenii* [Topos of a Philosopher or Once Again About Philosophical Self-Determination]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 187–202.
3. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and Mirror of Nature]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Novosibirsk: Novosibirsk State University.

4. Rorty, R. (1996) *Sluchaynost', ironiya i solidarnost'* [Contingency, Irony, and Solidarity]. Translated from English. Moscow: Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo.
5. Nabokov, V. (2010) *Leksii po russkoy literature* [Lectures on Russian Literature]. St. Petersburg: Azbuka-klassika.
6. Mouffe, Ch. (2003) *Vitgenshteyn, politicheskaya teoriya i demokratiya* [Wittgenstein, political theory and democracy]. *Logos*. 4-5(39). pp. 153–165.
7. Akhutin, A.B. (1996) *Tyazhba o bytii* [Lawsuit of Being] Moscow: Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo.
8. Heidegger, M. (1993) *Vremya i bytie: stat'i i vystupleniya* [Time and Being: articles and speeches]. Translated from German. Moscow: Respublika.

Сведения об авторе:

Родин К.А. – кандидат философских наук, старший научный сотрудник, отдел философии Института философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия). E-mail: rodin.kir@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Rodin K.A. – Cand. Sci. (Philosophy), senior research fellow, Department of Philosophy, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: rodin.kir@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 15.08.2022;
одобрена после рецензирования 10.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 15.08.2022;
approved after reviewing 10.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

Научная статья
УДК 1(091)
doi: 10.17223/1998863X/69/22

РИЧАРД РОРТИ: НОМАД ИЛИ ИРОНИК?

Валерий Александрович Суровцев¹, Елена Васильевна Агафонова²

^{1,2} *Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Томск, Россия*

¹ *surovtsev1964@mail.ru*

² *agaton1810@gmail.com*

Аннотация. Статья представляет собой реплику на исследование С.А. Смирнова о философском самоопределении и самоидентификации Р. Рорти. Вслед за данной точкой зрения в статье проводится попытка определить позицию Р. Рорти в диапазоне «номад – ироник».

Ключевые слова: Ричард Рорти, ирония, самоопределение, идентичность, неопрагматизм

Благодарности: работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Проект №18-78-10082П.

Для цитирования: Суровцев В.А., Агафонова Е.В. Ричард Рорти: номад или ироник? // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 221–226. doi: 10.17223/1998863X/69/22

Original article

RICHARD RORTY: A NOMAD OR AN IRONIST?

Valery A. Surovtsev¹, Elena V. Agafonova²

^{1,2} *National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation*

¹ *surovtsev1964@mail.ru*,

² *agaton1810@gmail.com*

Abstract. The article is a response to Sergey Smirnov's study of Richard Rorty's philosophical self-definition and self-identification. Following this point of view, the article attempts to define Rorty's position in the "Nomad – Ironist" range. Rorty, who began his philosophical activity as an adherent of analytic philosophy, later became an adherent of continental philosophy in the person of its various representatives. In addition, Rorty frequently changed his position on the same problems. "Tag" philosophy, based on external opinion or self-identification, serves an important function, simplifying the ways in which certain philosophical views are considered. But, first of all, it is necessary to identify the philosopher as a philosopher. We can argue as much as we like about who is closer to the truth, continental or analytic philosophers, but we primarily identify them as philosophers. Different philosophical positions offer different solutions, forms, and methods of discussing philosophical questions. The differences here are undoubtedly enormous. But the unity of philosophical knowledge is not set by the uniformity of solutions, which may be infinitely many, but by the unity of the questions belonging to the field of philosophy.

Keywords: Richard Rorty, irony, self-determination, identity, neopragmatism

Acknowledgments: The study is supported by the Russian Science Foundation, Project No. 18-78-10082P.

For citation: Surovtsev, V.A. & Agafonova, E.V. (2022) Richard Rorty: a nomad or an ironist?. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 221–226. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/22

Иногда мои критики с обеих сторон политического спектра утверждают, что мои взгляды такая дичь, что скорее всего это не более чем флиртующая игра. Они подозревают, что я скажу все что угодно, лишь бы раскрыть рот, – что я всего лишь развлекаюсь, противореча всем вокруг. Это обидно.

P. Rorty

Идущий ниже текст представляет собой реплику на статью С.А. Смирнова «Топос философа, или Еще раз о философском самоопределении», представленную в данном журнале [2. С. 187–202]. Основная тема статьи – идентификация философа, обычно внешняя, поскольку «мы привыкли идентифицировать философов, относя их к той или иной научной школе, направлению, традиции, стране, языку», но иногда и внутренняя, основанная на том «как сам философ себя называет» [Там же. С. 188]. И это понятно, так как подобного рода подход упрощает классификацию крайне разнообразных взглядов. Подобного рода «бирочный» подход в целом главенствует, хотя и использует разные основания, по возможности избегая явных ошибок классификации. Хотя, конечно, бывают и курьезные случаи, когда предпринимаются попытки синхронического рассмотрения мировой философии.

Но проблема совсем не в «бирочном» подходе, который в целом выполняет свою задачу, в определенной мере упорядочивая достаточно хаотичное нагромождение идей и взглядов. Проблема, как считает С. Смирнов, более тонкая, и связана она с процессом самоидентификации «автора, ищущего свое место» [Там же. С. 189]. Отсюда и цель статьи – рассмотреть такой процесс. Цель хорошая и пример достойный: Ричард Рорти, который за свою карьеру каких только взглядов на себя не примерял и каким только образом не классифицировался. Р. Рорти, начав свою философскую деятельность как приверженец аналитической философии, впоследствии стал приверженцем философии континентальной в лице различных ее представителей. Кроме того, Рорти часто менял свою позицию по поводу одних и тех же проблем, выступая то приверженцем М. Хайдеггера, то Ж. Деррида и т.д.

С точки зрения С. Смирнова, такого рода колебания Р. Рорти от одной позиции к другой, однако, вовсе не свидетельствуют о его всеядности или эклектичности. Скорее наоборот, это свидетельствует о целостности его натуры, поскольку он не стремится дать какое-то одно решение возникшей проблемы, но примеряет на себя разные способы решения, предлагаемые разными философскими подходами, не считая ни одно из них окончательным. В этом отношении Р. Рорти предстает для С. Смирнова как своего рода философский номад, неприкаянный кочевник, который не может пристать ни к одному философскому течению, но постоянно пребывающий в поисках самоидентификации.

Такой подход представляется крайне интересным, но, разумеется, не является единственным. Почему бы, например, не представить Р. Рорти не как номада, кочующего в поисках собственного Я, но как своего рода ироника, сознательно занявшего метапозицию и демонстрирующего, что одна и та же проблема решается в рамках разных направлений, только с использованием другого словаря и других концептуальных схем?

Сам Рорти всеми силами старался избегать философских схем, вынуждающих делать выбор между «приватным и публичным», «рациональным и иррациональным», универсальной моралью и благоразумием, правыми и левыми, причиной и основанием, «убеждениями по поводу факта» и «убеждениями по поводу ценностей», «верой в Бога» и «верой в Дарвина». Лавирование «между» ни в коем случае не означает для него и поиск нового основания, где они могли бы быть объединены. «...Я говорю о том, что пытаюсь представить, на что будет похожа интеллектуальная жизнь, если мы прекратим пытаться объединить свою борьбу за личное совершенство – нашу потребность, как формулирует ее Ницше, „стать тем, кем мы есть“ – с нашими обязательствами перед другими» [3. С. 9]. Вслед за Дж. Дьюи и У. Джеймсом он настаивает, что мы вполне способны иметь столько же наборов убеждений, сколько имеем целей. То есть, скорее, он выступает против словаря, который требует неопременного отнесения к какой-либо из сторон оппозиции. Это, с точки зрения Рорти, есть словарь классической метафизики, и этот словарь устарел. Он не отвечает запросам современности, язык прошлого здесь приходит в конфликт с потребностями будущего. Скорее, для философии сегодня нет нужды выбирать: или ей оставаться научной, или вовсе лишиться оснований для своего существования. Философ полезен в решении определенных проблем, возникающих в определенных ситуациях, а не для «приумножения нерушимых истин».

Но при этом неверно было бы утверждать и некий релятивистский характер высказываний Рорти, если под этим понимается допустимость любого морального (или политического) взгляда. Рорти имел вполне определенную позицию касательно религии, морали, политики, истины. Но при этом корень разногласий различных сфер он видел в несопоставимости словарей, которыми они оперируют. Даже внутри философии мы сталкиваемся с такой несопоставимостью. Так, мы видим аргументированность высказываний одной и другой группы и даже можем признать их истинность, хотя очевидно, что они противоречат друг другу. «...не существует нейтральной общей почвы, основываясь на которой, опытный нацистский философ и я смогли бы обсуждать наши различия. И этот нацист, и я, мы будем сталкиваться друг с другом по любому важному вопросу, все время аргументируя по кругу» [1]. В отношении морали Рорти явно не был релятивистом, но оставался прагматиком-дьюианцем (как он сам себя называл), которому достаточно истории и антропологии в размывании границы между категоричностью морали и благоразумием. Он избегал поиска объективных оснований морали, полагая, что под этим мы просто имеем в виду достижение такого intersubjectивного согласия, которое готовы переварить. А если переварить не можем, то отбрасываем и называем неприемлемым.

Позиция ироника, которую избирает Рорти, явно избегает принадлежности к какому-то определенному течению, но не исключает вообще способно-

сти занимать позицию. Хотя она и не удовлетворяла, как пишет Рорти, ни ортодоксов, ни постмодернистов, ни правых, ни левых.

Кажется, господина Смирнова слегка расстраивает роль, которую избирает Рорти, роль посредника в бесконечном Разговоре – ироничном, провокационном, афористичном. Сама философия становится тогда литературной критикой, ведущей Разговор в жанре эссе. Господин Смирнов пишет: «Литератор должен быть точен в языке, он должен думать о стиле, о форме высказывания. Писатель или поэт, художник слова, думает о качестве авторского слова, авторского высказывания. А философ должен думать о точности мысли» [2. С. 197]. А Рорти утрачивает эту способность, и «в погоне за провокационной фразой он готов забыть и про содержание». Но разве отказ от научной фактичности отрицает точности и аргументированности философского высказывания? Более того, Рорти видит роль философа не просто в описании реальности, но в способности менять эту реальность, изменяя лексику, составляя новый «словарь». «В свободных обществах всегда будет потребность в их деятельности, ибо эти общества никогда не перестанут изменяться, а значит, всегда нужно будет заменять устаревшую лексику новой» [4].

Нежелание Рорти выбирать между философией и литературой не отнимает у философии ровным счетом ничего (может только добавит работы чиновникам от образования, как пишет сам Рорти). Возможно, утрачивается необходимость искать некое бытие за пределами действительности, но зато появляется шанс следовать за этой действительностью. И роль посредника в сферах этой действительности – задача довольно непростая и даже опасная. Отсюда и ироническая позиция, избегающая необходимости выдавать «готовый продукт». «Философия становится интерпретативной посредницей между различными областями культуры, пытаясь предотвратить трения между учеными, священниками и политиками» [5. С. 126]. Да, возможно, философия в изложении Рорти становится литературной критикой, но эта критика явно обращена на действительность: политическую, религиозную, научную. И роль философа, создающего новую картину реальности в попытках соотнести «словари» различных репрезентаций, гораздо более ответственна, чем может показаться. «Таким образом, философия как дисциплина рассматривает себя как попытку подорвать или развенчать притязания на знание со стороны науки, искусства или религии. ...Философия может рассматриваться в качестве оснований остальной культуры по той причине, что культура – это совокупность притязаний на знание, и философия выносит приговор по их поводу» [6. С. 3].

Ирония в том, что философ сегодня (в лице того же Рорти) отказывается от построения метафизической схемы или от выведения неких законов бытия вместе с определением сущности человека. Его задача более сложная – предложить человеку самому поразмыслить над этой реальностью. «Мы можем, основываясь на наших знаниях о результатах подобных экспериментов прошлого, предложить свой прогноз относительно того, что произойдет, если попытаться объединить или, наоборот, разъединить какие-либо идеи. Таким образом, мы можем помочь человеку провести время в раздумьях» [1].

«Бирочная» философия, основанная на внешнем мнении или самоидентификации, выполняет важную функцию, упрощая методы рассмотрения тех или иных философских взглядов. Но ведь прежде необходима идентифика-

ции философа как философа. Можно сколь угодно спорить о том, кто ближе к истине, континентальные или аналитические философы, но ведь прежде всего мы относим их к философам. Различные философские позиции предлагают разные решения, формы и методы обсуждения философских вопросов. Разница здесь, безусловно, огромна. Но единство философского знания задается не однообразием решений, которых может быть бесконечно много, но единством вопросов, относимых к области философии. И здесь можно, конечно, кочевать от одного решения к другому. Но можно занять и ироническую позицию, показывая, что в общем-то на одинаковые вопросы при соответствующем переописании словаря даются столь же одинаковые ответы.

Список источников

1. Рорти Р. Троцкий и дикие орхидеи // Неприкосновенный запас. 2001. № 3. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2001/3/troczkij-i-dikie-orhidei.html> (дата обращения: 10.09.2022).
2. Смирнов С.А. Топос философа, или Еще раз о философском самоопределении (по материалам книги О.И. Целищевой «Ричард Рорти: „маргинальный аналитический философ“») // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 187–202.
2. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / пер. с англ. И. Хестановой, Р. Хестанова. М.: Русское феноменологическое общество, 1996. 282 с.
4. Рорти Р. Философия и будущее // Вопросы философии. 1994. № 6. URL: <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000662/index.shtml> (дата обращения: 10.09.2022).
5. Философия без оснований. Беседа М. Рыклина с Р. Рорти // Философский прагматизм Ричарда Рорти и российский контекст. М.: Традиция, 1997. 286 с.
6. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. 320 с.

References

1. Rorty, R. (2001) Trotskiy i dikie orkhidei [Trotzky and wild orchids]. *Neprikosnovennyi zapas*. 3. [Online] Available from: <https://magazines.gorky.media/nz/2001/3/troczkij-i-dikie-orhidei.html> (Accessed: 10th September 2022).
2. Smirnov, S.A. (2022) Topos filosofa ili eshche raz o filosofskom samoopredelenii [Topos of a Philosopher or Once Again About Philosophical Self-Determination]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 187–202.
3. Rorty, R. (1996) *Sluchaynost', ironiya i solidarnost'* [Contingency, Irony, and Solidarity]. Translated from English. Moscow: Russkoe fenomenologicheskoe obshchestvo.
4. Rorty, R. (1994) *Filosofiya i budushchee* [Philosophy and the Future]. *Voprosy filosofii*. 6. [Online] Available from: <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000662/index.shtml> (Accessed: 10th September 2022).
5. Ryklin, M. & Rorty, R. (1997) *Filosofiya bez osnovaniy. Beseda M. Ryklina s R. Rorti* [Philosophy without foundation. M. Ryklin's conversation with R. Rorty]. In: Rubtsov, A.V. (ed.) *Filosofskiy pragmatizm Richarda Rorti i rossiyskiy kontekst* [Philosophical Pragmatism of Richard Rorty and the Russian Context]. Moscow: Traditsiya.
6. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and Mirror of Nature]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Novosibirsk: Novosibirsk State University.

Сведения об авторах:

Суровцев В.А. – доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия); заведующий кафедрой истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: surovtsev1964@mail.ru

Агафонова Е.В. – кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (Томск, Россия). E-mail: agaton1810@gmail.com

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Information about the authors:

Surovtsev V.A. – DSc in Philosophy, Leading Research Fellow, Institute of Philosophy and Law of the SB RAS (Novosibirsk, Russian Federation); Chief of Department of History of Philosophy and Logic of National Research Tomsk State University, Professor (Tomsk, Russian Federation). E-mail: surovtshev1964@mail.ru

Agafonova E.V. – Cand. Sci. (Philosophy), associate professor of the Department of Ontology, Theory of Knowledge and Social Philosophy, Faculty of Philosophy, National Research Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: agaton1810@gmail.com

The authors declare no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 10.08.2022;
одобрена после рецензирования 10.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 10.08.2022;
approved after reviewing 10.09.2022; accepted for publication 27.10.2022*

Научная статья

УДК 141

doi: 10.17223/1998863X/69/23

РОРТИ И СТРАХ ВЛИЯНИЯ (КАК ИЗБЕЖАТЬ ВТОРИЧНОСТИ)

Оксана Ивановна Целищева

Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия, oxanatse@gmail.com

Аннотация. Статья представляет комментарий к рецензии С.А. Смирнова на нашу книгу о философии Ричарда Рорти. При рассмотрении эволюции взглядов – от релятивизма, «ассимиляции» историка науки Т. Куна, «адаптации» континентальных мыслителей М. Хайдеггера, Ж. Деррида, до герменевтики Г. Гадамера, «маяков-ориентиров», отмеченных Смирновым, – нами добавлен еще один, а именно «страх влияния», по Г. Блуму. Показан ряд примеров того, как преодоление Рорти такого влияния может быть представлено в качестве способа идентификации как самого Рорти, так и его философии.

Ключевые слова: Рорти, Смирнов, герменевтика, интерпретация, страх влияния

Для цитирования: Целищева О.И. Рорти и страх влияния (как избежать вторичности) // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 227–235. doi: 10.17223/1998863X/69/23

Original article

RORTY AND THE FEAR OF INFLUENCE (HOW TO AVOID BEING SECONDARY)

Oxana I. Tselishcheva

*Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russian Federation, oxanatse@gmail.com*

Abstract. The article presents a commentary on Sergey Smirnov's review of my book on the philosophy of Richard Rorty. When considering the evolution of views – from relativism, the “assimilation” of the historian of science Thomas Kuhn, the “adaptation” of the continental thinkers Martin Heidegger and Jacques Derrida to the hermeneutics of Hans-Georg Gadamer – of the “landmark beacons” noted by Smirnov, I have added another one, namely, the “fear of influence” by Harold Bloom. A number of examples are shown of how Rorty's overcoming of such influence can be presented as a way of identifying both Rorty himself and his philosophy. A striking example of Rorty's efforts to avoid being “secondary” is his attitude to the work of Kuhn, who deals with the history of physics, while Rorty deals with philosophical discourse. Rorty tried to avoid this dilemma by resorting to attempts to combine these discourses, but without accepting the accepted hierarchy of sciences, in which philosophy occupies a subordinate place. It is for these reasons that Rorty escaped from the influence of Kuhn, after which he is characterized by great ambitions, since he speaks on behalf of cultural policy, which Rorty calls “philosophy”. An even more striking example of how Rorty overcomes his “secondariness” is given. It is Gadamer's and Heidegger's influence on Rorty, and his acceptance of hermeneutics instead of epistemology. Rorty's demonstrative preference for hermeneutic conversations in this spirit of argumentation in an epistemological way demonstrated the obvious secondary nature of Rorty. Feeling this burden, Rorty tries to get rid of the fear of influence. A new understanding of his goals requires new arguments from Rorty, already directed against hermeneutics. He finds them in Donald Davidson's polemic with Charles Taylor. The fact is that Rorty discards the old

concept of interpretation, “inscribed on the banners of the philosophical movement” represented by Dilthey, Gadamer, and Taylor, replacing it with a more subtle concept of “recontextualization”. Thus, there can be no “total”, or, as Rorty says, universal hermeneutics!

Keywords: Rorty, Smirnov, hermeneutics, interpretation, fear of influence

For citation: Tselishcheva, O.I. (2022) Rorty and the fear of influence (how to avoid being secondary). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 227–235. (In Russian). doi: 10.17223/1998863X/69/23

Интересный критический анализ С.А. Смирнова нашей книги [1] ставит два соотносящихся друг с другом вопроса: определение места Рорти в современной философии и его «самоопределение» внутри обширного круга школ и направлений. Первый вопрос имеет дело с «объективной» оценкой взглядов Рорти, более или менее принятой в литературе, где доминирует ярлык «прагматиста», и не без помощи самого Рорти, с его вечным рефреном «мы, прагматисты...». Что касается самоопределения, то несмотря на рефрен, Рорти чувствует гораздо большую свободу, объявляя своими сторонниками и противниками самых разнообразных мыслителей. Предпочитаемый Рорти жанр эссеистики позволил ему высказаться по широчайшему кругу проблем. Перед читателем, который отнюдь не ограничивается «главной» книгой Рорти «Философия и зеркало природы», стоит нелегкая задача понимания того, в чем, собственно, заключается его философия. В этом отношении план нашей работы был двояким. Во-первых, показать, что взгляды Рорти претерпевали эволюцию, которую можно отследить объективно, и в частности, в оценке аналитической философии он сдвигался от ее неприятия через нейтральное отношение к некоторого рода одобрению. Именно последнее обстоятельство стало причиной того, что многие, считая и самого Смирнова, сочли самоназвание Рорти «маргинальным аналитическим философом» этаким оксюмороном.

Во-вторых, наше намерение состояло в демонстрации того, что взгляды Рорти более гораздо более подвержены его отходу от роли прагматиста в сторону все более разнообразных мнений по очень широкому спектру «культурной политики» (как он называл философию). В нашей работе мы стремились отразить и это движение мысли Рорти, которое завершилось в конечном счете «синкретизмом». Обычно негативные оценки этого термина в данном случае нивелируются крайне важным признанием самого Рорти: «Я без усталости ищу новых героев, оставаясь в то же время разумно лояльным старым героям, и поэтому оказываюсь синкретистом... В далекие 1960-е, когда я был истовым аналитическим философом, я слышал, как мой старший коллега Стюарт Хэмпшир, которым я восхищался, отвечал на вопросы о звездной международной конференции по какой-то широкой и претенциозной теме – конференции, с которой он только что вернулся и где он подводил итоги на финальном заседании. „Ничего особенного, – объяснил Хэмпшир, – для такого бывалого синкретиста вроде меня“. И в тот же момент я понял, что хочу стать синкретистом, когда вырасту» [2. Р. 10].

Именно это обстоятельство очень точно отмечает Смирнов, говоря: «[Рорти] перемещается по миру философии, не примыкая ни к какому... лагерю. В этом и состоит его странная неумная уместность, что и показано в... книге ...О.И. Целищевой» [3. С. 200].

Смирнов вводит очень удачную метафору для такого поведения Рорти: «В этом плане Рорти выступает постоянным пограничником, номадом, движущимся по границам областей знаний, сфер деятельности, систем категорий, словарей и парадигм, неся подвижный фронт на самом себе. Он напоминает собой кочевника, который перемещается по территории, неся на себе подвижный фронт... Он перемещает на себе и границу, не будучи прикрепленным к территории, но постоянно ориентируясь в пространстве перемещения и обитания» [3. С. 200].

Действительно, сам диапазон перемещений Рорти впечатляет. Споры о релятивизме, «ассимиляция» историка науки Т. Куна, «адаптация» континентальных мыслителей М. Хайдеггера, Ж. Деррида, герменевтика Г. Гадамера и т.п., и это только в рамках «чистой философии», а за пределами этого – целый континент политической, социальной философии и литературной критики. В этом впечатляющем многообразии Смирнов предлагает обнаружить порядок путем нахождения «маяки-ориентиров, расставленных по пути следования [Рорти]». Он выделяет три таких маяка:

1. Отношение философа к научной школе или направлению.
2. Географические и исторические характеристики биографии философа.
3. Ключевым признаком понимания и осмысления топоса философа выступает в таком случае один: событие мысли философа.

Все три признака представляются нам адекватным способом понимания специфики философии Рорти, и следует лишь добавить, что третий ориентир – событие мысли философа – предлагает интересные возможности анализа философии Рорти, которые не нашли места в нашей книге. В этом отношении обзор книги Смирновым по-настоящему явился источником нового аспекта в понимании «философа-номада». Остальная часть статьи является попыткой охарактеризовать еще один маяк-ориентир в творчестве Рорти.

Важнейшим источником в мышлении Рорти явилась беллетристика и литературная критика. У него нет прямого одобрения Деррида, который провозгласил, что философия и есть беллетристика, но он не особенно и протестовал против этой крайности. В этом случае не стоит удивляться влиянию на него Гарольда Блума, одним из важнейших тезисов которого был «страх вторичности» как одного из важнейших мотивов творческого ума. Этот страх заключается в попытке желания избежать влияния предшественников и утвердить свою самостоятельность. Часто такого рода экзистенциальная тревога именуется «страх влияния» [4]. Мы утверждаем, что именно такого рода «страх» был одним из главных мотивов непрерывного перемещения «номада» Рорти. Этот страх обуревал Рорти в двух случаях: когда он хотел преодолеть предшественников и выйти на первые роли и когда он замечал подражателей и искал новое «стойбище». Во втором случае это был уже страх тиражирования своих взглядов, страх оказаться клишированным и повторенным. Можно, конечно, считать второй случай отличным от того, что имел в виду Блум, но, по сути, это некоторого рода инверсия того же.

Для иллюстрации того, что оба мотива есть проявление одного и того же, можно привести случай с ненаписанной книгой Рорти о Хайдеггере. Интерпретация философии Хайдеггера занимала важное место в работах Рорти. Достаточно сказать, что второй том его избранных сочинений имеет подзаголовок «Очерки о Хайдеггере и других» [5]. Рорти обещал написать о Хайдег-

гере книгу, которая ожидалась с огромным интересом, но так и не была написана. На вопросы разочарованных поклонников и недоброжелательство противников о причинах Рорти отвечал, что сам он и другие много чего написали о Хайдеггере и ему нет смысла повторять их. Ему, конечно, было что сказать, но он не хотел быть долгое время одним из тех, кто пишет о Хайдеггере, и не хотел стать пленником своих же представлений о Хайдеггере. Пора «кочевнику» двинуться в путь.

Ряд эпизодов из жизни Рорти убедительно иллюстрируют тезис о его «страхе вторичности». Прежде всего, следует упомянуть его «аналитический» период, когда он, будучи преподавателем в Принстоне, по его собственному выражению, выполнял «домашние задания», стремясь быть своим среди аналитического братства.

Если бы кто-нибудь ознакомился с Рорти через чтение нескольких его статей, которые тот «опубликовал в начале своей карьеры, он показался бы читателю достаточно опытным и хорошо подготовленным аналитическим философом. Рорти публиковал статьи в середине 1960-х и начале 1970-х о теории тождества ума и тела, аргументируя о неправдоподобности ментальных репрезентаций и отдавая предпочтение тому, что он назвал «элиминативным материализмом». Он редактировал сборник эссе под названием *Лингвистический поворот*, в котором было собрано множество философов, писавших по проблемам языка, смысла и истины, а затем ставших центральными фигурами аналитической философии... Казалось, он делает карьеру еще одного талантливого философа, применяющего методы аналитической философии к многолетним проблемам ума, языка и реальности» [6. Р. 6].

И внезапно он превращается в яростного критика этой самой аналитической философии, публикуя ставшую довольно быстро знаменитой книгу *Философия и зеркало природы* [7]. К нему приходит прозрение, что все написанное им до этой книги вторично, хотя и качественно (не случайно, что в *Зеркале*, собственно, по-настоящему революционной является лишь третья ее часть «Философия», а первые две части – это все-таки дань старому).

Осознание своей вторичности не является каким-то рационально обоснованным и продуманным актом, будучи во многом психологическим фактором. Довольно интересным в этом отношении является следующий эпизод из принстонской жизни, который проливает свет на симптомы ощущения этой вторичности. Гильберт Харман, одно время подвизавшийся в философии языка, был на факультете олицетворением среды, которая культивировала вторичность своих членов (в терминологии Т. Куна, участников «нормальной» науки), и не достигший серьезной известности. Столкновение Рорти с Харманом можно рассматривать как желание преодолеть вторичность «нормальной» науки, и сама конфликтность ситуации говорит об определенном страхе вторичности у Рорти. С точки зрения Гросса, «вскоре стало ясно, что он [Рорти] и Харман не пришли к пониманию. В письме матери... Рорти пишет, что „принципиально проблемы были в том, что, когда я пришел на кафедру, меня взял под покровительство блестящий молодой человек, и я думал, что нашел друга и коллегу, с кем можно говорить о философии. Однако этот парень... решил через несколько месяцев, что у меня нет тех мозгов, которых он от меня ожидал. Он очень интеллигентно, не проявляя радости при унижении дураков, дал мне это ясно понять. Это унижение (чувство, что сей-

час нет смысла оставаться в Принстоне, – так как мне просто не было больше ни с кем поговорить) сильно огорчило меня“» [8. Р. 193].

Пожалуй, наиболее ярким примером усилий Рорти по избежанию вторичности является его отношение к творчеству Куна. В нашей книге показано, что Рорти преследует идею исторических периодов в развитии философии как некоторого рода сдвиг в ней парадигм. Но для того чтобы Рорти мог опереться на Куна, ему было нужно придерживаться соображений о научных теориях, а не просто о философском дискурсе. Рорти пытался избежать этой дилеммы, прибегая к попыткам объединения этих дискурсов: «Чтение Куна убедило меня и многих других, что взамен отображения культуры на эпистемо-онтологическую иерархию, верх которой логический, объективный и научный, а низ – риторический, субъективный и ненаучный, нам следует отображать культуру в социологический спектр, от хаотического левого, где критерии постоянно меняются, до аккуратного правого, где они по крайней мере на момент фиксируются» [9. Р. 180].

Однако на практике такая стратегия не очень срабатывала, поскольку она была явно не пригодна для сообщества представителей естественных наук, и в одной из своих Рорти бросает упрек видному физика С. Вайнбергу, критикующему Рорти и Куна за отрицание ими объективности научного знания, что намерения Вайнберга состоят в том, чтобы «держат естественные науки наверху культурной стадной иерархии» [Ibid. Р. 184].

Критика Вайнберга была обращена к обоим – Куну и Рорти, и, казалось бы, оба они принадлежат одной компании. Но Кун, видимо, считал, что его разногласия с физиками – это внутренний вопрос, куда не должны лезть философы. Рорти испытывает некоторого рода обиду, говоря, что «Кун был смущен моей защитой его» [Ibid. Р. 187]. В конечном счете Рорти преодолевает влияние Куна, освобождаясь от соответствующего страха, извиняя (если не обвиняя) Куна в реверансах в адрес естественных наук с «их системой куриных насестов» [Ibid. Р. 186]. Рорти вырвался из-под влияния Куна по части релятивизма, где он действительно «перекунил» самого Куна. Признав себя, пусть даже слегка в ироническом тоне, «маргинальным аналитическим философом», Рорти уравнивает шансы двух ветвей философии в постфилософской культуре. Эту тенденцию Кун не принимал по многим причинам, сознательно ограничивая свой релятивизм лишь историей науки. В этом смысле релятивизм Рорти был менее ограничительным, чего не принимал Кун. С точки зрения последнего, Рорти был БОльшим «релятивистом», хотя Кун так и не указал достаточно явно, где Рорти «сошел с рельсов».

Следование взглядам Куна в философии Рорти отчетливо прослеживается в *Философии и зеркале природы*. Но чем дальше идет Рорти в своем постепенном признании паритета аналитической и континентальной философии, тем меньше для него значит Кун. И хотя его пиетет перед Куном время от времени дает о себе знать, он носит скорее ритуальный характер. Рорти избавился от (очередного) страха влияния, найдя свой собственный путь к адаптации релятивизма к синкретическим мотивам отказа от философского метода вообще.

Преодоление Рорти влияния Куна, точнее, формирование гораздо более самостоятельной версии релятивизма, не отмечено какими-либо четкими очертаниями в изменении настроений Рорти. Впрочем, это касается и «под-

падение» под влияние Куна. Кроме странного обстоятельства, что за годы совместного пребывания в Принстоне, где Кун вел семинары, на которых постоянно присутствовал Рорти, они встречались не более трех раз. А «расставание» с Куном отмечено лишь весьма мягким (по полемическим стандартам Рорти) описанием заблуждений Куна по поводу пресловутой иерархии наук. В конечном счете роль Куна ограничивается «вспоможением» в деле избавления от различия в онтологическом статусе кварков и человеческих прав. Именно это «...помогает нам отвергнуть предположение, что естественные науки должны служить парадигмой остальной культуре, в частности, что философский прогресс состоит во все большем приближении философии к научному образцу. Именно эти плохие идеи играют значительную роль в происхождении интеллектуальной традиции, сейчас известной как «аналитическая философия». Но эта традиция сейчас, после Куна, в состоянии отбросить эти лесенки и подпорки» [2. Р. 8].

Таким образом, у Рорти, вышедшего из-под влияния Куна, гораздо больший «замах» и большие амбиции, поскольку он говорит от лица всей человеческой культуры, по крайней мере, от культурной политики, которую Рорти называет «философией».

Но есть даже более поразительный пример того, как Рорти преодолевает свою «вторичность». Речь, конечно, идет о влиянии на Рорти со стороны Х.-Г. Гадамера и М. Хайдеггера. Внимательный читатель *Философии и зеркала природы*, наверняка, отметит уже упоминавшийся выше контраст между двумя первыми «деловыми» разделами и более программной третьей частью, где важную роль играет открыто провозглашаемая замена эпистемологии герменевтикой и сопутствующей ей роли «разговора». Провозглашение философии «разговором человечества», ставшее своего рода «слоганом» для этого этапа Рорти, апеллирует не только к Гадамеру, но и к позднему Хайдеггеру, и в этом смысле вторичность Рорти бесспорна. Она, в некотором смысле, даже может шокировать читателя, который полагает, в силу популярности *Философии и зеркала природы*, что Рорти тут был полностью оригинален.

По свидетельству друга Рорти в период Принстона, будущего известного социального философа Р. Гойса, идея «разговора» завладела Рорти после прочтения им книги Гадамера *Истина и метод* [10]. Гойс говорит, что все его попытки умерить восторги Рорти по поводу Гадамера, включая поведение того при нацистском режиме, не возымели никакого действия [11]. Как и Хайдеггер, Гадамер захвачен видением немецкого поэта Гёльдерлина, согласно которому:

Человек научился многому.

Он дал имя божественным бытиям,

С тех пор как мы стали разговором

И смогли слышать друг друга [Ibid.].

Контингентность социальной жизни человека, играющая важную роль во всей философии Рорти, подкрепляется спонтанностью разговора, который сам по себе уже носит характер «кибицирования», и, как замечает Гойс, «от всего этого один шаг до утверждения, что философия важна, потому что это способ, которым разговор поддерживает себя» [Ibid. Р. 87]. И отсюда совсем уже короткий путь к знаменитому девизу Рорти «Философия – это разговор человечества».

Демонстративное предпочтение Рорти герменевтических разговоров в этом духе аргументации в эпистемологическом ключе демонстрировало явную вторичность Рорти. Ощущая это бремя, Рорти пытается избавиться от страха влияния. Зачастую при заимствовании чужих концепций трудно идти до конца в гармонии с источником идей. Интересный вопрос заключается в том, где происходит остановка, и с какого момента начинается их преодоление.

Принимая в целом идею Хайдеггера, что одной из двух функций языка как коммуникации является разговор, Рорти спекулирует о культуре, в которой поэзия, а не философия-как-наука, была бы парадигмальной человеческой активностью [12. Р. 36]. Рорти отнюдь не принимает метафизику Хайдеггера, но берет от него пару идей, которые играют значительную роль в *Философии и зеркале природы*, приспособлявая его, как и Гадамера, именно к своим целям, критики философии как самостоятельной дисциплины. Если у Деррида философия может быть беллетристикой, у Гадамера – герменевтикой, а у Хайдеггера (позднего) – молчанием, то почему бы ей не быть просто свободным от методов и тематики выражением переполняющих человека чувств после тяжелого труда в поле (другими словами, кибицированием).

Возможно, именно отсутствие специфического философского метода было тем, что привлекало Рорти в герменевтике. Он явно, противореча самому Гадамеру, не считал ее методом; в конце концов, «разговор человечества» претендует скорее на метафору, чем на метод.

Очень важным шагом в эволюции взглядов Рорти оказался отказ от герменевтики как знамени философии, шаг, который практически остался незамеченным для исследователей его философии, и именно он является решительным шагом в освобождении от страха влияния.

После написания книги *Философия и зеркало природы*, в которой влияние Гадамера и Хайдеггера выглядело чуть ли не прямым заимствованием, Рорти начал «борьбу» за освобождение от упрощенных представлений о возможностях герменевтики. Рорти полагает, что само по себе обращение к герменевтике расширяет выразительные возможности философии лишь к худшему, когда теряется собственно специфика ее определенных контекстов. Точнее, он полагает, что провозглашение герменевтики универсальным методом затемняет реально существующую практику разделения философского дискурса на научный и гуманитарный.

Его новым героем становится уже не Гадамер, от влияния которого он избавляется, а Д. Дэвидсон, для которого главной категорией становится понятие интерпретации, более точной, чем герменевтические концепции, в то же время служа тем же целям, которые нужны Рорти. Он уточняет концепцию интерпретации путем противопоставления ее концепции «объяснения». Эта дихотомия уже делит общекультурный дискурс на две части: «научный» и «гуманитарный»: объяснение требует точности и аргументации, а интерпретация имеет дело с множеством вер, с крайне свободным обращением к таким вещам, как метафоры, аллюзии и всяческого рода языковые игры. Но, как и герменевтика, эта дихотомия слишком широка, и Рорти увязывает ее о со своей базовой установкой в критике эпистемологии – антиэссенциализмом, устранением дуализмов западной метафизики, отрицанием объективной истины. Последнее понятие апеллирует в чему-то внешнему по отношению к

верам и требует какого-то рода консенсуса от обладателей веры. Но поскольку «игра» не подразумевает какого-либо рода консенсуса, эпистемология заменяется уже не герменевтикой, а новым пониманием роли интерпретации. Это важный шаг Рорти, продиктованный пониманием, что «разговор» человечества» является столь широким лозунгом, что теряется как-либо специфика дискурса и упускается возможность обсуждения множества вопросов, важность которых признается неизбежной для многих философов.

Новое понимание своих целей требует от Рорти новых аргументов, направленных уже против герменевтики. Их он находит в полемике Д. Дэвидсона с Ч. Тейлором [13], на которой в данной статье мы не можем останавливаться. Фактом является то, что Рорти отбрасывает старое понятие интерпретации, «начертанное на знаменах философского движения», представленного Дильтеем, Гадамером и Тейлором, заменяя его более тонкой концепцией «реконтекстуализации». Таким образом, не может быть «тотальной», или, как говорит Рорти, универсальной герменевтики!

Описанный эпизод освобождения Рорти от влияния очень характерен. Является ли такое освобождение окончательным, – по сути «праздный» вопрос, потому что можно тут же указать на то, что теперь в «кибитке Рорти» новый попутчик – Д. Дэвидсон, если прибегнуть к красочной метафоре С. Смирнова. В конечном счете синкретизм Рорти обрекает его на новые влияния и новые горизонты. Попытка предсказать, чье влияние будет следующим, опять-таки памятуя о важнейшем вопросе Смирнова об идентичности философа, тщетна. На определенном этапе своей эволюции Рорти говорит, что уже не Витгенштейн, ни Хайдеггер (его герои, страх влияния которых был весьма ощутим в Рорти) не захватывают воображение читателя, и вся философия в настоящее время просто находится в ожидании Годо [1. С. 304].

Список источников

1. Целищева О.И. Ричард Рорти: «маргинальный аналитический философ». М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021.
2. Rorty R. Introduction // Truth and Progress. Philosophical Papers. Vol. 3. Cambridge : Cambridge University Press, 1998.
3. Смирнов С.А. Топос философа, или Еще раз о философском самоопределении // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2022. № 69. С. 187–202.
4. Блум Х. Страх влияния. Карта перечитывания. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1998.
5. Rorty R. Philosophical Papers, vol. 2. Essay on Heidegger and Others. Cambridge : Cambridge University Press, 1991.
6. Guigon C. Hiley D. Richard Rorty. Cambridge : Cambridge University Press, 2003.
7. Рорти Р. Философия и зеркало природы. М.: Канон+, 2022.
8. Gross N. Richard Rorty. The Making of an American Philosopher. Chicago University of Chicago Press, 2008. P. 193.
9. Rorty R. Thomas Kuhn, Rocks, and the Laws of Physics // Philosophy and Social Hopes. L. : Penguin Books, 1999.
10. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988.
11. Geuss R. Richard Rorty at Princeton: Personal Recollection // Arion 15.3, winter 2008.
12. Rorty R. The Banality of Pragmatism and the Poetry of Justice // Philosophy and Social Hopes. L. : Penguin Books, 1999.
13. Rorty R. Inquiry as Recontextualization: An Anti-dualist Account of Interpretation // Philosophical Papers. Vol. 1: Objectivity, Relativism and Truth. Cambridge : Cambridge University Press, 1991. P. 93–110.

References

1. Tselishcheva, O.I. (2021) *Richard Rorty: "marginal'nyy analiticheskiy filosof"* [Richard Rorty: "Marginal Analytical Philosopher"]. Moscow: Kanon+ ROOI "Reabilitatsiya."
2. Rorty, R. (1998) *Truth and Progress. Philosophical Papers*. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Smirnov, S.A. (2022) Topos filosofa ili eshche raz o filosofskom samoopredelenii [Topos of a Philosopher or Once Again About Philosophical Self-Determination]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science*. 69. pp. 187–202.
4. Bloom, H. (1998) *Strakh vliyaniya. Karta perechityvaniya* [Fear of influence. Map of Rereading]. Yekaterinburg: Ural Federal University.
5. Rorty, R. (1991a) *Philosophical Papers*. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Guigon, C. & Hiley, D. (eds) (2003) *Richard Rorty*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and Mirror of Nature]. Translated from English by V.V. Tselishchev. Novosibirsk: Novosibirsk State University.
8. Gross, N. (2008) *Richard Rorty. The Making of an American Philosopher*. Chicago: University of Chicago Press.
9. Rorty, R. (1999a) *Philosophy and Social Hopes*. London: Penguin Books.
10. Gadamer, H.-G. (1988) *Istina i metod* [Truth and Method]. Translated from German. Moscow: Progress.
11. Geuss, R. (2008) Richard Rorty at Princeton: Personal Recollection. *Arion*. 15.3. Winter.
12. Rorty, R. (1999b) *Philosophy and Social Hopes*. London: Penguin Books.
13. Rorty, R. (1991b) *Philosophical Papers*. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 93–110.

Сведения об авторе:

Целищева О.И. – кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и права СО РАН (Новосибирск, Россия). E-mail: oxanatse@gmail.com

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

Tselishcheva O.I. – Cand. Sci. (Philosophy), researcher, Institute of Philosophy and Law, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: oxanatse@gmail.com

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 15.08.2022;
одобрена после рецензирования 10.09.2022; принята к публикации 27.10.2022
The article was submitted 15.08.2022;
approved after reviewing 10.09.2022; accepted for publication 27.10.2022

НЕКРОЛОГ



Восьмого августа 2022 года ушел из жизни доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии **Алексей Игнатьевич Щербинин**.

Алексей Игнатьевич родился в п. Тогур Колпашевского района Томской области 27 марта 1952 г. Окончил Томский государственный университет в 1977 г. В 1977–1982 гг. работал старшим преподавателем кафедры научного коммунизма Томского политехнического института. С 1979 по 1983 г. обучался в заочной аспирантуре, с 1988 г. стал доцентом кафедры научного коммунизма Томского государственного университета. В 1992 г. А.И. Щербинин открыл первую за Уралом специальность «Политология», с 1995 г. возглавлял кафедру политологии на философском факультете ТГУ, а затем на факультете исторических и политических наук. Являлся председателем Томской городской палаты общественности, председателем Правления Ассоциации политических наук Западной Сибири, членом Правления Российской ассоциации политической науки, президентом Фонда гражданского и политического образования, действительным членом Академии политической науки, членом редколлегии журнала «Политические исследования». Огромный вклад Алексей Игнатьевич внес в работу журнала «Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология», являясь со времени его основания заместителем главного редактора по разделу

«Политология». За время своей работы А.И. Щербинин опубликовал более 200 научных и учебно-методических трудов в российских и зарубежных изданиях. Алексей Игнатьевич был не только известным ученым, общественным деятелем, но и талантливым педагогом, который пользовался заслуженным авторитетом и уважением студентов. Он не боялся трудностей, умел отстаивать собственное мнение, был по-настоящему интеллигентным, энергичным, целеустремленным и жизнерадостным человеком, всегда приходил на помощь к тем, кто в ней нуждался. А.И. Щербинина отличали исключительное трудолюбие и профессионализм. Это был человек, увлеченный своим делом. И это был счастливый человек, потому что всю жизнь он отдал тому делу, которое любил. Мы скорбим со всеми родными и близкими Алексея Игнатьевича. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его коллег, друзей и многочисленных учеников.

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА**

**ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ПОЛИТОЛОГИЯ**

**TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY,
SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE**

2022. № 69

Редакторы *В.Г. Лихачёва*

Оригинал-макет *О.А. Турчинович*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 25.11.2022 г. Дата выхода в свет 13.12.2022 г.

Формат 70х100¹/₁₆. Печ. л. 14,9; усл. печ. л. 19,4; уч.-изд. 20,4.

Тираж 50 экз. Заказ № 5260. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательства
Томского государственного университета
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru